

Арсений Рутко

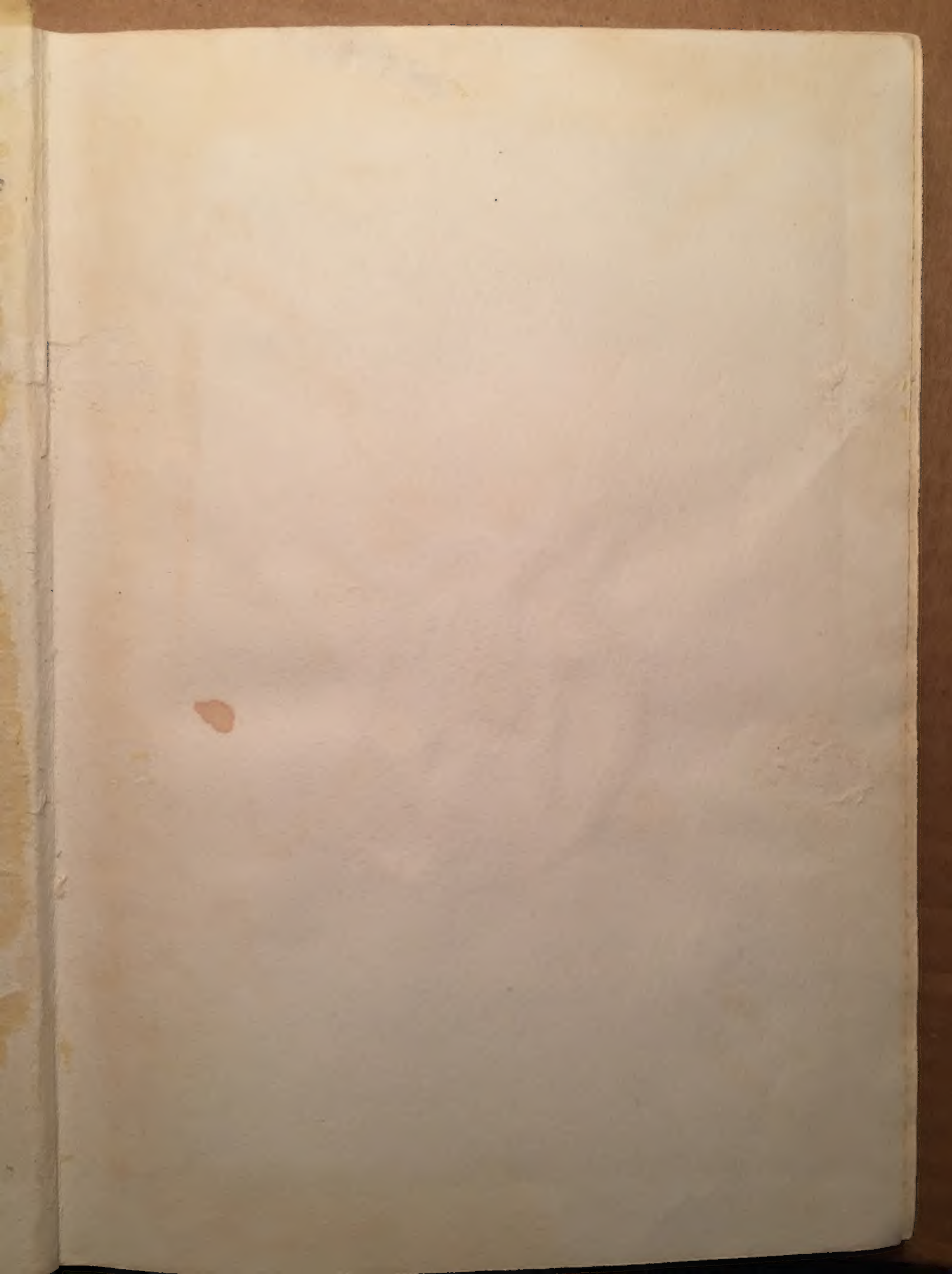
СОЗВЕЗДИЕ НАДЕЖДЫ



За дагуу на
хөмчөхө в дөхө
рогисдөхө.

От Дөхө

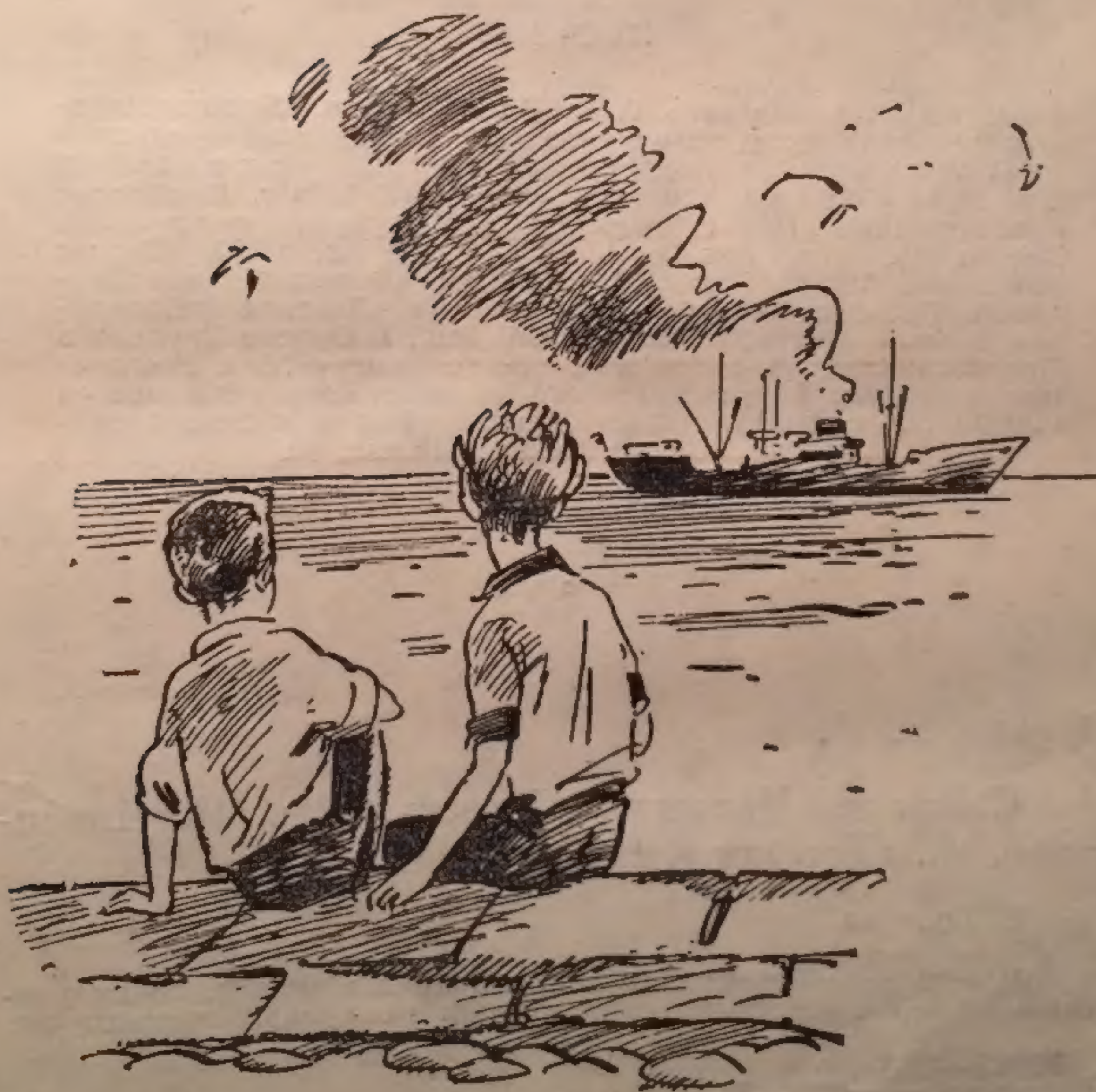
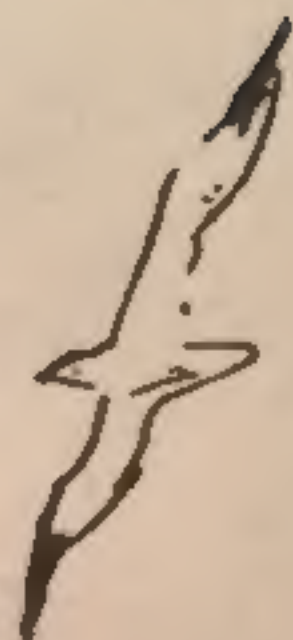
1977 год





Арсений Рутко
**СОЗВЕЗДИЕ
НАДЕЖДЫ**

ПОВЕСТЬ



Москва „Детская литература“ 1977

P 2
P 90

Рисунки И. Ильинского

Для среднего и старшего возраста

Арсений Иванович Рутько

СОЗВЕЗДИЕ НАДЕЖДЫ

ИБ № 1118

Ответственный редактор Г. В. Быстрова. Художественный редактор В. А. Горячева. Технический редактор Н. Д. Лаукс. Корректоры В. В. Борисова и Е. И. Щербак ова. Сдано в набор 16/IX 1976 г. Подписано к печати 16/III 1977 г. Формат 60×84^{1/16}. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 15. Усл. печ. л. 13,95. Уч.-изд. л. 14,23. Тираж 50 000 экз. А03762. Заказ № 4227. Цена 59 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушеvский вал, 49.

Рутько А. И.

P 90 Созвездие Надежды. Повесть. Рис. И. Ильинского. М., «Дет. лит.», 1977.

240 с. с ил.

Повесть о воспитанниках детского дома в Одессе, об их участии в войне с фашистами, сопротивлении в оккупированном городе.

P 70803—208
M101(03)77 271—77

P2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.



1. „БЕЗОТЦОВЩИНА“

Мощные прожекторы с палуб «Ленина» и с высоких ажурных мачт на причале заливали гавань слепящим светом. Сотни людей на пирсе махали шляпами, зонтиками, платками — чем придется. Музыка походного марша будто колыхала, раскачивала из стороны в сторону шумящую толпу. Под высоченным белым бортом суетился чумазый катерок-пигмей, готовясь разворачивать теплоход на выход из гавани. При взгляде со стороны никак не верилось, что крохотный, с писклявым голосочком муравей сможет сдвинуть с места такую громадину — тысячи и тысячи тонн.

Этим вечером детдомовцы Надежды Васильевны Кордуновой провожали в первый рейс Сашу Ястребкова, бывшего товарища по Дому, окончившего мореходку и принятого на

«Ленин» третьим помощником. Сказано было много добрых слов, были рукопожатия, объятия, даже поцелуи, и, с трудом оторвавшись от ребят, Ястребков взбежал по трапу, помахал напоследок фуражкой. Трап беззвучно уплыл вверх, сквозная решетчатая тень скользнула по головам толпы.

И вот сброшены с чугунных кнехтов смоляные петли причальных канатов, борт теплохода едва заметно отодвинулся, дальше, дальше... Между бортом и причальной стенкой завертелись, забурили воронки радужной от нефти маслянистой воды.

— Счастливого!

— Семь футов под килем!

В Одесском порту, как и во многих других, до сих пор в ходу это старинное моряцкое напутствие — образное пожелание безопасного плавания.

Через полчаса «Ленин» скрылся за серой полосой мола, лишь верхушка белой, с красным опояском трубы неспешно передвигалась по небу, расстилая в синеве легкий дым.

И сразу на пирсе стало тихо и грустно, так бывает всегда, когда уходят пароходы.

По пути из порта Сережка и Генка отстали от детдомовцев, дружно взбегавших по Потемкинской лестнице: надо было договориться о завтрашнем дне, выкроить два-три часа и пробраться в парк. Обнаруженный накануне провал в беседке на острове не давал мальчишкам покоя.

Но поговорить не пришлось: когда миновали памятник Рيشелье, впереди, в вечерней людской толчее, замелькали знакомые силуэты. Толстушка Ганя и тоненькая стройная Неда, также отстав от своих, шли все медленнее, то и дело оглядываясь, — ждали, что ребята догонят и пойдут вместе.

Генка раздраженно проворчал:

— Вот прилипалы, черт бы их драл! Нигде от них не спрячешься! Недка-то втюрилась в тебя, что ли?

Позабыв витиеватые книжные обороты, которыми он любил изъясняться, Сережка огрызнулся на обыкновенном мальчишеском языке:

— Пошел ты знаешь куда! Длинный вырос, а дурак! Я просто дружу с ней.

Среди детдомовских девчонок Неда Лазарева заметно выделялась: не по годам высокая, худенькая, с нервным, чуть надменным лицом, с большими, серыми, «мышастыми», по общему определению Генки, глазами, с красиво очерченным,

строгим ртом. Хороши у нее были косы — пышные, золотистые, с колечками на концах, колечки блестели и даже зимой казались теплыми.

Сережке вспомнилось, как вчера случайно он натолкнулся на Неда в детдомовском саду, за спортплощадкой. Ссутулившись, она сидела на скамейке за кустами жасмина, где ее никто не мог увидеть, и горько, судорожно плакала, размазывая по щекам слезы.

Сережка подошел, постоял рядом, глядя, как вздрагивают у девочки плечи, испытывая чувство бессильной жалости. Неда не видела его, лицо закрыто руками. Спросил тихонько:

«Кто тебя?»

Она отдернула от лица руки, испуганно вскочила, но, увидев Сережку, опять села.

«Никто», — сказала отчужденно и, как всегда, немного надменно.

«А ревешь чего?»

Ответила не сразу:

«Папу... сегодня... хоронили...»

Отец Неда, капитан-пограничник, политрук, влюбленный в русскую историю — отсюда Рогнеда, — четыре года назад погиб от шальной пули на одной из дальневосточных застав. Мать и дочь Лазаревы перебрались в Одессу, и здесь Ида Юльевна попала в автомобильную катастрофу, не приходя в сознание, умерла на операционном столе. Никого родных у девочки не осталось, так Неда чуть ли не прямо с похорон попала в Дом Надежды.

Сережка давно знал подробности жизни Неда, но позабыл, что хоронили капитана Лазарева именно в этот день.

Смущенно потоптался возле скамьи, сел и, необычно растягивая слова, нарочито грубовато сказал:

«Ну и что! У меня тоже отец погиб. В море утонул, сама знаешь. И я тоже ревел. Но нельзя же всю жизнь! — Помолчал, прислушиваясь к затихающим всхлипываньям. — А ну, расскажи мне про него. Станет легче — по себе знаю! И всегда рассказывай, когда захочешь».

Вздыхая и всхлипывая, Неда принялась накручивать на палец колечко переброшенной на грудь косы.

«У него, у папы, в двадцать первом, в Самарской губернии... все от голода умерли... и отец, и мать, и сестренки... И потом много всякого было... плохого...»

Сейчас Сережка припоминал заплаканное лицо, блестящие

от слез щеки, и опять в душе поднималась жалость к девочке и бессильное желание помочь.

Сережка думал о вчерашнем, а Генка, по-журавлиному вышагивая рядом, сосредоточенно прикидывал, как бы отвязаться от девчонок: ведь помешают поговорить.

— А давай свернем, Бес! — Он сверкнул глазами в полутемный коридор переулка. — Не заметят! А?

Сережка поморщился, словно у него заболели зубы. Угрюмо спросил:

— А если на Пушкинской Жоркины пираты дрейфуют? Опять девчонкам достанется?

И, виновато посопев, Генка притих. Нет, он, ясное дело, не предлагал предавать своих, он просто не подумал о Жорке и его компании. Кто-кто, а Генка всегда первый заступает за детдомовских, попавших в беду.

Сережка как в воду смотрел: на людном углу Пушкинской, как и обычно по вечерам, топталась компания знакомых по прежним схваткам ребят. Прислонившись к стене, попыхивая папиросками, старшие с небрежным равнодушием наблюдали, как пацанята с лихим гиканьем взбрыкивают ногами, подфутболивая невидимый издали мяч.

Да, снова она, печально знаменитая на Пушкинской улице «самодетельная бандочка» — так окрестили компанию Жорки Кожия уличные остряки. А другие жаловались: «Прохода ни маленьким, ни взрослым. Кого угодно осмеют, озубоскалят! И милиции на них нет!»

Толстошеего и толстощекого Жорку детдомовцы знали еще по школе — его исключили в позапрошлом году за неуспеваемость и хулиганство. Последний «подвиг» Жорки в школе состоял в том, что он избил в кровь чем-то не угодившего ему второклассника. Правда, пострадавший, ябедник и плакса, тоже не пользовался в школе симпатиями, но он был куда меньше и слабее Жорки. На сборе отряда Неда назвала Жорку мясником и потребовала его исключения.

Она не знала, что отец Кожия работает продавцом в мясном магазине, но Жорка понял «мясника» по-своему. «Кому, скажи, дело, где отец вкалывает? И чем такая работа хуже? — рассуждал он про себя, с неприязнью присматриваясь к Рогнеде. — Я тебе покажу мясника, лахудра!» «Эй ты, гнедая кобылка! Жидивка-выхристка!» — покрикивал он. В школе Жорка по неволе сдерживался, но когда стал «вольной птицей», как по-

хвалялся сам, он не пропускал ни одной возможности обидеть детдомовских, а особенно Неду...

И сейчас встреча с ним не сулила добра.

Когда Неда и Ганя поравнялись с компанией, юркий копо-пчатый паренек, прозванный за маленький рост Шкетиком, повинуясь немому приказу Жорки, загородил девочкам дорогу.

— Откуда топаем, безотцовщина? — с развязностью выдавшего вида взрослого спросил он, не выпнимая изо рта папиросы.

Девчонки попытались обойти Шкетика, но он снова встал у них на дороге. И тут Неда увидела безжизненно распростертого на асфальте серенького тигристого котенка: оказывается, мальчишки подфутболивали не мяч, а бездомную отощавшую животину, бродившую по улицам в поисках пристанища и еды. Наверно, подманили: «Кис-кис, иди сюда!» — и принялись убивать. Не веря глазам, Неда шагнула к котенку, а он, словно почувствовав вдруг доброе, мяукнул и приподнялся на передних лапах: задние, видно, были перебиты.

С неожиданной силой оттолкнув Шкетика, Неда схватила котенка, прижала к себе.

— Ты... вы... не люди! Вы звери! — срывающимся голосом, с ненавистью крикнула она в лоснящееся лицо Жорки. — Неужели не жалко?!

Жорка снисходительно усмехнулся.

— А мы, Гнедая, от доброты и шутим! — ласково пояснил он. — Это же вроде вас — безотцовщина! Без папы-мамы, и опять же крыши над ним нету. Какой может быть прогноз в такой жизни? Ясно и понятно: подыхать с голоду. Мучительная гибель, будь Жора гад! Скажи нет, Гнедая? А мы его быстренько, культурненько сделаем... Вот, погляди...

Он протянул растопыренную пятерню к котенку, которого Неда прижимала к груди. Но как раз в это мгновение подоспели Сережка и Генка. Длинный Генка решительно протиснулся между Недой и Жоркой. Сережка встал рядом.

— Брысь, девки! — Генка с силой отстранил Неду рукой и повернулся покрасневшимся лицом к Жорке. — Всемером на двух девчонок, герои? Ну и ну!

— А пираты только так и могут! — подхватил Сережка. — Для рыцарей плаща и кинжала законы чести не писаны!

— Сейчас ты у меня, рыжий подзаборник, и без закона па всю катушку взвоешь! — пообещал, все так же ласково ухмыляясь, Жорка.

Неда и Ганя спустились на мостовую, но не ушли, остановились в десяти шагах — они не могли бросить своих мальчишек в беде.

Жорка лениво выплюнул под ноги Сережке изжеванный окурок и подошел вплотную.

— Обратно, духари, надумали по сусалам схлопотать? Позабыли, как прошлое воскресенье гробик пюхали? — Жорка поднес к носу Сережки, а потом Генки внушительный, фиолетовый от татуировок кулак. — Это вы позабыли, безотцовщина?! — И обернулся к своим: — Ну, як, хлопчики? Дадим подзаборникам прикурить? Или так и станем смотреть со стороны, как они набирают силу?

Пареньки из Жоркиной компании одобрительно загудели:

— Выдай им, Жора!

— Научи уважать Одессу-маму!

Но драка не состоялась.

Из-за угла внезапно, «совсем как в кино», вспоминал позже Генка, появился старый учитель физики Николай Аристидич Кристодуло, или, как его называли за глаза, Наш Грек. Топорща седые прокуренные усы, подошел к мальчишкам, сердито оглядел Жоркину компанию. Парусиновый пиджачок Грека расстегнут, соломенная шляпа сбита на затылок.

— Опять сцепились?! — угрожающе постучал палкой о камни тротуара. — А ну, разойдись! Никак не остепенишься, Кожий? Целой улице от тебя и твоих молодчиков житья нет.

— Да что вы, бывший Наш Грек! — нагло вато засмеялся Жорка, играя ямочками щек. — Да мы с братом весь день в порту вкалываем. Рабочий класс! Трудимся во как! А эти дармоеды... они сами, Николай Аристидич, чепляются, проходу не дают. Станет Кожий со всякой мелкотой связываться! Пусть метутся на все четыре!

Кристодуло смотрел брезгливо и неприязненно.

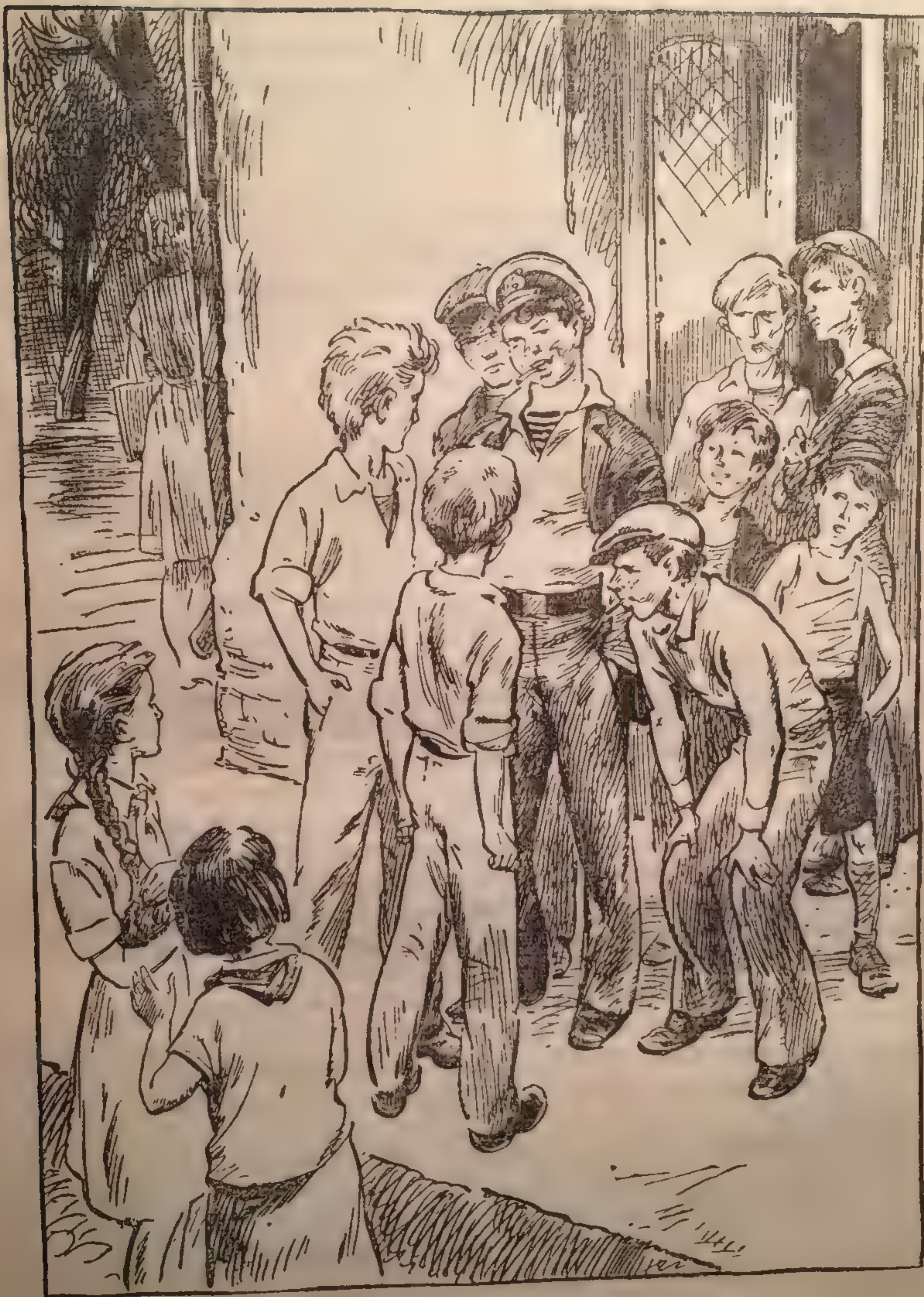
— Ой, Кожий! Допрыгаешься!

Он легонько толкнул Сережку и Генку, и те, еще не остыв от ожидания неравной схватки, отошли к девочкам.

Котенок на руках Неды жалобно мяукал, его попискивание напоминало плач обиженного ребенка. Повесив трость на руку, нахмурившись, Николай Аристидич наклонился над котенком, взгляделся. Спросил, вскинув седые брови:

— Что с сим полосатым зверем?

— Его... подфутболивали, — сквозь слезы сказала Неда. — Будто он — мяч...



— Воны йому, Мыколай Аристыдыч, ноги порушылы! — Гани через плечо сверкнула на Жоркину компанию темноватыми глазами. — Каты! Зараз вин и ходыть нэ можэ, животом лягае...

И только тогда старый учитель понял, что перед его появлением произошло. С неожиданным для его лет проворством повернулся и зашагал назад, где жетели огоньками паширос Жоркины дружки.

— Выродки! — на всю улицу кричал учитель, потрясая тростью. — Сейчас я до вас доберусь!

Но хулиганы разбежались по подворотням, попрятались, исчезли, только Жорка, высунув из-за угла сияющую физиономию, приветственно сделал ручкой:

— В будущий раз, Дристидич! Адью!

Тяжело дыша, вытирая платком шею и лоб Кристодуло вернулся к ожидавшим его детдомовцам. Худое, аскетическое лицо, обрамленное седыми волосами, за минуту будто бы еще больше похудело.

— Видели? Я же всегда говорил: жестокость и трусость — родные сестры! — с трудом дыша, произнес он. — Просто поразительно! Где в наше время вырастают такие Жорки? Почему? Как? Или, может, мое поколение в сем повинно? Может, мы просмотрели, упустили что? А?

Никто из ребят не ответил, и Кристодуло, стараясь успокоиться, взял у Неды котенка, погладил, подышал, раздувая усы, ему в мордочку и решительно сунул за борт пиджака.

— А сию бедолагу я забираю к себе. С ним на верхотуре вашего Грека станет веселей. — Просунув руку под пиджак, погладил котенка. И с упрёком посмотрел на детдомовцев: — Эх, вы! Как же вы смели позабыть дорогу в мою берлогу? А? Я каждый вечер смотрю с балкона: не плывут ли к моим берегам корабли из Дома Надежды? Нет, не плывут! И не совестно забывать старого учителя?

Ребята виновато переглянулись: а ведь и правда! За суматохой дел совсем забросили старика. Но сегодня — увы! — отправляться на его «верхотуру» слишком поздно, Надежда Васильевна станет беспокоиться. Завтра. Они обязательно придут завтра!

— Ну смотрите же! Буду ждать! — Остановившись на перекрестке, Кристодуло приподнял над головой шляпу: — Приходите! А то у меня от одиночества, по словам Гейне, «Zahnschmerzen in Herzen» — зубная боль в сердце! Ну, малышня, до завтра!

И провожающие загалдели в четыре голоса:

— До завтра!

— До свиданья, Николай Аристидич!

— До побачення!

— Если, конечно, тетя Надя позволит... — с сомнением протянула Неда. — Мы, Николай Аристидич, готовимся к встрече с испанскими пионерами.

— А-а-а! Ну, ясно! А вы попросите хорошенько. Ведь ваша милая тетя Надя к старому Греку не так уж плохо относится. Может, смиростивится? А?

— Она любит вас и уважает, Николай Аристидич, — убежденно сказала Неда.

— О? Поклон ей и привет!

2. НОЧЬ В ДОМЕ НАДЕЖДЫ

После ужина, пока Неда и Ганя помогали дежурным по столовой, Сережка и Генка отыскиали в вестибюле Надежду Васильевну, она разговаривала с медсестрой, кудрявой толстушкой Асмик Абовян. Обе были взволнованны: у Алика Ботаева из младшей группы вдруг подскочила температура.

Ребята присели на диван у большого, чуть не во всю стену, зеркала и молча ждали, пока Надежда Васильевна освободится. Сережка разглядывал в зеркале отражения женщин: Надежда Васильевна — высокая и стройная, несмотря на свои сорок лет, с гладко причесанными каштановыми волосами, с умными, добрыми и всегда грустными зеленоватыми глазами, с такой же грустной и доброй улыбкой, а Асмик — толстенная, в черных, рассыпанных по плечам кудряшках, в больших очках с сильными, выпуклыми стеклами, очки придавали ей сходство с героиней научно-фантастического романа.

Женщины совещались: переносить Алика в изолятор сейчас или оставить в спальне до утра? В легких никаких хрипов, язык и стул в норме. Может, просто на солнышке перегрелся?

И вот, озабоченно потряхивая блестящими смоляными кудряшками, Асмик убежала, а Надежда Васильевна повернулась к ребятам:

— Я вам нужна?

— Да, тетя Надя.

Конечно, полагалось бы, чтобы воспитанники называли за-

ведущую по имени-отчеству, но она никак не могла заставить ребят обращаться к ней официально, да, по правде сказать, ей приятно было любое проявление ребячьей привязанности.

— Слушаю.

Сережка рассказал о встрече с Кристодуло. Надежда Васильевна чуть подумала.

— Да, через его руки прошло не одно поколение наших мальчишек и девчонок. Не надо обижать. Когда хотите пойти?

— Завтра, после обеда.

— Тихий час же!

— Поспим немного и пойдем, тетя Надя. Хорошо?

— Договорились. Но не опаздывайте к ужину.

— Есть, кэп!

По дороге в спальню Генка взял с Сережки слово, что тот не скажет девочкам о завтрашнем визите к Греку: ведь с ним пужно серьезно поговорить, посоветоваться. А при них, особенно при болтушке Хохлатке, разве можно? Сережка хмуро кивнул. Поднялись на второй этаж, умылись, почистили зубы, улеглись. Завтра с утра, может, удастся еще разок наведаться в парк, авось обнаружится что-нибудь новое. Вчера они только заглянули в провал, проникнуть в глубину мешала стоявшая в подземелье плотная тьма и, что уж греха таить, безотчетный, почти суеверный страх...

Как и обычно, Надежда Васильевна перед сном обошла все восемь спален, посидела возле Алика Ботанева, опять выслушала его, постояла у кроватей других; сонные детские лица в голубоватом свете почников почти неразличимы. Да и не было нужды всматриваться, она знала своих восемьдесят питомцев, как знала когда-то дочку Аленку, — характеры, желания, вкусы, кто чем дышит, какие кто видит сны... Что же в этом удивительного? Они все были ее детьми: и Сережа Бесгинов, и Алик Ботанев, и Неда Лазарева, и даже самые «трудные» ребята вроде Генки Таврова и Васи Голубева. Да, пожалуй, «трудных»-то она любила больше тихих и послушных, почему — сама не могла бы объяснить.

В спальнях полусвет, тишина, сонное дыхание. Набега-лись за день, спят как убитые.

Нет, не все спят. В спальне старших девочек приглушенные голоса.

Надежда Васильевна задержалась у двери.

— ...уверена — у Рыжих какая-то тайна. — Голос Неды Лазаревой. — Переглядываются и шепчутся, как заговорщики.

— А спытасшь — мовчат, як камешюки... — Шепот Гани Опишко, самой «молодой» в Доме. Ее привезли из Измаила в прошлом году; мать ее и отца, секретаря райкома, убили националисты, не желавшие воссоединения Бессарабии с Россией. С легкой руки Генки, любившего приклеивать прозвища, к Гапе пристало ласковое «Хохлатка», она не обижается и откликается на него.

Надежда Васильевна прошла к окну, к кроватям подружек, девочки виновато притихли. На полнощекоем лице Гани влажно блестели почти круглые, темно-вишневые глаза; профиль сидевшей на кровати Неды черным силуэтом вырезался в желтом квадрате окна. Оттуда, из окна, забражного частой металлической сеткой, в комнату спускалась дорожка лунного света.

— Вы же мешаете другим, Неда! — упрекнула Надежда Васильевна. — Давно пора спать. — И покосилась на окно: — Луна, что ли, беспокоит?

— Да нет, тетя Надя.

— А у каких Рыжих тайна? — поинтересовалась Надежда Васильевна. — У Сережи и Гены?

— Ага.

— У мальчишек всегда тайны... — Она постояла, повторила: — Спать. Спать, полупочницы! Ложись, Неда!

И, дождавшись, пока девочки улеглись, ушла, спустилась на первый этаж. Мимоходом заглянула в комнаты для занятий и игр, в гимнастический зал, в столовую и музей. Везде порядок, тихо и пусто.

И снова — в который раз! — поблагодарила судьбу и Одесский ревком за роскошный старинный особняк, доставшийся в двадцатом году детскому дому. Высокие потолки, широченные окна, дающие массу света, некрутые лестницы. Большой двор и сад и за домом обширный, правда заброшенный, парк.

До революции особняк принадлежал известному всей России судовладельцу — миллионеру Константину Георгосу. Октябрь выдворил богача вместе с его чадами и домочадцами за границу — мечтать в стамбульских, афийских и парижских кофейнях о реставрации прошлого, о возвращении, о мести. А особняк стал обиталищем детишек, обездоленных войнами, империалистической и гражданской. В те годы целые полчища сирот скитались по городам и весям России.

В полукруглом зале вестибюля, уронив на колени вязанье, дремала старенькая кастелянша Ефимьевна. Морщинистые, в коричневых веснушках руки, глубоко запавшие добрые глаза.

Старухе пора бы на пенсию, но... «А что же я, Васильевна, без них, без ребятишек, делать-то стану? Чем жить?»

Надежда Васильевна легонько тронула за плечо.

— Что не спите, Мария Ефимьевна? Идите, ложитесь.

— А сама? — вскинулась та, притворяясь, будто бы и не дремала. — День-деньской, милая, словно юла кружишься. Ночные заступили, твое дело — отдыхать.

— Да, да...

Надежда Васильевна еще раз переговорила с Асмик — «Будите немедленно, если что!» — с дежурной воспитательницей, Беллой Борисовной, та тоже будет присматривать за Аликом... Можно спать, но что-то не тянет, сна ни в одном глазу.

Вышла на крыльцо, постояла, опершись о мраморную колонну. Луна вымстила латунными плитами просторный двор, вычеканила темно-зеленую листву парка за чугунной оградой и как бы омоложила каменных львов, разлегшихся у подъезда. Непривычно ярко белели в потоках лунного света стены флигеля, где больше десяти лет прожила Надежда Васильевна, а вместе с ней воспитательницы Дома и молчаливый, бородатый завхоз Голубушкин. Конечно, она могла бы занять одну из комнат на антресолях, тише, спокойнее, но тогда из окон не будут так хорошо видны двор, где ребята выстраиваются на линейки, ворота, площадки для игр, где ежедневно разворачиваются волейбольные и баскетбольные баталии. По утрам, обойдя свое хозяйство, Надежда Васильевна любит смотреть, как ребята выбегают на зарядку и линейку, любит слушать их смех и крики, а потом, когда на укрепленном посреди двора флагштоке медленно всплывает вверх кумачовый флаг, — торжественную тишину. Мальчишкам кажется, наверно, что над ними вздымается корабельный штандарт — «Флаг и гюйс поднять!». Ей доставляет тихую и чистую радость смотреть на внимательные, напряженные и счастливые детские лица... Нет, никуда она из флигеля перебираться не будет...

Отсюда, с крыльца, было далеко видно. В проломе спуска дрожала голубизна ночного моря; на рейде и в гаванях, перемешанные с отражениями звезд, бессонно помаргивали огни судов, вспыхивал и, пронзив на секунду тьму, гас и снова вспыхивал свет Воронцовского маяка. За Карантинной гаванью, километрах в десяти, старательно ощупывали море лучи пограничных прожекторов, а за серым порогом волнолома, на фоне почной тьмы, уходил в сторону Констанцы ярко освещенный, будто пылающий, океанский пароход.

Спустилась с крыльца, пошла к высоким кованым воротам, они щетинились копиями с когда-то позолоченными, а теперь потускневшими остриями. К решетке ворот припаяны бронзовые якоря, ни разу не касавшиеся дна моря.

От бывшего каретника, из теневой черноты, волоча хвост, вышел старый Боцман, лохматый, с лобастой головой сенбернара и человечески умными, скорбными глазами. Потеря о ноги хозяйки и поплелся за ней к воротам.

Сама не зная зачем, она отперла и открыла калитку и долго стояла, глядя в уходящую к морю перспективу улицы, сейчас безлюдной и безжизненной.

Как томительны такие вот почные часы весной, когда пейзажно и в то же время тревожно пахнет зацветающей акацией, а море издали дышит запахами водорослей, гниющего дерева и мокрых камней! И хотя детство и юность Надежды Васильевны прошли в Подмосковье, ей часто кажется, что со дня рождения она помнит томящее одиночество таких почей и чуть приглушенное туманом сильнее сверкание моря.

Вздохнув, закрыла и заперла калитку, потрепала Боцмана по глыбастой голове.

— Старенький ты стал, пес, еле ноги волочишь, — сказала с грустью. — Никакой ты давно не сторож. И не обижайся, пожалуйста!

Детдомовские мальчишки и девчонки души не чают в старом добродушном Боцмане. Что ж, пусть доживает пес на почное; хорошо, когда дети любят животных, жалеют их. Надо бы, вероятно, завести еще собачонку, этакую бессонную и лихую задиру, чтобы по-настоящему караулила дом. А то, слышно, пошаливают на Пересыпи и под горой: у знакомых Ефимьевны среди бела дня увели со двора козу.

Проходя от ворот к дому, Надежда Васильевна заметила на скамейке в тени каретника едва поыхивающий огонек и темную фигуру: вышел на почную вахту завхоз Голубушкин, бородатый молчун, прозванный детдомовцами Добрыней. А что, в нем и правда было что-то от древнерусского богатыря. После того как месяц назад ушел на пенсию прежний почной сторож, Голубушкин взялся присматривать за Домом и по ночам. «Все одно, Васильевна, сна почти нету».

— Как дела, Захар Степанович? — спросила, присаживаясь рядом.

— Да вот табачок перевозжу, — не сразу отозвался Голубушкин, поыхивая трубкой.

Боцман подошел, положил морду на колени завхоза.

— Что, волчий хвост? — Голубушкин с грубоватой лаской потыкал пса кулаком в загривок. — Тоже, старый, не спишь? Ух ты, зверь!

Надежда Васильевна посидела, припоминая свой первый разговор с Голубушкиным. Раньше он жил в Поволжье, в степной деревеньке, близ Балакова, там у него погибла в огне пожара вся семья — жена и двое сыновей. Тоска согнала Голубушкина с родных мест, где все папоминало о погибших, он объездил всю страну, как сам говорил, «из края в край», а когда наскучило скитаться, приткнулся в Одессе и прижился к Дому. Принимая его на работу, Надежда Васильевна с опаской думала: «Не старый еще, не уживется, будут с ним хлопоты». Но так тронул ее рассказ Голубушкина о пережитом, что Надежда Васильевна приняла его. И не пришлось жалеть.

— Устаете, Захар Степаныч? — спросила, всматриваясь в простодушное широкое лицо, прикрытое понизу былинной бородой.

— Терпимо, хозяйка...

Они сидели напротив дома, облицованного бледно-желтым светом луны, с чуть подсиненными квадратами окон; лишь на антресолях, в комнатухе Валерия, теплился свет. Упорный паренек, весь день с ребятами, а ночи над книгами. Этот, как и Саша Ястребков, поступит в свою мореходку, никуда она от него не денется! И уйдет — осенью на несколько лет в общежитие, потом бороздить моря-океаны. Отпускать, конечно, жалко, толковый вожатый, да и ребята любят: как-никак свой, столько лет вместе! Но не оставаться же на всю жизнь пионервожатым!

— Ну, доброй ночи, Захар Степаныч!

— И вам, хозяйка! Лупа-то как пышет, во всю силу...

Во флигеле, в своих двух комнатках, Надежда Васильевна включила свет, посмотрела газеты — так и не успела днем. А еще утром звонил Данило Митрофанович Дикун из города, поздравлял: в «Известиях» репортаж о Доме, хвалят. И называется очерк по-доброму — «Дом Надежды». Как ни скромничай, а приятно: признают, что не даром проходит твоя жизнь.

Потом читала письма бывших воспитанников. Они писали со всех концов Союза, а мальчишки частенько и из «загранки», не забывали. Обычно письма дышали бодростью, но сегодня пришло и грустное, от Светы Кашугиной: пять лет назад она вышла замуж и уехала с Виктором в Херсон, к его матери.

Оказывается, замужество не принесло Светлане счастья, о

каком мечталось. Муж, экспедитор в Херсонском порту, стал пропадать из дома, грубить. «Словно и не любит меня совсем, тетя Надя,— жаловалась Светлана.— И на мальчонку меньше внимания обращает, а Павка без памяти от отца. Самое счастье для него, когда Витя берет его на машине прокатиться, поди-ка, по шоферской части мальчонка пойдет. Уж и не знаю, тетя Надя, как обернется дальше, но как бы счастье мое тут и не кончилось».

Надежда Васильевна погрузила над страничками письма, браня себя: должна была предвидеть!.. Ей и раньше не особенно нравился Виктор, грубоватый и дерзкий, но не решалась перечить Светлане, пожалела первую любовь. Да и боялась, что неприязнь к Виктору рождается в ней ее «материнской» ревностью, и старалась не давать ей воли...

Походила по комнате, выглянула в окно на залитый лунными потоками двор. Ничто не шелохнется, ти-ши-на. А на антресолях у Валеры по-прежнему свет — все занимается парень. В нем, в Валерке, много чистого и доброго, но и воля есть, и характер, да и ума не занимать. Вот Женечка Маслова истоскуется без него. Но будущей весной и она уйдет, и ах как хочется верить, что будут они счастливыми...

Она думала: сколько же свадеб справлено в стенах Дома, пока она здесь? Вырастают ребята, прощаются, уходят в жизнь, а через год-два, глядишь, и являются парочкой — поздравляйте их, тетя Надя, они, видите ли, счастливы! И в Доме праздник, и к себе зовут, если есть куда звать, если уже обзавелись жильем. Ах, жалко, не ведет Надежда Васильевна дневников, личных записок, воспоминаний, где бы все излагалось подробно, с мелочами, с чувством: ведь то, что записывается в журналах деловых, не выражает и тысячной доли того, что хотелось бы сказать. Нет, пора выкраивать хотя бы полчаса в сутки и писать по ночам. Конечно, новый Макаренко или Песталоцци из нее вряд ли получится, но есть же дорогие крупинки, золотые зернышки опыта, вдруг кому-то и пригодятся...

Что ж, все-таки пора спать. Она задернула оконную занавеску у кровати: уж слишком ярко ломился в окно лунный свет. Почему-то именно в лунные ночи снились тяжелые, пугающие сны. И еще давно заметила: если днем что растревожит, если неприятность с кем из ребят, обязательно дурные сны. Сейчас огорчило письмо Светки.

И действительно, приснилось плохое. Приснилось, будто Аленка, сияя глазенками, танцует в радостном ожидании на ди-

вапе, а Надежда Васильевна, согнувшись над машинкой, дошивает пышущее жаром красное платье, яркое и красивое, какого у Аленьки никогда еще не было. И во сне день, как и на самом деле много лет назад, по-весеннему ярок и щедр, земля радостно вертится под солнцем и будто жмурится от наслаждения.

Никелированная лапка швейной машинки подминает под себя пылающую красную ткань, и Аленька задыхается от счастья: «Ух, мам, до чего же к'асивое! П'ям до невозможности!»... И потом, сразу, без перерыва, — Аленька в красном платье на зеленом, белеющем ромашками лугу, на берегу Москвы-реки. И бешеный от ярости, с раздувающимися ноздрями, песущийся на девочку бык.

Надежда Васильевна всегда просыпалась на этом месте, проснулась и сейчас. Потянулась к тумбочке, открыла дверцу, ощупью нашла папиросы. Мало кто в Доме знал, что она курит: утром тщательно заметала следы ночных «преступлений».

Затянулась раз, другой, папироса помогла преодолеть волнение. Боялась снова забыться и увидеть продолжение действительности и сна: как несла дочку на руках, а по коленям стекали горячие капли и как потом двое суток лежала на могиле на Кунцевском кладбище...

Этой страницы из жизни Надежды Васильевны никто в Доме не знает, она не рассказывала никому. Зачем? Жалобами не утишишь, не ослабишь горя.

Сейчас, однако, думала не только об Аленьке, а и о Светке и ее мальчугане. Завтра же написать: если невтерпеж, пусть приезжают. И работа найдется, есть свободное штатное место, и Павка не вырастет одиноким... Хотя, честно говоря, Надежда Васильевна не любила брать на работу женщин с детьми: не заставишь мать любить чужих крепче или так же, как своих... Ну да ладно, утром на летучке посоветуемся, поговорим...

Решение принято, чужое горе отступило, отстранилось, и снова вернулось прошлое. Похоронили Аленьку не в том платье, которое мать сшила накануне. Изорванное и испачканное кровью, оно было спрятано в шкафу, и однажды Алексей нашел его.

«Ты сама, своими руками, убила ее!» — сказал он тогда.

Да, эти жестокие и, конечно же, несправедливые слова бросил ей в лицо человек, которого она любила!

Детей у них больше не было. И Алексей вскоре страшно затосковал, завербовался в Норильск и уехал, она не получила от него ни одного письма.

Да и сама не могла больше оставаться на родине. Скиталась из города в город, нигде по-настоящему не находя покоя. Работала няней и санитаркой в детских садах и больницах и, чтобы как-то заполнить жизнь, училась — сперва на курсах медсестер, потом в медицинском институте. И плакала украдкой над кроватями чужих детишек, старея от горечи невозможного для нее материнства.

В конце концов, по счастью, судьба привела ее в Одессу, в этот дом, Дом Надежды; многие зовут его так, вкладывая в наименование двойной смысл. И дети в Доме живут и вырастают, и Надежда Васильевна привязывается к ним, прикипает сердцем. А они — настает неизбежный час — уходят, как ушли Саша Ястребков и Света Кашуткина, как уйдет Валерий и сотни других... Да, все приходит и уходит, и это и есть жизнь!

3. БАЛЛАДА О РЫЖИХ

Ни Сережка, ни Генка не обижались на прозвище. Природа наделила их одинаковыми, отливающимися медью волосами: нравится прозвище, не нравится — спорить не приходится! Рыжие! Правда, была в их рыжине и разница: у Сережки волосы всегда аккуратно причесаны, а Генкины вихры торчат дыбом.

Но, пожалуй, лишь неистребимой рыжиной и исчерпывалось сходство. Сережка — пасмешливый, но подчеркнуто корректный, изящный и по-своему обаятельный, а Генка — длинный и несуразный, порывистый и взбалмошный, готовый в любую минуту затеять драку. У Генки простецкая, можно сказать, некрасивая физиономия, синеватые глаза расставлены широко и, когда Генка сердится, чуть косят. А у Сережки лицо правильное, нос топкий, с изящной горбинкой, пасмешливый рот с ямочками по углам, глаза пронически прищурены. «Аристократ! С твоей внешностью не в детдоме, а в Пажеском корпусе воспитываться», — шутил Николай Аристинич, вообще-то равнодушный к Сережке.

Нередко на Сережку «находило», как выражался Генка, и он тогда изъяснялся выпендрено и книжно, воображая себя то рыцарем каких-то там веков, то римским трибуном, то «кэпом» корсарского корабля. «Читаешь ты, Сережа, много, но без разбора, и в голове у тебя ералаш», — заметила как-то На-

дежда Васильевна, найдя в Сережкиной тумбочке роман о «береговых братьях». В романе живописались похождения пиратских капитанов Мапсфильда и Моргана, пытавшихся основать в Карибском море пиратскую республику со столицей на Олд-Провиденс и плававших под черным флагом, на нем пласал белый человеческий скелет — «Веселый Роджер». «Чушь! Какая чушь!» — возмущалась Надежда Васильевна, перелистывая страницы, но сама, уже у себя во флигеле, не смогла оторваться от пиратского романа, пока не дочитала до конца...

Дружба Сережки и Генки началась два года назад, когда осиротевшего Генку впервые определили в Дом Надежды. Был Генка угрюмый и злой, на всех огрызался, на любую обиду отвечал кулаками, за что и сам бывал жестоко бит — то и дело ходил разукрашенный царапинами и синяками. «Трудный, озлобленный, — думала Надежда Васильевна, наблюдая за ним в первые дни. — Но, может, дружба с Сережей пойдет на пользу».

В первый день, сразу же после завтрака, Генка из Дома сбежал, его задержали в порту, где он норовил пробраться на уходивший за границу пароход. Что бездомный мальчишка собирался делать за рубежом, что искать на чужбине, он и сам не мог объяснить. Его привела в Дом женщина-милиционер из детской комнаты порта.

— Ваш, товарищ Кордунова? — спросила она Надежду Васильевну, выталкивая Генку вперед. — Я его на пирсе подхватила. Гимнастерку детдомовскую какому-то оборванцу продавал. Я — к ним, а они — сквозь землю! А потом вижу: возле заграничала отирается. Эх, думаю, рыжий, меченый, мной примеченный!

Генка, без рубахи, в одной майке, переминался с ноги на ногу, упершись взглядом в пол. Щеки провалились, на левой скуле багровый кровоподтек.

— Принимаете, товарищ Кордунова? — поинтересовалась Генкина спутница, оправляя под ремнем гимнастерку. — Удержите? Или снова стрекача даст?

— А мы, товарищ, силой не держим, — сухо отозвалась Надежда Васильевна, перебирая бумаги на столе. — И держать не собираемся. Тавров не маленький, сам скоро поймет. Станет бродяжничать, свяжется со шпаной, угодит в колонию. А там строгая охрана, замки, дисциплина — не слишком весело! — Надежда Васильевна помолчала, искоса поглядывая на ободранного мальчишку. — Зачем рубашку продал, Гена?

— Есть хотел.

— Вернулся бы и пообедал со всеми.

— А вы бы ругаться стали.

— Конечно, стала бы. Разве не заслужил? Школу пропустил, рубашку продал, подрался... Кто тебя стукнул?

— Шкет один на Привозе приклеился, кисло ему в борщ! Ну и я ему врезал — запомнит!

— Н-да...

Откозыряв, женщина-милиционер отправилась исполнять дальше свои сложные обязанности, а Надежда Васильевна и Генка остались одни. Генка молчал настороженно и угрюмо.

Надежда Васильевна распахнула створки окна, позвала:

— Девочки! Пошлите ко мне Сережу Бесгинова.

Через минуту, запыхавшись, Сережка остановился на пороге, с интересом рассматривая тощего, замурзанного Генку. Надежда Васильевна сказала:

— Знакомьтесь!

Сережка шагнул с порога, протянул руку:

— Бесгинов. А фамильярно — Бес!

— Сережа! — рассердилась Надежда Васильевна. — Пожалуйста, без кличек!

— Есть, кэп!

— И когда ты станешь серьезнее, Сережа?

Генка окинул Бесгинова оценивающим взглядом, буркнул:

— Тавров моё фамилие, — но руки не подал.

— У вас, мальчики, схожая судьба, — продолжала, чуть помедлив, Надежда Васильевна. — У обоих отцы были моряками. Так, Гена?

— Я за чужих не знаю, — пробурчал Генка. — А мой в море сгиб. Это уж точно.

— У Сережи отец тоже погиб в море, — чуть строже сказала



Надежда Васильевна.— И вот о чем я подумала, ребята. Были бы живы ваши отцы, встретились бы, может, плавали на одном корабле, подружались бы? Могло так быть?

Генка молчал напряженно и неприязненно, Сережка—с иронической усмешкой. «Если у этого длинного чудика,— думал он,— и папая был такая же зануда, вряд ли бы они с моим подружались».

— Ну, вот что, мальчишки,— решила Надежда Васильевна.— До ужина я вас отпускаю. Пойдите на Примбуль, в гавани, к морю, я знаю, как оно вас тянет. И ты, Сережа, расскажи Генкадию, как убегал из Дома и что из твоего побега получилось. Как мы тебя из колонии выручали. Не забыл? Думаю, Таврову полезно послушать. Выражаясь газетным языком, обмен опытом... Но смотри, Сергей, ты мне за него отвечаешь. Согласен?

Сережка, прищурившись, подмигнул Генке. Тот был на целую голову выше, но тощий, хлипкий. Длинные руки свисали почти до колен, растрепанные рыжие вихры смешно торчали. Голубоватые глаза холодно блеснули из-под светлых бровей.

— Согласен! — Сережка с вызовом протянул Генке руку.— Ну, сеньор, вашу длань!

После секундного колебания, исподлобья зыркнув взглядом на Надежду Васильевну, Генка протянул Сережке исцарапанную, немытую пятерню.

— Зайдите к Ефимьевне,— распорядилась Надежда Васильевна,— скажите: я велела дать новую гимнастерку. Потом в душ, пусть приведет себя в порядок!

Через полчаса они спустились на Примбуль, так называли ребята Приморский бульвар, прошли по нему метров двести, и Генка, украдкой наблюдавший за беспечно посвистывающим Сережкой, вдруг метнулся в сторону, перепрыгнул скамейку и, пригнувшись, понесся по откосу вниз. Там, под бульваром, в паутине железнодорожных путей, пыхтели паровозы, бряцали сцеплениями товарные вагоны и платформы. На путях в суете и суматохе движения, думалось Генке, легко скрыться.

Но Сережка давно ждал, что Генка попытается «оторваться». Тремя прыжками догнал, с разбега прыгнул на спину. Сцепившись, покатились в кювет, и вскоре Сережка сидел на распластанном сопернике, прижав его руки к земле. Тяжело и хрипло дыша, тот уставился на Сережку невидящими глазами.

— Не дави, гад! Больно!

Но Сережка отпустил не сразу. Прижимая Генку к земле, вглядывался в широкое лицо со светло-синими глазами, налитыми слезами бессильной ярости.

— Мы, кажется, обменялись рукопожатием дружбы, сеньор? — напомнил Сережка. — Или забыли?

— Сам видал: силком заставила!

— Не понимаю, как можно заставить человека сделать то, чего ему не хочется? — Не отпуская Генкиных рук, Сережка пожал плечами. — А вы слышали, сэр, что за вашу не шибко драгоценную жизнь я отвечаю собственной шкурой?

Генка поморщился, облизнул губы:

— Кончай балаган! Говорю, больно!

— Давай честное: не побежишь?

Натужившись, Генка еще раз попытался вырваться, но Сережка держал крепко.

— Ладно, черт с тобой! — Морщась от боли, Генка облизнул разбитые губы. — От тебя не побегу.

— Тогда вы свободны, господин флибустьер!

Генка посмотрел исподлобья:

— Какой еще флибустьер?

— Приблизительный перевод: свободно грабящий. Устраивает?

Сережка помог Генке подняться. Отряхнули со штанов и рубашек пыль и угольную крошку.

— А и здоров же ты! — с недоброй завистью заметил Генка, приглаживая ладонями растрепанные рыжие вихры.

— Поживешь в Доме и ты таким станешь! — пообещал Сережка, переходя на нормальную мальчишескую речь. — Валерий, наш вожатый, знаешь как тренирует! Во! Перворазрядник-самбист. Жалко, уйдет скоро, паспорт недавно получил, в мореходку метит! — Сережка завистливо вздохнул. — Ну-с, поскольку недоразумения улажены, айда в порт!

Минут через двадцать они сидели на пирсе Новой Гавани, следя за «Товарищем», учебным парусником, плавно выходившим из-за гряды волнолома. Паруса на корабле убрали, с рей, по вантам, по-обезьяньи ловко скользили курсанты в темно-синих матросках. Белый корпус корабля напоминал большую чайку, спустившуюся в гавань, неподвижная вода повторяла корпус и мачты.

Долетали неразборчивые слова команды, стрекотала лебедка. Из овального проема клюза, звеня цепью, загромыхал вниз двухлопастный якорь.

— Вот на такой посудине походить!.. — вздохнул Генка. — Блеск! Подохнуть с зависти!

— Не перестанешь от школы бегать, придется дóхнуть. — Щурясь, Сережка посмотрел на заходящее солнце. — Дураков в мореходку давно не берут! Не пужны. Нынче не семнадцатый век: явился длинный рыжий недоросль в порт и сразу — будьте любезны! — юнгой на шхуну, на бриг, на корвет. В последние годы в мореходку конкурс огромный! — Сережка бросил камешек в подернутую оранжевой пленкой воду. Узкими, сощуренными от солнца глазами следил, как с парусника спускали шлюпку. Неожиданно спросил: — Твой батька в Черном погиб?

Не сразу ответив, Генка достал из кармана помятую пачку папирос, закурил, затянулся. Вода плескалась у ног почти неслышно, с моря тянул легонький теплый бриз. У Воронцовского маяка, однако, вскипали и таяли белые буруны — прибой.

Не поворачивая головы, Сережка покосился на товарища.

— Ты... — Он почувствовал себя неловко: наверно, не стоило об отце. — Если неохота...

Но Генка справился, сильным щелчком швырнул в воду только что зажженную папиросу.

— Да нет, я — без соплей, Бес! А что до батьки, так он сначала на каботажке плавал, всякую хурду-мурду возил. Соль там, арбузы, рыбу, капусту. А потом надоело, пошел на спасатель... Ну и... Мне в тот день аккурат именины справляли. Шторм качал баллов на восемь, волна с двухэтажный дом валила. И тут SOS: румынская посудина по горло хлебает. Само собой — кинулись. И бот с ними, с четырьмя, волной захлестнуло. И все, концы!

Помолчали, наблюдая, как, блестя мокрыми веслами, отваливает от парусника четырехвесельный ялик.

— А мать?

— Не помню, — отмахнулся Генка и вскочил. — Родила и померла, всего и делов. Мы с батяней вдвоем куковали. Он тоже из детдомовцев был... — Генка облизнул разбитые в драке губы и заговорил о другом: — Ну и портище наша Одесса!

— Самый-самый на Черном, — охотно подхватил Сережка, тоже вставая. — Даже румынская Констанца не идет в сравнение.

— Бывал, что ли? — прищурился Генка.

— Отец рассказывал. — Сережка ждал, что Генка, в свою

очередь, примется расспрашивать о Сережкиной семье, но говорить об отце не хотелось, и он мысленно поблагодарил Генку, что тот промолчал.

Неспешно шагая по нагретому за день бетону, прошли в гавань, где на мачтах судов разноцветно плескались на ветру флаги далеких, чужих стран — Индия, Франция, Италия, Египет. Краны трудолюбиво поворачивали жирафы шеи, перенося с пирса в трюмы всевозможные тюки, ящики, бочки, машины. В соседней гавани рыбацьи сейнеры раскачивались на поднятой буксиром волне.

— Пора, пожалуй, и нам подгрести к причалу, — с сожалением заметил Сережка, провожая глазами солнце. — Надежда Васильевна сердится, если опаздывают к ужину.

Нырять под вагонами, они пересекли железнодорожные пути, выбрались на Приморскую. Опускавшееся за Ланжерон солнце светило в спину, мостовую пересекали длинные тени.

После ужина Надежда Васильевна распорядилась переставить в спальне Генкину койку от двери в угол, к койке Сережки. Так они поселились рядом.

И в школе сидели на одной парте, на «камчатке», у окна, откуда виден синий лоскут моря и пароходы, огибающие волнолом на траверзе Воронцовского маяка. Если забыть об уроке и, пригнувшись, скосить взгляд, над красной черепицей и разноцветным железом крыш возникнет тающий гребень прибоя у Потаповского мола, сизая паутина пароводного дыма, растянутая над горизонтом.

Да, дружба с Сережкой, как и предвидела Надежда Васильевна, пошла Генке на пользу. Звезд с неба он, правда, не хватал, но двойки в его дневнике появлялись все реже. И говорить стал грамотнее, правильнее — старался подражать Сережке. Лишь изредка на Генку, по словам Ефимьевны, «накатывала блажина», тогда он либо хандрил и сторонился всех, либо озоровал, и озоровал недобро, от желания обидеть, напугать.

Так, например, однажды весной, вскоре после поступления в Дом, он тайком от всех — даже Сережка не знал — принес в школу живого ужа. «Мирное пресмыкающееся», как Генка пменовал своего питомца, он выпустил во время урока классной руководительницы, немного чопорной, но терпеливой и милой математички Полины Максимовны. Поблескивая, уж полз, извивался между партами, а обезумевшие от страха девочки карабкались на парты и бросались к двери, визжа: «Змея! Змея!» Полина Максимовна побледнела и с ужасом следила за ужом;

он полз между партами, поворачивая из стороны в сторону маленькую точеную головку и выбрасывая из пасти раздвоенный язык.

А Генка недвижимым, блаженным истуканом восседал за партой и улыбался во весь рот, довольный и торжествующий. Когда уж дополз до стола Полины Максимовны и она, прижав к груди руки, попятилась к доске, Генка наконец соизволил встать, вразвалочку прошеествовал по классу и с царственной небрежностью взял ужа голой рукой. «Словно не живой уж, а веревка, тряпка какая-нибудь», — поражалась потом Неда. Пряча ужа в портфель, Генка объяснял вздрагивающей Полине Максимовне:

— Извините-простите, сам вылез. Ушлый, черт! Я, Полина Максимовна, предлагаю устроить в классе кружок имени... этого самого... ну, Дурова. И вот принес первый экспонат. Вы не верьте, Полина Максимовна! Никакая это не змея, а мирное пресмыкающееся. Девчонки — дуры, не понимают. Вот, смотрите! — Он торжественно, жестом циркового фокусника, извлек из портфеля ужа и, подержав над головой, сунул себе за пазуху. — Не кусается, можете убедиться. Пригреется и уснет. Девчонки визгом растревожили, а так он, Полина Максимовна, смирный. Если и ужалит — без яду. Кто хочет подержать, пожалуйста, не жалко! — И, поведя кругом наглыми смеющимися глазами, снова выхватил ужа из-за пазухи и высоко поднял над рыжей всклокоченной головой: — Ну, налетай, туземцы!

Но держать в руках «мирное пресмыкающееся» туземцы 5 «Б» не возжелали, и Полина Максимовна выгнала Генку из класса. Не в состоянии произнести ни слова, она только гневно махала рукой на дверь. И Генка с видом оскорбленной добродетели вышел.

На пороге остановился, обиженно пожал плечами:

— А я думал... экспонат... тайны природы... дуровцы-мичуринцы, — паясничал он.

— Немедленно убирайся вон, Тавров! — закричала Полина Максимовна, не владея собой. — Вон из класса, Тавров!

— Пожалуйста! Будьте любезненьки! — Генка раскланялся и исчез, подмигнув с порога Сережке.

По движению Генкиных губ Сережка понял: «Пока!»

4. У НАШЕГО ГРЕКА

Сережка и Генка на цыпочках выскользнули из спальни, прокрались по коридору к дальнему окну, оно выходило на глухую кирпичную стену, ограждавшую особняк с востока. Обычно даже в летнюю пору это окно не открывали — так удушливо тянуло из него каменной сыростью и винной прелью прошлогодней, полусгнившей листвы. Но обе створки распахнулись неожиданно легко.

Выпрыгнув в узкий проход между стенами, мальчишки притаились за углом, оглядывая безлюдный, пышущий жаром двор. День выдался для весны на редкость знойный.

Приглушенно шумела улица, жужжали над канавой изумрудные мухи, сладко позевывал Боцман, разлегшийся в спасительной тени каретника. Окна Надежды Васильевны были закрыты, наверно, тоже легла отдохнуть.

— Давай!

Пригнувшись, бегом пересекли двор. Ржаво лязгнула щелка, выскочили на раскаленную, пустынную в этот час улицу. Будто бы обошлось, никто не заметил их «самоволки». Но уже захлопывая калитку, Сережка свистнул от неожиданности и удивления: в окне спальни старших девочек на втором этаже стояла Неда.

Генка буркнул через плечо:

— Чего свистишь?

— Просто так, сэр. Дурная привычка!

И Сережке вдруг стало не по себе: как ни оправдывайся, что ни говори, они поступают нечестно, подло! Наш Грек звал к себе и девочек, а они с Генкой удирают тайком, словно воры. Что Сережка потом скажет Неде? Как посмотрит в глаза? Он вообще поклялся никогда никому не лгать, считая ложь проявлением трусости. А уж врать Неде, с которой давно дружит, было недопустимо. Правда, находилось словно бы и оправдание: с Греком нужно поговорить с глазу на глаз, без посторонних. Но, по совести, разве это оправдание? Так себе, отговорка. Сережка это отлично понимал. И нет же ничего тайного, что не станет явным. Так стоит ли пачкать себя ложью?

Сережка остановился, оглянулся на Дом. Шагавший чуть впереди Генка обернулся:

— Ну, что еще?

— Да понимаешь, Ген... мы же обещали...

— «Обещали! Обещали!»! — передразнил Генка, сразу догадавшись, о чем речь. — Ну и что — обещали? При них, что ли, о беседке говорить? Тогда что? Хохлаткин язык на цепь не посадишь, сразу все в Доме узкают. Да и Недка твоя...

Генка давно и непримиримо осуждал дружбу Сережки с Недой Лазаревой, полагая «позорной» хотя бы крохотную власть любой девчонки над любым мальчишкой. «Ничего от них, кроме соплей!» — пренебрежительно заявлял он Сережке, хотя про Неду при всем желании ничего плохого сказать не мог: девчонка фартовая, первый класс.

Но сейчас Генка был возмущен, поведение Сережки граничило с предательством.

— Ну, чего? — раздраженно шипел он. — Чего уставился? Ее ждешь?

А Сережка и в самом деле ждал: вот-вот откроется калитка и покажется Неда. И, честно говоря, хотел, чтобы это случилось.

А иначе не могло и быть! Пока они препирались, калитка действительно распахнулась, и на улице появилась Неда, а за ней, по-утиному переваливаясь, выплыла и Ганя; эта, сама собой, успела уснуть. Стоит приткнуть голову к подушке — и спит.

— Тьфу, черт задери! — Генка со злостью хлопнул себя ладонями по бокам. — Ты все-таки, Бес, выболтал им, да?

— Нет. Но будет честно, Ген, если они пойдут с нами.

— Да плевал я на твою честность знаешь откуда? Ишь честняга какой выискался!

Однако изменить Генка ничего не мог, ему оставалось лишь испепелять приближавшихся пренебрежительным взглядом.

А Сережка всматривался в бегущую Неду и вспоминал ее слова. «Как унижительно врать! — как-то сказала ему Неда. — Я понимаю, врать на допросах, под пытками, чтобы обмануть врагов, спасти друзей. А врать друзьям? Нет, убей меня, не понимаю!»

Сейчас, впрочем, Неда, не стала никого ни в чем упрекать. Запыхавшись, подбежала и спросила миролюбиво:

— Вы к Николаю Аристидичу? Мы так и поняли... Самое удобное время... Пошли, Ганя. Да не спи на ходу, пожалуйста!

Шли. Генка сопел и демонстративно плевался, насвистывал блатную песенку, подхваченную в дни бездомных скитаний. Он успел шепнуть Сережке: «О провале в беседке молчи!» И Се-

режка, шагавший с опущенной головой, кивнул. Неда больше не заговаривала с ним, шла позади и тащила за руку полусонную Хохлатку.

Так они брели из улицы в улицу по полуденному городу, пока вдаль не показалась высокая и круглая кирпичная башня, оплетенная доверху виноградными лозами и хмелем. Башню пристроили к жилому дому по капризу сумасбродного одесского купчика, увлекшегося на старости лет тайнами неба и мечтавшего открыть новую звезду: благодарное человечество должно было бы назвать ее его именем.

Когда ребята посетили Нашего Грека впервые, его поднебесная обитель поразила и пленила их. В тот вечер в ней бушевало пламя закатного солнца, врывавшееся в западное окно, будто за Карантином и Ланжероном пылал охвативший половину города пожар. И все в круглом, набитом книгами и диковинными вещами жилище Грека было необычно. Бросался в глаза старинный небесный глобус, утыканный по голубой сфере крошечными серебряными звездами, любительский телескоп у распахнутой балконной двери. На книжных шкафах белели гипсовые копии Лаокоона, Венеры Милосской, Моисея. На коричневой шторе северного окна желтел квадрат листовой латуни, неведомо куда плыл на нем вычеканенный неизвестным мастером средневековый корабль с геральдическими крестами на пузатых от ветра парусах...

— Ну, хватит дуться! — строго сказала Неда, когда подошли к башне. — Неужели и к Николаю Аристидичу явемся надутые? Лучше тогда не ходить!

Мальчишки не ответили, а Ганя покорно согласилась:

— О, так!

Взбираться на «верхотуру» приходилось по винтовой лестнице внутри башни, на каждом из пяти этажей — крошечная площадка и дверь. Внизу, в полуподвале, ютилась керосиновая лавчонка; на всех этажах удушливо пахло керосином, и лишь на самом верху, у Кристодуло, запах исчезал: дверь на балкон всегда открыта и в обители Николая Аристидича пахнет морем и солнцем.

Наш Грек ждал гостей: дверь распахнулась прежде, чем успели постучать, наверное, увидел с балкона.

— А, явились? — Николай Аристидич, в полосатой старенькой пижаме и домашних шлепанцах, размахивал инкрустированной перламутром дымящейся трубкой. — Ну, проходите, малышня, проходите!

За балконной дверью необъятно светилося море. Клокотал на электрической плитке серебряный кофейник, на тахте валялась пачка журналов и газет. А в потертом, лоснящемся от старости глубоком кресле у стола спал котенок с забинтованными лапами.

Девочки с порога бросились к отбитому вчера у Жорки четвероногому трофею:

— Ну, как ты? Как, кис-кис? Как лапки?

— А он не Кис-кис, дорогие! — с самодовольной усмешкой возразил Наш Грек, звеня у стенного шкафчика посудой. — Он — Пирей! И рад доложить вам, девочки, что самый знаменитый кошачий Айболит Одессы обнадежил нас: до свадьбы заживет. И прыгать будем, и мышей ловить будем не хуже других! Верно, Пирейка?

— Какое странное имя! — разочарованно протянула Неда, поглаживая котенка. — Никогда не встречала кошек с таким именем.

— О, это лишь напоминание о Греции, где взял начало мой род! — охотно пояснил Николай Аристидич. — Пирей — город, где обитали мои предки.

О прошлом учителя ребята кое-что знали. Одесские старожилы-греки рассказывали, что отец Кристодуло, поэт и вольнодумец, в молодости боролся против засилия англичан в Греции, но после разгрома Акарнанийского восстания вынужден был бежать, долго скитался по Турции и Персии и наконец осел в России. В Одессе, чтобы существовать, открыл крохотную кофейню «Акарнания», женился на коренной одесситке и вскоре умер от старых ран, оставив на руках жены маленького Николааса...

Были ли правдивы эти слухи, ребята, конечно, не знали, но жизнь учителя в их представлении окутывалась романтической дымкой, поэтому-то их так и влекло к нему. А он привязывался к сменяющимся поколениям детдомовцев всем сердцем, так привязываются к детям старики, обреченные судьбой на одиночество. К своим питомцам из Дома Надежды он относился с неумело скрываемой нежностью, хотя двойку не выучившему урок ставил бестрепетной рукой.

Пока Неда и Ганя помогали хозяйну у стола, Сережка и Генка вышли на балкон.

Немое, придавленное штилем море безжизненно простиралось до горизонта, лишь на внешнем рейде, за волноломом, декоративно четко вырезался сизый силуэт крейсера «Червонная

Украина» да, чуть слышно урча, бежал-поспешал к гавани рыбачий сейнерок. Торжественной свечой белело на оконечности Воронцовского мола здание маяка, слепое и мертвое, пока не зажглись огни...

— Ну что делать? — шепотом спросил Генка, когда ему надоело молчание Сережки; тот хмуро смотрел в сизую, как бы растопленную зноем даль.

— Давай не будем говорить о провале. — Сережка пожал плечом, не отводя от моря глаз. — Просто наведем старика на прошлое Георгосов. Он же любит копаться в старине. Может, что и выяснится...

Да, Николай Аристидич любил старину, любил историю. Когда позволяло время, часами колесил с ребятами по городу, Одессу знал, как свою ладонь. «Вот, смотрите, здесь сидел Стрельников, когда Николай Жевлаков крался воп оттуда, от ресторана месье Желони с револьвером в кармане. Какой Стрельников, малышня? Да тот царский прокуроришка, по чьему приказу во время казней революционеров во дворе Одесской тюрьмы гармонисты из уголовников играли «Камаринского» и «Барыню». Не слышали? Ну как же? А вот тюремный замок, где Жевлакова и Халтурина вешали...»

В прошлом году, как-то в воскресенье, он возил своих питомцев на остров Березань, где стоял у смертного столба лейтенант Шмидт, водил на бывший военный плац, где казнили «южных бунтарей» — Чубарова, Лизогуба, Давыденко, показывал, где убили Жанну Лябурб. «Запомните, здесь, у стены, лежало истерзанное тело Жанны!»

Рассказывал со всякими смешными подробностями и о том, как хозяйничали в Одессе бежавшие от Великой французской революции и любовно обласканные Екатериной Второй, напуганные призраком гильотины сановные графы и герцоги, знаменитый дюк Ришелье, Анри Ланжерон и прочие «великие деятели», не знавшие ни одного слова по-русски!.. «Э, что ни говорите, малышня, а права народная русская мудрость: «Ворон ворону глаз не выклюет!» — посмеивался в седую бороду Наш Грек. А ребята, переглядываясь, думали: насколько же беднее и безрадостнее была бы для них солнечная Одесса, если бы не обитал в ней этот добрый и веселый старик!

Пока пили кофе, Николай Аристидич бегло просматривал «Правду»: почту принесли перед самым приходом ребят и он не успел посмотреть газеты. Что-то взволновало старого учите-

ля; гневно, неразборчиво ворча, он впился глазами в газетный лист, лицо перекосилось и побледнело.

— Они вторглись в Грецию! — воскликнул он наконец, задыхаясь и отшвыривая газету. — Салоники! Афины! Пирей! О боже мой, что творится!

— Кто — они, Николай Аристидич? — переспросила Неда.

— Кто! Фашисты! Гитлеровцы!

Николай Аристидич вскочил из-за стола, принялся шагать по комнате, останавливаясь у висевшей на стене карты Европы, ребята никогда не видели его таким взволнованным.

— Ах, если бы скинуть лет двадцать! — с тоской воскликнул он, прижимая пальцы к вискам, словно стараясь унять боль. — Ах, если бы молодость!

— И что бы вы сделали тогда, Николай Аристидич? — осторожно полюбопытствовал Сережка.

Кристодуло недоуменно вскинул голову.

— И это спрашиваешь ты, Сергей? Спрашиваешь — что? Да я бы полетел, поехал, пешком пошел в Грецию! Пополз бы! На карачках пополз! Лишь бы очутиться там, лишь бы сражаться с коричневым проклятьем! Безумный маньяк на глазах у всего мира подминает под себя половину Европы, глотает кусок за куском! — Николай Аристидич, словно под ударами кнута, бегал по комнате. — Неужели ты, Сергей, думаешь, что ваш Грек может оставаться безучастным к судьбе страны, колыбели его предков?

Смущенный горячностью учителя, Сережка не ответил.

— А если бы не колыбель предков? — негромко спросила Неда, нянчившая на коленях колченогого котенка.

Удивленный новым вопросом, Николай Аристидич посмотрел на Неду долгим и внимательным взглядом. И резко помахал над головой трубкой, рассыпая огненные искры.

— Да, ты права, девочка! — согласился он со странной радостью. — Дело вовсе не в том, чья там родина! Нет! Сражался же Байрон за свободу чужой ему Греции. Сражались в Испании интернациональные бригады! Да-да, ты права, тысячу раз права, не в предках дело!

Когда Николай Аристидич немного успокоился, все вместе постояли у географической карты, всматриваясь в изрезанные, изгрызенные морем и временем очертания материков, в голубые пространства океанов.

Мальчишки, будущие мореходы, конечно, и любили и отлично знали географию: какие же иначе моряки! А Николай Ари-

стидич, оседлав любимого конька, углублялся все дальше в великолепное прошлое Греции и Рима, Месопотамии и Карфагена, Египта и фараонов.

— И почему вы, Николай Аристидич, учите нас физике, а не географии и истории? — сердито перебил Генка. — У вас про страны во как здорово получается!

— А! Сам не знаю! — отозвался Кристодуло. — Проклятая инерция. Одна из самых отвратительных в мире сил.

Потом снова пили кофе, и тут-то мальчишкам и удалось навести разговор на прошлое семьи миллионеров, на жизнь, которая некогда текла в стенах великолепного особняка: ведь Николай Аристидич бывал у Георгосов, даже будто бы дружил с их семьей.

— Да, да, — задумчиво кивал он, потуже набивая кепстеном трубку. — Одно время дружил с Виталием. Учились вместе в Новороссийском университете. Правда, недолго — вскоре он уехал в Париж, в Сорбонну. А я не мог в Париж, малышня: ваш Грек был беден, как церковная крыса...

Постепенно увлекшись, покусывая мундштук трубки, Кристодуло рассказывал, мальчишки слушали, не пропуская ни слова. Неда, занятая котенком, слушала вполуха, а Ганя сладко посапывала, откинув на спинку кресла черноволосую голову; полуоткрытые губы что-то шептали во сне.

...Да, когда-то в особняке Георгосов сотнями голосов шумела праздничная, веселая, ничем не омрачаемая жизнь. В двух светлых залах по вечерам не смолкала музыка, плясали и пели цыгане, веселились томные красавицы, сверкая драгоценностями, — иные колые и серьги стоили целые состояния! — звенело серебро генеральских шпор. А в пахнувшей жасмином тени парка, над левитановским омутом пруда расцветали крутые радуги фейерверков. И белые мраморные богини, обреченные тосковать здесь по своей Греции, безмолвно следили за пролетавшей мимо них жизнью...

— Да, жили Георгосы роскошно, с блеском, на широченную ногу, — щурясь, всматриваясь в минувшее, рассказывал окутанный табачным дымом грек. — Но нет такой брони, малышня, которая защищала бы даже миллионеров от всех бед. Настигла она и Георгосов: меньшая их девочка погибла от скоротечной чахотки. Умерла в Ницце, на вечнозеленом Лигурийском взморье... — Он задумался, лицо стало сумрачным. Вздохнул. — Увы, малышня, вашему Греку, видно, не суждено увидеть те берега... Да, о чем я?

— О беседке в парке, — подсказал Сережка.

— Ага! Так вот, когда девочка, несмотря на усилия знаменитейших врачей, умерла, мать сошла с ума и не давала девочку похоронить. И тогда старый Георгос отыскал в Риме балльзамировщиков, заплатил бешеные деньги, и они сделали свое привычное дело. Тело на яхте Георгосов тайком перевезли в Одессу... Почему тайком? Да потому, что если бы князья церкви узнали о непогребенной покойнице, они потребовали бы предать тело земле. О, они были могущественны, самозванные ставленники бога! Помните, как в течение тридцати лет не давали похоронить Никколо Паганини? По утверждению папской курии, великий музыкант был еретиком...

Попыхивая трубкой и поглядывая в балконную дверь на ослепительно сиявшее море, Николай Аристидич рассказал, что на островке, в глубине парка Георгосов, в самой глухой его части, построили беседку-мавзолей, куда и поставили гроб со стеклянной крышкой. Остров соединили с домом Георгосов подземным ходом, по нему сумасшедшая мать ходила в мавзолей...

— Значит, подземный ход? — Голос Генки прозвенел так напряженно, что и Николай Аристидич и Неда оглянулись на него.

Но Сережка постарался отвлечь их внимание от выкрика Генки.

— Ну, а потом, потом? — заторопил он, теребя учителя за рукав.

— А что потом? Мать вскоре умерла, она совсем перестала есть. На гроб девочки напаяли глухую крышку, оба гроба отвезли на Греческое кладбище, я был на похоронах. А парк заперли, до самой революции вход туда был строжайше запрещен. Вот и все. Но почему это вас волнует? А?

— Да нет... мы ничего... — забормотал Сережка, чувствуя, как под пристальным взглядом Неды наливаются жаром щеки. — Просто мы видели беседку на острове... издали... И нам показалось, она какая-то необычная, не как другие... А что же с Георгосами дальше?

Кристодуло рассказал о революции в Одессе, о гражданской войне, о своей ссоре с Виталием Георгосом, офицером врагелевской армии, о бегстве из Одессы белогвардейцев и богатей.

— Паника царила невообразимая, — говорил Наш Грек. — Они обезумели от страха: Красная Армия приближалась. Каждый пароход, каждое парусное суденышко, уходившее за границу, брали на abordаж, срывались, падали в воду, тонули.

— А вы, Николай Аристидич?.. Вам не хотелось бежать? — вполголоса спросила Неда.

— Мне?! — поразился и обиделся Наш Грек. — От кого мне бежать, девочка? От революции? Это Николасу Кристодуло, чей отец жертвовал жизнью за свободу Греции? Николасу Кристодуло, который сам три года сидел в царской тюрьме? Ах, как ты смешна, девочка!

— Нет, нет, я понимаю, — смущенно оправдывалась Неда, с изумлением глядя на учителя. — А вы... вы разве сидели в тюрьме, Николай Аристидич?

— Да, да! Но о тюрьме в другой раз! Сегодня у меня нет желания ковырять старые болячки!

Ганя по-прежнему безмятежно спала, а мальчишки и Неда во все глаза смотрели на Кристодуло. Значит, они не все знают о своем учителе? Значит, он, как и другие герои-революционеры, боролся против царизма и, может быть, сражался на баррикадах?

Скатывалось за Ланжерон солнце, похожее на старинный медный щит, туман над далью моря делался плотнее, гуще; близился вечер. Пора было собираться домой. Ребята растормошили Ганю, попрощались, ушли, взволнованные тем, что узнали от учителя.

А старый грек, дымя трубкой, до глубокой ночи ходил по своей верхотуре и вспоминал, вспоминал прошлое. Вспоминал старшего Георгоса — Константина, непреклонного, чернобородого старца с испитым иконописным лицом, его сына и дочь. Последнее поколение Георгосов, запомнившееся Одессе, в дни разгрома Врангеля бежало на яхте «Медея» в Константинополь, а оттуда на океанском судне в обетованную землю Америки.

Вместе со всеми Георгосами отбыл на запад и единственный наследник иконоликого старца, сердцеед, кутила и картежник, некоронованный король одесской «золотой молодежи» — Виталий. В годы гражданской войны Виталий Георгос подвизался в белой армии в штабе Деникина, потом в контрразведке генерала Шиллинга, одного из самых жестоких сподвижников «Черного барона». При отступлении белых к границам Румынии у Овидиополя, в ночном бою с частями Котовского, Виталий получил сквозное пулевое ранение в грудь, его привезли в Одессу полуживого.

Полный решимости сражаться с красными до победы или до смерти, он рвался вдогонку за обреченной белой армией, но загноившаяся рана и домашний уют оказались сильнее

монархических устремлений. Он остался. Вот тогда-то, в конце гражданской, Кристодуло и видел Виталия Георгоса последний раз.

Старый грек отчетливо помнит вьюжный, пропзительный февраль, прожигающий до костей ветер с моря, неотвратимо катящийся на город пушечный гул и слова, коими Виталий убеждал Николая Кристодуло бежать на благословенный Запад. Где-то недалеко, у кромки ненадежного февральского льда, ждала последних беглецов белонаруспая «Медея».

«Нет, не поеду! — твердо ответил Кристодуло на горячечный призыв Виталия. — Мне бежать не от кого».

«Ну и дьявол с тобой! — зло бросил бывшему другу отставной контрразведчик, морщась от боли, с трудом застегивая шинель. — Но помни, Николас, мы вернемся! Вернемся со щитом! Мы, белая армия России, не запятнанная напрасно пролитой кровью! И я еще увижу, как ты ползаешь на коленях, вымаливая прощение и жизнь!.. А сейчас убирайся, ренегат, к своему красному быдлу!»

«Не запятнанная! Напрасно пролитой!» Кристодуло вспоминал рассказы о ревкомовцах и комбедовцах, распятых белыми на дверях ревкомов, сожженных заживо, о колодцах, набитых трупами. Но спорить, доказывать Виталию что-нибудь было бесполезно! Так они тогда и расстались.

Бои на западе от Одессы продолжались еще дней десять, а когда 14-я армия вышла у Рыбницы к Днестру, одесский ревком отдал брошенный Георгосами особняк под детский дом...

5. В ЗАБРОШЕННОМ ПАРКЕ

Южнее Дома раскинулся большой, глухой, тенистый парк. Столетние платаны и акации, смыкаясь кронами, образовали зеленые тоннели; в зарослях шиповника и сирени угадывались аллеи и тропинки, по которым давно никто не ходил. В траве белели поверженные временем и людьми изваяния древнегреческих богов и богинь.

Впервые Рыжие пробрались в парк в прошлом году. Они, конечно, были не первыми детдомовцами, проникшими сюда, — в каждом поколении воспитанников находились романтически настроенные души, готовые предать и футбол и волейбол за соблазнительную возможность почувствовать себя муже-

ственными робинзонами, первопроходцами, полазить по дремучим и таинственным «джунглям».

Воскресный день выдался тогда ясный, напоенный солнцем и светом. В парке суматошно горланили птицы, хмельно пахло свежей росной травой, шум города сюда почти не достигал.

Они пробирались по парку, дотошно вглядываясь в следы прошлого, вспоминая рассказы старожилов о гражданской войне. Тогда, по слухам, в парке попеременно скрывались то красные, то белые, могли и до сих пор сохраниться какие-то свидетельства тех лет. Да и обломки «великой империи» Георгосов: полуразрушенные беседки и павильоны, сгнившие остовы лодок у пристани на берегу пруда, опрокинутые в заросли чертополоха статуи — все представляло для рыжих исследователей безусловный интерес.

У дальней, южной стены парка мальчишки обнаружили глубокую выемку бывшего пруда с крошечным не то островом, не то полуостровом на середине. Пруд давно высох, дно заросло сорняками, над их буйными зелеными зарослями вздымались к небу молодые, по сравнению со всем парком, деревья. На острове желтели обвитые хмелем и виноградом покосившиеся колонны, краснела черепица прогнувшейся, готовой обрушиться крыши.

Почти скрытые разросшейся травой гранитные ступени полого вели вверх, к распахнутой двери, она едва держалась на ржавых петлях.

Мальчишки долго стояли на пороге. Массивная, похожая на надгробье мраморная плита лежала посреди беседки, пол под ее тяжестью заметно просел; они еще не знали тогда, что на этой плите когда-то стоял гроб.

Сине, красно и зелено играли стекла окон, еще не раздавленные перекошенными рамами. Синим, красным и зеленым пламенем вспыхивали на полу осколки.

— Как в музее, — задумчиво сказал Генка. — Чего же они делали здесь, на камне?

Сережка не ответил, загипнотизированный тишиной, шорохами давних шагов, которые чудились ему, голосами, некогда звучавшими здесь...

Это произошло в прошлом году, в конце лета. А нынешней весной, когда Рыжие снова потихоньку пробрались в парк, в беседке их ждало неожиданное открытие. В углу зияла дыра провала, мраморная плита соскользнула туда, обрушилась вниз, под землю. Как раз накануне над Одессой пронесся шумный,

веселый ливень с громами и молниями, затопивший улицы мутными, шальными потоками. На крутых склонах кое-где размыло мостовые, посдирало с тротуаров куски обветшавшего асфальта.

Пострадала от ливня и беседка. Больше прогнулась крыша, черепицы вот-вот обрушатся на голову. Обнажилась и местами обвалилась бутовая кладка фундамента, с десятков каменных плит пола исчезло в провале. Мальчишки еще не знали о существовании подземного хода, решили, что подмытая вчерашним ливнем беседка провалилась в древнюю каменоломню...

Сережка подобрал с пола горсть стекляшек.

— Слушай, Ген!

Осколок за осколком исчезал в темной яме провала, толкий звон затихал в глухой, черной глубине. Издали провал казался глубоким, но подойти к краю и заглянуть Рыжие не решились, можно было, по выражению Генки, «запросто загреметь вниз».

Сидели на порожке и вспоминали рассказы Кристодуло о том, что под Одессой, с ее более чем полумиллионным населением, на десятки и сотни километров тянутся заброшенные каменоломни. Еще в давние-давние времена, почти два тысячелетия назад, на этом клочке Черноморского побережья возник греческий рыбачий поселок Ордассов, веселый и нищий, потом, в века ханского владычества, появилось нечто турецкое или татарское: Качибей, Хаджибей, Ени-Дунья — жалкая, примитивная и все-таки грозная крепость. Ни лесов, ни другого материала для строительства вблизи не было, и зодчие многих поколений Одессы вгрызались в землю, при свете факелов выпиливали из желтоватого пористого пласта нужные куски ракушечника и веревками выволакивали на поверхность, туда, где воздвигали убогие свои жилища...

Но после рассказа Нашего Грека о давней трагедии Георгов мальчишки решили, что плита, на которой стоял гроб, провалилась не в древнюю каменоломню, а в подземный ход, соединявший беседку-мавзолей с домом.

— Ну, если ты, Бес, теперь проболтаешься Недке, я тебе враг на всю жизнь! — пригрозил Генка дома, когда они с Сережкой остались одни.

— Да ладно! — отмахнулся Сережка. Его и самого вовсе не соблазняло посвящать кого бы то ни было в их открытие: тайна, обладателями которой они случайно стали, обогащала, приподнимала над повседневностью.

На следующий день, вернувшись из школы, они решили



продолжить свои изыскания. Для спуска в провал понадобилась веревка, выклянчили у Голубушкина; по их уверениям, она потребовалась для сооружения качелей малышам.

Бережливый завхоз поворчал, повздыхал, но отказать не смог: Рыжих он по-своему любил, мальчишки напоминали ему погибших сыновей.

В бывшем каретнике, превращенном в склад всевозможной рухляди, в огромном ларе, скрытом от любопытных глаз скелетом старинного фэтона, Добрыня отыскал круг нетолстого просмоленного каната.

— Сгодится?

— Вполне, дядя Захар.

— Должно, моряцкого происхождения вервь, по хозяевам. Аль, может, для рыбацкой нужды сготовлена, — заметил Добрыня, с сожалением ощупывая веревку. — Н-да! Осенью, однако, ребята, как качели сымете, вы ее возвратите! Старинной выделки вещь...

— Обязательно, дядя Захар!

Со множеством предосторожностей, боясь попасться кому-нибудь на глаза, Рыжие в дальнем конце сада перебрались через ограду парка и минут десять продирались сквозь заросли к беседке. Здесь, отдышавшись, закрепили конец каната за одну из колонн, привязали к другому концу увесистый камень и столкнули в провал. Камень глухо стучался о стены провала, пока наконец не лег неподвижно.

— Метров пять-шесть, — прикинул Генка.

— Пожалуй, да.

Метнули жребий, кому опускаться первым, вышло Сережке. Сунув за пояс топорик, «одолженный» накануне в столярной мастерской Добрыни, Сережка пощелкал электрическим фонариком — все будто в порядке.

— Ну, двигай! — напутствовал Генка с завистью: ему, само собой, хотелось спуститься первым.

Перехватывая узлы, навязанные на веревке, — без узлов невозможно было бы выкарабкаться из ямы, — Сережка подвигался к краю провала. Точно ощеренные зубья, торчали из земли опоковые булыжники разорванного фундамента. В лицо пахло сыростью. «Как из могилы», — подумал Сережка, боясь признаться себе, что немножко трусит. Крайние к провалу каменные плиты пола вздрагивали и шатались при каждом движении.

На краю провала Сережка чуть задержался, свесив ноги, ощупывая узлы. Ощущение такое, будто собрался прыгать в

прикрытую тонким льдом воду. Но праздновать труса под завидущим и подталкивающим взглядом Генки не следовало, и, переведя дыхание, Сережка скользнул вниз.

И сразу сырая душная полутьма плотно обняла его. Посмотрел вверх: в светлом кругу, перечеркнутом поперек провала доской, темнел силуэт Генкиной головы, окруженной нимбом рыжих, просвеченных солнцем волос.

— Давай, давай! — покрикивал Генка.

И вот нога коснулась земли. Сережка встал, земля под ним рыхло поползла в стороны и вниз. Вытащил из кармана фонарик, включил.

Неяркий, размытый круг света выхватил из темноты неровные стены провала, выпирающие из них бурые глыбы. Под ногами желто-коричневые комки суглинка, опоковые камни; они образовали конус, на вершине которого и стоял Сережка.

Справа, внизу, фонарь высветил черное отверстие — не засыпанную обвалом верхнюю часть штрека. По желтоватому рыхлому пласту ракушечника змеились трещины, угадывались потеки ржавой воды. Многие десятилетия, а может, и века дождевая и талая вода точила камень, норовя прорваться вглубь.

Веревка, за которую Сережка держался, дергалась — спускался Генка. Тяжело отдуваясь, он встал рядом.

— А на ход и непохоже, — сказал он, приглядевшись.

— Да, непохоже...

Голоса звучали глухо, придавленно, словно мальчишки разговаривали под тяжелым, плотным одеялом.

Расширив отверстие внизу, спустились по откосу обвала в подземный штрек. Он оказался неожиданно просторным — метра два в ширину, а до потолка, до кровли выработки, не достать рукой.

В подземной тьме фонарик светил достаточно ярко: отчетливо выступали стены выработки, хранившие следы ударов кирки или лома. Каменная крошка ракушечника сухо хрустела под ногами.

Мальчишки останавливались через каждые два-три шага, оглядывались; на месте лаза, где они проникли в каменоломню, серела бессильная, едва различимая, тающая полоска света.

То справа, то слева свет фонаря выхватывал из черноты мрачные боковые ответвления, тупиковые пустоты, образованные выемкой камня. Черными бездонными зеркалами блестели под ногами лужи.

Шагавший впереди Сережка до боли в глазах всматривался в подземные лабиринты. Да, многое, наверно, видели эти стены. Здесь могли работать греки и римляне, татары и турки, русские и болгары, вольные и подневольные — надсмотрщики, пленные, рабы. Возможно, многие и погибали здесь, в крошечной тьме, не видя солнечного света, и их кости сгнивали в заброшенных тупиках.

Откуда они появлялись здесь? Высаживались в ближней Испакской гавани с греческих и римских кораблей? Приплыли на неопрятных турецких фелюгах под грязными рваными парусами? Приходили из восточных половецких степей? Кто знает, кто может ответить?

Однако отходить далеко от лаза они не решились — не трудно и заблудиться. Да и времени, вероятно, прошло немало.

— Спустимся в воскресенье с утра, — почему-то шепотом предложил Генка.

— Ага... — так же шепотом согласился Сережка.

Двинулись назад, к едва различимому пятнышку света, но теперь тщательно обследовали отходившие от штрека тупиковые выработки. И в одном из тупиков неожиданно обнаружили еще один провал, на этот раз в потолке штрека, в кровле. Там зияла черная дыра, а внизу, под ней, холмом грудилась обвалившаяся земля, перемешанная с осколками красного кирпича и метлахской облицовочной плитки.

— Свети туда! — приказал Генка, хотя и без его приказа Сережка старательно обводил кружком фонарного света груды земли, загромождавшие тупик; что-то белело среди комков грунта и обломков кирпича, то ли тряпки, то ли клочки бумаги.

Почти не дыша, Рыжие подобрались к нагромождению земли и камней, и оба подумали, что на сей раз, кажется, и в самом деле наткнулись на подземный коридор. Видно, он проходил над старой выработкой, пересекая ее чуть выше, и время, с помощью грунтовых вод, провалило оставшийся над штреком слой ракушечника. Кирпичи и облицовочные плитки подтверждали догадку: ими, вероятно, был вымощен подземный ход.

— Вот он! — Генка тыкал пальцем вверх, в черную дыру провала, и глаза у него светились торжеством.

Да, сомнений не оставалось. Однако выбраться из штольни в проходивший над ней подземный коридор без лестницы было попросту невозможно.

На обвалившихся горах земли Рыжие подобрали с десятков

полусгнивших, пожелтевших бумажек и вернулись к провалу, где спустились под землю. Вздвигаться по веревке оказалось невероятно трудно: ободранные ладони горели, ноги, не находя надежной опоры, срывались с узлов.

А в павильоне, залитом солнечным светом, оставалось удивительно спокойно. Нежными хрусталиками поблескивали в косых лучах солнца глазастые стрекозы, мирно гудели золотые пчелы.

— Смотри-ка, Бес! До чего же здесь, на воле, здорово! — рассмеялся Генка.

Не ответив, Сережка уселся на пороге беседки и старательно разгладил на коленке полунстлевшие бумажки. Одни, на плотной, провощенной бумаге, оказались какими-то казенными служебными посланиями: отчетливо проступал в левом верхнем углу орластый штамп.

«Милостивый государь!» — значилось на листке, сохранившемся лучше других, но дальше были различимы лишь отдельные слова, не объединенные смыслом: «каботажные», «оценочный сбор», «Бессарабско-Таврический банк», «джут и кора пробковая», «арбитражная комиссия». Уловить связь между словами было невозможно. Другие подобранные под землей клочки оказались обрывками старой полусгнившей газеты, в нее, вероятно, и были завернуты бумаги деловой переписки.

— Придется снова идти за помощью к нашему мудрому Греку, — вздохнул Сережка и заторопился: вспомнил, что пора бежать к музыкальной школе встречать Неда. — И давайте, сэр, все-таки прикроем чем-нибудь сей драгоценный люк. А?

— Обязательно.

Натаскали сухого валежника, ветвей, охапки травы и заваляли, прикрыли провал, отвязали и спрятали веревку.

— Но это, считаю, только начало, Бес! — торжественно провозгласил Генка.

— Несомненно, сэр! Мы стоим на пороге великих открытий! — согласился Сережка.

6. НЕДА И СЕРЕЖКА

Раньше, когда Неда только поступила в «музыкальную вечерку» и ходила одна, к ней то и дело привязывались хулиганы из компании Жорки, дразнили, отнимали и рвали ноты. Неред-

ко Неда прибегала домой в слезах, хотя была девчонкой неробкого десятка и при случае и сама могла дать сдачи.

С этого года Сережка стал по вечерам встречать Неду, и ему от Жоркиной шайки не раз как следует попадало. Но он не жаловался, даже Генке ничего не говорил. И по другим улицам и переулкам не ходил, не пытался избежать стычек. «Им только покажи, что дрейфишь, с подметками сожрут!» — объяснял он Неде свое упрямство.

В этот вечер, выбравшись из парка, он не забежал домой, не вымыл после лазанья по подземелью рук — боялся опоздать.

Музыкальная вечерняя школа помещалась в старинном двухэтажном доме, украшенном лепными купидонами. Улица тихая, зеленая, вдоль тротуаров — вековые платаны. Поджидая Неду, Сережка привалился плечом к дереву, ковырял ногтем тоненькие пластинки коры на толстом стволе: «А поди-ка, старина, холодно тебе зимой?»

Едва слышно доносилась из школы музыка. Сережка стоял за деревом, бездумно наблюдая, как бегут-торопятся, подгоняемые своими заботами, люди. Запахло бензином — прошел шофер в синем комбинезоне, на плече мальчуган лет трех. И его, Сережку, когда-то так же, придерживая за ноги рукой, носил на плече отец. Отца Сережка помнил неясно, облик потускнел, расплылся, крепче всего держался в памяти запах рук и усов — пахло мокрой веревкой, рыбой и табаком. От всех рыбаков пахнет так.

Музыка в школе стихла, в окне мелькнуло худенькое лицо Неды, через минуту в просвете калитки появилась знакомая тоненькая фигурка. Прижав локтем нотную папку, поправила волосы, украдкой огляделась. Она знала, где ждет Сережка, но хотела убедиться, что «музыканты» разбежались и никто не увидит ее с провожатым.

Легко помахивая папкой, перебежала улицу.

— Привет!

— Привет!

Посмотрела вопросительно и внимательно, карие глаза потеплели.

— У тебя, кажется, новости?

— С чего взяла? — смутился Сережка. — Никаких.

Он попытался иронически усмехнуться. Но Неда сказала с грустной убежденностью:

— Ну и врешь. А врать не умеешь. Ишь, даже уши покраснели!

— Да правда же: Ничего особенного!

— А не особенное что?

Теперь смотрела с требовательным ожиданием.

— Да брось ты меня допрашивать! — вспыхнул Сережка, подпрыгивая, чтобы сломать каштановую ветку. — Привязалась, как... — Не договорив, поперхнулся, будто подавился одним из Генкиных словечек.

— Спасибо! — Неда поклонилась с надменной вежливостью и пошла вперед. — А я-то думала, ты и правда друг...

Она шагала впереди, обиженная; тугая коса с теплыми, золотящимися колечками прыгала по спине в такт шагам.

— Ну, Неда! — окликнул Сережка.

— Что — Неда? — Она шла не оборачиваясь. — Скоро тринадцать лет Неда!

Так дошли до площади. Внизу, в порту, описывали бесконечные зигзаги мачты судов, пыхали в небо копотью пароходные трубы.

Сережка догнал Неду, взял за руку, потянул к лестнице.

— Посидим.

— Зачем? — с неостывшей обидой и вызовом спросила она. — Если ты... вообще... Зачем ходишь встречать? Если не доверяешь, какая может быть дружба?

— Я расскажу.

— Расскажешь? — Голос зазвучал мягче, ей тоже не хотелось ссориться.

Спустились на марш Потемкинской лестницы, присели на бетонный парапет. Вниз и вверх шли люди, мелькали темные фуражки курсантов, матросские робы, золотились шевроны нашивок.

Штилевое море раскинулось широко и недвижно, только черный траулер на выходе с рейда гнал к пирсам некрутую волну.

— Ну, рассказывай!

— Не сейчас, Неда. — Сережка виновато потупился. — Не мой секрет, пойми, пожалуйста! В другой раз когда-нибудь...

— В другой? Когда-нибудь?

Вскочила, подхватила положенную на парапет папку и побежала по площади. Но, услышав догоняющие шаги, остановилась.

— Не ходи за мной! И встречать к «вечерке» не являйся! Презираю врунов! Ты... ты... — не договорив, с силой отшвырнула косу назад, на спину.

И как Сережка ни старался сдержаться, не вышло, не получилось. Вычурно поклонился, широко повел правой рукой:

— Семь футов под килем, сеньорита!

И, еще не договорив, пожалел: таким обиженным, таким несчастным стало худенькое лицо Неды. Но она не заплакала. Только вскинула голову и, резко повернувшись, пошла, почти побежала дальше; теплые колечки на концах кос заметались по спине.

— Не-е-да-а!

Не остановилась, не оглянулась.

Жоркиной банды на Пушкинской не оказалось, и Сережка облегченно вздохнул.

А в Доме ожидало чрезвычайное происшествие. У ворот поблескивала черным лаком новенькая «эмка», детдомовцы толпились у ворот, во дворе, возле флигеля.

И как только Неда вышла из-за угла, навстречу ей бросились и Ганя, и Катя Веточкина, и Фатима Доурбекова, и другие девчонки. И хотя Сережка не слышал ни одного слова, он понял: стряслось что-то необычайное и касается оно Неды. Девочки шумной толпой окружили ее, мешая друг другу, проталкивались в калитку, и уже оттуда, из калитки, Неда оглянулась на Сережку встревоженным и спрашивающим взглядом.

Заставляя себя не торопиться, дошел до ворот, где никого не осталось, постоял около «эмки». Пожилой шофер, лениво покуривавший в машине, внимательно поглядывал из-под седеющих лохматых бровей. Но лицо доброе, приветливое.

— Вы кого привезли? — спросил Сережка как можно спокойнее, с деланным интересом всматриваясь в якоря на воротах, отражавшиеся в черном лаке машины.

— Майора Ворожцова. Анатолия Степановича. А что?

— Ничего. Просто так. — Каштановой веткой, которую Сережка до сих пор, оказывается, нес в руке, он принялся смахивать с кузова машины пыль. — А зачем?

Докурив, шофер старательно погасил папиросу о крыло, прищурился и снайперски метнул окурок в урну у ворот. И удовлетворенно улыбнулся.

— В десятку, в яблочко! — И лишь тогда ответил: — Девочку приехали детдомовскую в дочки брать. Своя у майора померла в прошлом году, а повой будто бы не предвидится... А тут сиротка майорова сослуживца мается, сиротствует...

Так вот оно что! За ней, за Недой приехали!

Быстро, не пытаясь скрыть охватившего его волнения, про-

шел во двор. Да, почти все собрались возле флигеля, под окнами Надежды Васильевны. Здесь и самые «старшаки»: Алеша Лупан и Толик Дружнов, Нурислям Магомедов и Вася Голубев. И уж конечно, девчонки, эти терлись возле самых окон, заглядывали. И — редчайший случай — со спортивной площадки не доносилось ни воплей, ни гиканья, ни ударов мяча. Все будто замерло...

Сережка отыскал глазами Генку, тот стоял возле группы самых старших ребят, рядом с вожатым Валерием.

Подошел, прислушался, да, говорили о Неде, о том, что ее сегодня увезут.

Через плечи ребят Валерий увидел Сережку, помапил к себе: он-то знал, что Бес и Неда давно дружат.

— Слышал? Майор Ворожцов забирает. В дочки. Вместе с ее отцом на Дальнем Востоке служили...

Валерий улыбался, а у Сережки на сердце скребли кошки. Неужели Неда согласится и уедет, променяет их Дом на чужое, пусть даже уютное и богатое жилье? Неожиданное по силе горькое чувство охватило Сережку, и он впервые за эти годы с неприязнью посмотрел на Валерия. Как странно: ведь сам вырос в Доме, провел в его стенах около десяти лет, стал взрослым, неужели не понимает? Неужели может оправдать Неда, если она согласится уехать?

Генка что-то говорил про Ворожцова, но Сережка не слушал, ноги будто сами собой несли к одному из окон, за которым раздавались голоса: глуховатый мужской басок, ровный и спокойный голос Надежды Васильевны и о чем-то просящий голос другой женщины.

В квартире Надежды Васильевны горел свет, за легкими марлевыми занавесками двигались человеческие тени.

Привстав, Сережка заглянул между краем занавески и подоконником. Увидел красное, дубленое ветром лицо майора, оно показалось Сережке совсем немужественным, каким-то растерянным, выражение его не вязалось с ладной, подтянутой фигурой, с четкой военной выправкой.

— Пусть Неда решает сама, — сказал за окном голос Надежды Васильевны, и хотя голос звучал, как всегда, ровно, Сережка услышал в нем и напряжение, и беспокойство.

И что-то странное произошло с Сережкой, неожиданное для него самого. Не дождавшись ответа Неды и словно боясь услышать самый ее голос, он сорвался с места и, ни на кого не глядя, быстро пошел прочь, пересек спортплощадку и сел в тени

кустов жасмина, где несколько дней назад она плакала, вспоминая отца. Сердце у него колотилось больно и сильно, и дышать стало тяжело, будто вынырнул на поверхность после долгого пребывания под водой... «Ну и пусть уезжает, пусть!» — повторял он, и в ушах звучал услышанный минуту назад писклявый девчачий голосок: «А что? Недке там хорошо будет. Они, наверно, богатые. У майора машина!»

И вспомнилось Сережке, как после того недавнего разговора с Недой о гибели ее отца они вместе с ней пошли к Надежде Васильевне и та достала из сейфа орден Боевого Красного Знамени и фотографии Нединого отца. Там были сняты и похороны, и военная фуражка на крышке гроба, и залп из винтовок. Стояли у могилы сурово-печальные бойцы и командиры, а среди них и майор Ворожцов; там он много моложе и красивее, чем сейчас.

И жены пограничников, и Недина мама, Ида Юльевна, и венки, и задравшая морду собачонка: убитый политрук подобрал ее с переломанной ногой и вылечил, выходил. «Жулика все в роте любили, — говорила сквозь слезы Неда, — и он над могилой был и днем и ночью и никак не хотел уходить оттуда, и нам потом написали — он умер».

Сережка не помнил, сколько просидел под кустами жасмина, скрытый надвигающимся вечером, быстро густеющей тенью. Он не слышал шума отъезжавшей автомашины, не слышал, как окликал его Генка. Он боялся пошевелиться, боялся выйти, боялся узнать, что Неда уехала, что ее в Доме нет.

Очнулся лишь тогда, когда кто-то невидимый в темноте сел на другом конце скамьи. Было неприятно, что его нашли здесь, застали в минуту слабости.

— Ты, Ген? — спросил недовольно, почти зло.

Через долгую-долгую секунду:

— Нет, не Генка...

И долго сидели молча, Сережка старался сладить с охватившим его волнением, чувствовал, что готов заплакать. А справившись, неслышно проглотив застрявший в горле комок, спросил по-прежнему сердито:

— Не уехала?

— Да, не уехала.

И опять молчали...

А потом Неда рассказывала:

— Я как подумала, что больше не увижу ни тетю Надю, ни наших девочек и мальчишек, ни тебя, даже Генку не увижу,

мне стало так страшно, будто нужно вот сейчас умереть. И я обиделась на тетю Надю, потому что решать самой было очень трудно... Вера Николаевна, жена дяди Толи, плакала и называла меня Галочкой, будто я уже не Неда, а ее мертвая Галя... Нет, Галя была хорошая, мы с ней в садике дружили, ты не думай про нее плохо. Но мне и то еще обидно... Ведь Рогнедой называл меня папа, и ему, наверно, не понравилось бы, если я вдруг ни с того ни с сего стала бы Галей? Ведь да? И я сказала Вере Николаевне и дяде Толе, что никуда из Дома не поеду, пусть не обижаются. И Вера Николаевна громко заплакала, а у тети Нади лицо сделалось светлое-светлое, словно на праздник... А ты рад, что не уехала?

— А ты не знаешь? — вопросом ответил Сережка.

Но «распускать сопли» ему не хотелось. Выручил Боцман, неслышно появившийся из темноты, — пес подошел, потыкался холодным носом в колени Неды, в Сережкины. И Сережка с радостью вцепился пальцами в клочкастый загривок.

— Ага! Явился, волчий хвост? Явился?

На крыльце Дома призывно затрубил горн.

7. И — МАРТИНЕС

С наступлением каникул у Рыжих появилось больше времени для их изысканий, тем более что переезд в летние лагеря откладывался из-за ремонтных недоделок; мальчишки благоговели нерасторопных плотников и маляров: пусть копаются возможно дольше!

Но в ближайший свободный день спуститься в подземелье не удалось: задержала встреча с детьми испанских коммунистов. «Сегодня, ребята, не расходитесь, — предупредила Надежда Васильевна. — Сегодня — испанцы!»

Она давно хлопотала о такой встрече, не раз пыталась договориться с инструктором гороно Данилой Митрофановичем Дикунем, но он возражал, считая «це дило» не особенно нужным. «До чего упрямый!» — сетовала про себя Надежда Васильевна после каждого разговора с Дикунем, но без его разрешения пригласить испанцев к себе в Дом не решалась.

— Ну почему, Данило Митрофанович? — с трудом сдерживая раздражение, горячилась она при последнем посещении гороно. — Почему? Объясните мне по-человечески!

— Почекай. Почекай трошки, Надия Васильевна! — Как всегда в пылу спора, Дикун переходил на родную мову. — Хиба ж хлопчики твои, Надия, небогато лиха бачили, чи шо? — Он щурился с лукавой и, как казалось Надежде Васильевне, деланной заботливостью; румяные щеки напрягались, топорща аккуратно подстриженные бурые усы. — Ну, почнут испанци размовлять, как их батькив лютой смертю сукины фашисты заказнили, а твои почнут своих родных поминать, який с того прок? Тільки болячки на сердце бередыть.

— Данило Митрофанович! Ребята хотят знать, что такое фашизм! Они газеты читают, радио слушают. Они спрашивают: а на нас Гитлер не нападет?

Дикун протестующе вскинул руки ладонями вперед, на влажном от испарины лбу собрались добрые толстые складки.

— Без паники, Васильевна! Не зродився ще той Гитлер, або хто, щоб на нашу могутну державу кинувся. То ты и должна своим хлопцам занушать. Уразумила? И вообще, Надия, богато с твоим Домом мороки, аж мозги пухнут! То школу музычну тобі подавай, то еще шо, то зараз испаньцив!

— Партия поручила нам сирот, Данило Митрофанович, и мы отвечаем перед ней за то, кем они вырастут. Вы же дальновидный руководитель, Данило Митрофанович...

Даже на такую заведомо неуклюжую лесть пришлось отважиться Надежде Васильевне. И это сработало. С силой потирая ладонью шоколадную от загара, до блеска выбритую голову, Дикун махнул рукой:

— А-а! Сто собак на мою шею! Зови соби испаньцив! — На секунду задумался, и пронзительно-синие глаза посмотрели устало и грустно. — Есть тамочки у них, Надия, така гарна дивчина — Арасель. Своими глазами всю фашистску ризню бачила. Она вам расповидае, чого фашисты в Мадриде робылы. Вик бы твоим хлопцам того не чути!

Принимать испанцев решили в саду. Фруктовые деревья отцвели, но листва зеленела совсем свежо, в тени дышалось легко. Ребята посыпали дорожки чистым песком и мелкой розовой ракушкой, перенесли из Дома скамейки и стулья, нацепили на ветки гирлянды цветных флажков. Изобретательный Вася Голубев смастерил из картона большущий транспарант и принялся выводить на нем: «Но пасарап!» Но старший вожатый Валерий недовольно покачал кудлатой головой: «Отставить, Вася! Прошли!» И после недолгих раздумий художники Дома начертали на транспаранте простое «Добро пожаловать!».

Окончились хлопоты, все готово.

Надежда Васильевна присела на скамеечку в тени старого вяза, прислушалась к смеху и выкрикам, долетавшим с волейбольной площадки, там разыгрывалась очередная баталня, кипели страсти. В азартном гомоне прорывались отдельные голоса, тупые удары мяча, ликующие вопли. Ближе, где возились малыши, белела халатом Дина — помощница по педагогической работе, молоденькая, круглолицая, с пухлыми негритянскими губами. Из зеленой аквариумной глубины на слепящий солнечный свет, провожаемые детским визгом, летали взад и вперед качели.

Пришел завхоз Голубушкин, посидел рядом, с ласковой и тихой печалью наблюдая за детьми. Когда Надежда Васильевна спросила: «Есть дело, Степаныч?» — он, словно просыпаясь, провел ладонью по лицу, пощупал свою былинную бороду.

— Да вот, хозяйка, неприятное скажу. Стал примечать, чего у нас давно не случалось. — Озабоченно поскреб в затылке, задумчиво посмотрел по сторонам. — Ворпшка у нас будто завелся!

— Не может быть!

— А вот и может! Я уж и так и эдак прикидываю: на кого думать? Новеньких нету, а на старых — на кого?

— А что пропало, Захар Степанович? — Надежда Васильевна смотрела с возрастающей тревогой.

— Да по мелочи пока, — развел руками Голубушкин. — Из мастерских топоришко увели, новый почти что. Две лопаты из инструментального ларя сгнули. Из мастерской — доски, гвозди. Цинковых белил банку на неделе почал, сунулся, а ее и следу нет... Конечно, мелочи, но ведь в старину говорили: не рубль — пятачок губит... На курево сжели, аль на другое озорство берут. За топорик, пожалуй, на Привозе и трешку кинут. Неужто, думается, Генка руку припечатал? Курит, стервец! А ведь обещал: непременно брошу...

Ответить Надежде Васильевне помешала автомобильная сирена, у ворот Дома остановился сине-белый автобус. Через двор вперегонки помчались старшие детдомовцы встречать гостей. И, коротко кивнув Голубушкину: «Потом договорим», Надежда Васильевна тоже заторопилась навстречу.

Испанские ребята, лет от десяти до шестнадцати, черноволосые, подтянутые, в красных остроугольных пилотках — их так и звали «испанками», — выпрыгивали из автобуса. Помогая маленьким, у подпожки суетилась худенькая девушка с коп-



ной блестящих смоляных волос, с оливковыми глазами, в гимнастерке, перетянутой по тонкой талии широким черным ремнем.

— Вы Арасель? Здравствуй-те! — Надежда Васильевна договаривалась о встрече по телефону и не знала Арасель в лицо. — Спасибо, что приехали.

— За что спасибо? Мы рады!

Сережка присматривался к испанским мальчишкам. С первого взгляда его внимание привлек серьезный и, пожалуй, даже угрюмый паренек, года на два постарше самого Сережки. В тонком, горбоносом лице было что-то особенное, недетская суровость, что ли. Войдя во двор, он остановился и, повернувшись спиной к дому, задумчиво всматривался сквозь решетки забора в мачты и трубы кораблей за каменным ущельем спуска.

Сережка встал рядом. Может, у испанского паренька отец тоже был рыбаком? Или моряком? Ведь в Испании много портовых городов:

Барселона, Картахена, Малага, Кадикс.

Он протянул руку.

— Меня зовут Сергей.

— Я — Мартинес.

Рука у Мартинеса была сухая, горячая и сильная.

Подошел Генка. Мартинес пожал руку и ему.

Постояли, глядя на полоску моря между домами, на видимый поверх крыш пустынный горизонт. Легкая белесая дымка паутивилась над ним.

— Ты давно из Испании? — спросил Генка.

— Три года. Почти.

— Отец моряк?

Мартинес отрицательно повел темноволосой головой. Худое лицо стало строже.

— Он работал в... как сказать... под землей.

— В шахте?

— Да. А потом командир Народного фронта. Его убили.

— В бою? — оживился Генка.

— Нет, — не сразу ответил Мартинес. — В тюрьме! Когда пришли фашисты и борьба невозможная, много наших, наверно половина миллиона, ушли во Францию. Слышали, Пиренеи горы?

— Конечно!

— Вот. Они шли за Пиренеи. Но во Франции их заперли в лагерь. Много там умерло. А отца и других, кто коммунисты, привезли назад, отдали Франко. В тюрьме били. Палками и цепями. И отец умер.

В спальнях, в рабочих комнатах, в мастерских, в детдомовском музее, во всех уголках сада небольшими группками бродили хозяева Дома и испанские ребята. За полчаса успели передружиться, разговаривали так, словно были давно знакомы: детдомовцы вообще сходятся легко.

Надежда Васильевна увела Арасель с солнцепека в тень, на скамеечку под старым вязом.

— Уже друзья, — показала на ребят глазами. — Что значит одинаковая судьба.

— Да. Одно горе. Одни радости...

Из спортзала и мастерских Рыжие провели Мартинеса в исторический музей. Здесь детдомовцы собирали материалы о восстании «Потемкина», о лейтенанте Шмидте, Жанне Лябурб и ее соратниках. С выцветших фотографий смотрели вожаки «южных бунтарей» — Лизогуб, Чубаров, Давыденко.

Рассказы о девятьсот пятом годе и о гражданской войне Мартинес слушал молча, губы сжимались все жестче.

— И у нас так, — глухо сказал он, когда вышли из музея. — Сколько льется кровь рабочих людей! Знаете, какие хорошие мои братья — Лопес, Антонио, Гонсало! Их убили. Гонсало весили за ноги на столб. — Мартинес скрипнул зубами и пробормотал что-то по-испански.

— Что? — переспросил Сережка.

Мартинес нахмурился, около рта прорезались морщины.

— Это не переводить. Я ругался. — Он остановился, посмотрел на Сережку и Генку темными обжигающими глазами. — Я расту немного и еду в Испанию. Я буду сражаться с Франко! Я мщу за Гонсало, за Лопес, за Антонио. Только не надо сказать Арасель.

Набегавшись по Дому, ребята собрались в саду, возле Арасели и Надежды Васильевны, расселись на чем пришлось, многие прямо на траве.

— А теперь, ребята, — Надежда Васильевна похлопала в ладоши, призывая к тишине, — я попросила Арасель рассказать об испанской республике, обо всем, что им пришлось пережить.

Облизнув запекшиеся губы, Арасель быстрыми движениями поправила копну черных, отливающих синевой волос.

— Мы жили в Карабанчель, — очень тихо сказала она и посмотрела куда-то поверх детских голов. — Отец — машинист на трамвай. Он коммунист, и у нас приходили его товарищи. Приходил и Хосе Днас, главный в нашей партии. Они ели косидо, мама варила. Косидо? Это... вода и пемного горох. Пили вино. И вот они сделали, что у нас нет короля, республика. Раньше у крестьян совсем нет земли, вся помещикам. Монахам. Республика взяла земли и отдала крестьянам. Помещики и фашисты очень сердились: не надо республик, надо Франко!

Арасель рассказывала о боях в Мадриде, о баррикадах, о том, как франкистская «хунта национальной обороны» захватила власть, расправлялась с республиканцами. Трибуналы судили по четыреста — пятьсот человек в день и почти всех приговаривали к смерти. Десять тысяч человек, схваченных в самом начале мятежа, казнили без суда. В тюрьмы превратили монастыри и арены открытых цирков, где раньше проводились корриды...

— И вы это видели, товарищ Арасель? — со страхом спросила Неда, когда Арасель замолчала. — И остались живая?

— Да, девочка, видела. — Арасель скользнула взглядом по напряженным лицам детей. — Видела. И осталась живая... Когда приехали на танках немецкие и итальянские фашио, мой отец и другие коммунисты ушли в горы. А их родных в городе посажали в тюрьму. Нас с мамой и Мари загнали на большое поле для быков, как у вас называется — стадион, и держали там. Не давали есть и пить. Мари маленькая и слабая, она умерла. Это мне сестра. Она лежала мертвая, и на нее садились такие большие мухи. И я и мама гоняли мухи, но их много. Мама плакала, чтобы Мари похоронить, но фашио смеялись и стреляли... Ночью они с факелы ходили из дома в дом и убивали всех, кто за республику. А живых, кто остался, гнали по улице штыками и кинжалами. И цепями. Загнали в пустые дома, а в окна бросали гранаты. И лили бензин. Люди горели живые и кричали так страшно, что больно сердце! А потом, кто

стонал, убивали пожарами. И вешали на дерево и на балконе головой вниз... Так нам рассказали потом...

Слушая, Надежда Васильевна наблюдала за потрясенными лицами ребят и оправдывала себя: нет, не зря ты, Надежда, воевала с Даниилом Митрофановичем, нужно, чтобы ребята знали о фашизме правду. Нужно! Пусть и пугающую, и страшную, но правду!

Перед отъездом гостей дети выстроились во дворе на торжественную линейку, пели «Интернационал» и «Марсельезу». Стоя рядом с Мартинесом, Сережка подумал: вот кому можно откровенно рассказать об их тайне, о подземном ходе. Этот не проболтается! И, кроме того, троим под землей будет не так страшно. Только вот как Генка?

К удивлению Сережки, Генка согласился сразу, без возражений: Мартинес и ему пришелся по сердцу. Да и присутствие третьего мальчишки в их компании, по тайным расчетам Генки, наверняка помогло бы избавиться от пазойливых, надоевших девочек.

8. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Боясь привлечь внимание прочих «туземцев» Дома к своим вылазкам в парк, Сережка и Генка проникали туда не со двора, а из глухого переулочка, где вдоль тротуаров высились вековые акации, с их ветвей было легко перебраться на высокую парковую ограду.

Вскоре после встречи с испанцами Рыжие прокрались в беседку рано утром, когда Дом еще спал. Побросали в провал взятые тайком у Голубушкина доски и инструменты, снова заваляли лаз сучьями и вернулись во двор.

Сидели, грелись на добром утреннем солнышке, ждали: вот-вот горн заиграет побудку. И Боцман сидел рядом, тихоенько поскуливая, преданно виляя хвостом.

Добрыня, встававший в Доме раньше всех, уже возился в каретнике, гремел какими-то железками. Обычно по утрам, как только распахивались двери бывшего каретника, мальчишки напрашивались в помощники к завхозу; в его складе хранилось множество интереснейших вещей, давно никому не пужных, вроде гусарского кивера или портновского дамского манекена.

Но сегодня мальчишки не очень-то спешили попасться на

глаза Добрыне: руки перемазаны украденными у него белилами. Чтобы не запутаться в каменных лабиринтах, пришлось намалевать на стенах подземелья стрелы и иные знаки.

Солнце поднималось над крышами, Дом оживал: полусонные голоса, топот ног, лица, неразличимо мелькавшие в окнах спален.

А вон и Голубушкин-Добрыня! Выставив из ворот каретника бороду, подозрительно оглядел Рыжих и, не торопясь, направился к ним.

— Не иначе, учуял, черт бородатый! — бормотнул Генка, натужно улыбаясь и стараясь вытереть о собачью шерсть следы краски.

Деревянно шурша брезентовым фартуком, завхоз подошел, уселся рядом с Генкой, потолкал Боцмана поском сапога.

— Живешь, волчий хвост? — И повернулся к Генке: — Покурить не найдется, хлопцы?

Генкина рука угодливо метнулась к карману, но замерла на полпути.

— Так вы же трубку курите, дядя Захар!

— Это да. А сейчас папироской захотелось побаловаться, что-то от трубки в голове шум... Ты так и не бросаешь, Рыжий?

— Что вы, дядя Захар! Меня с табаку всего наизнапку — никакого терпежу нет! Да и вредно же, дядя Захар! Все врачи в один голос. И вожатый грозит из самбистов выгнать. Я и вам советую бросить, дядя Захар. И легкие попортите, и бороду спалить можно. А борода-то у вас вон какая... вроде как у Добрыни — жалко же!

Голубушкин с любопытством наблюдал за руками Генки, теревшими шерсть на зашивке Боцмана.

— Цинковые, что ли, белила? — спросил наконец. — Или, может, свинцовые?

— Свинцовые, свинцовые! Во Дворце цинперов рамы подпояляли, облезли за зиму. А шабашники знаете, дядя Захар, какую сумму дерут? У!..

— Шабашник, оно известно, зверь! Шкурник! — готовно согласился Голубушкин и, вставая, вдруг яростно помотал заскорузлым пальцем перед носом Генки: — Ну, гляди, Рыжий, попадешься ты мне — пощады не жди! Не погляжу ни на Васильевну, ни на всяких Дикунов гороновских. Спущу штаны и выпорю — неделю стоя жрать будешь!

— Да что вы, дядя Захар? Да разве я... да ни в жизнь!

Глаза Генки горели таким пскренным негодованием, что завхоз заколебался.

— Ну и поколение растет! — сокрушался он, возвращаясь к каретнику. Но в воротах, обуреваемый сомнениями, остановился и, обернувшись, погрозил кулаком: — У, артисты рыжие!

После завтрака, подкараулив Надежду Васильевну возле изолятора, Сережка и Генка отпросились на весь день к испанцам. «Обещали навестить Мартинеса», — сказал Сережка.

— Вероятно, следовало бы поехать всем Домом? — Надежда Васильевна задумалась, но тут же согласилась: — А, одному другому не помешает! Поезжайте. Привет Арасели!

На восемнадцатом трамвае поехали к Фонтанам, но по дороге задержало случайное обстоятельство: у ворот кинофабрики шумела пестрая, разношерстная толпа. Сережка вспомнил:

— Так мы же с вами, сэр, читали о наборе статистов для съемок «Трагического рейса»? Оно и есть!

У проходной «фабрики снов» восседал вооруженный допотопной берданкой краснощекий страж с усами Тараса Бульбы. Величественно взирал он со своего служебного трона на людскую мелкоту, жаждавшую приобщиться к тайнам киноискусства и заодно подзаработать на массовках в порту.

И кого только тут не было! И седые старцы в допотопных капотье, и горбоносые надменные матроны-гречанки, и «старые морские волки» в выдавших лучшие времена матросках и тельняшках. Кокетничали и подмазывали губки официантки и продавщицы, мечтающие «положиться на глаз» режиссеру, вытащить счастливый билет.

В беспокойно шумящей толпе разговоры вертелись вокруг предстоящих съемок: Арбузная гавань, бегство из Одессы в двадцатом году буржуев и белого офицера, штурм беглецами трапов «Орла» и «Византии».

К кинофабрике подкатывали легковые машины, распахивались ворота. В глубине двора, за казенными строениями, вонзались в небо шпили готического замка, краснела подпертая контрфорсами крепостная стена с бойницами, из них смотрели на облака темные дула орудий.

Мальчишки потолкались в охваченной жадным ожиданием толпе час, другой, но в конце концов в истомленных сердцах властно возговорила романтика: вас ждут, друзья, под землей неотложные и важные дела! Посовещались, решили: завтра явиться в Арбузную с утра, к началу съемок, а сейчас к Мартинесу и вместе с ним — к Греку...

Предавшись мечтаниям о будущих открытиях, не заметил, как очутился на месте. Красные крыши просвечивали сквозь листву, из зеленой и тропически душистой глубины сада неслись дикие, режущие ухо звуки: кто-то, видно, учился сигналить на горне.

Сторожка у калитки пустовала, посыпанная песком аллея уходила в глубь сада, желтела между абрикосовыми деревьями.

У первого же домика им повстречалась Арасель — в темных очках и темном фартуке, — неся пачку журналов и газет. Посмотрела, смешно щурясь, узнала Сережку и Генку, улыбнулась:

— А-а-а! Мальчики!

— Рот Фронт, товарищ Арасель! Мы к Мартинесу. Можно?

— Конечно же! — снова улыбнулась Арасель и кивнула в тенистую глубь аллеи. — Они там...

Через пять минут трое друзей сидели на крылечке обвитой глициниями беседки. Яростно палило солнце, на песке четко вырезались черные бархатные тени. Глухо плескалось под обрывом невидимое отсюда море.

Мартинес слушал молча. Но лицо его, поразившее при первом знакомстве Сережку педетской суровостью, выглядело сейчас яснее, мягче.

О своих похождениях в подземелье Рыжие повествовали горячо, волнуясь, словно с ними действительно произошло нечто диковинное. А на самом-то деле и не случилось ничего особенного. Но так велика была вера в ожидающие их открытия, что Рыжие заразили ею и Мартинеса. Арасель и не стала возражать, отпустила до вечера, и вскоре ребята уже взбегали по чугунной лестнице к поднебесному жилью Кристодуло.

К великому их огорчению, Грека дома не оказалось. После оккупации Греции фашистами одиночество стало для него нестерпимо, и он даже днем надолго исчезал из дома. Отправлялся пройтись по Дерibasовской и Примбулю, выпить в погребеке сухого вина, обменяться новостями с седовласыми и лысыми ровесниками, такими же бывшими греками, как сам, погоревать об участи хоть и далекой, но все же родной страны...

Обескураженно потоптавшись у недоступной «верхотуры», мальчишки сочинили полное намеков послание, пообещали Греку посетить его позднее, под вечер. Подобранные в штреке бумажные лоскутки и письма затолкали в облезлый жестяной ящик «Для писем и газет» — пусть старый пораскипет мозгами...

К беседке-мавзолею добрались, когда в Доме звучал гонг на обед. «Вот и добро, — переглянулись, — обед и тихий час, никто не помешает!» А что касается обеда, так обойдутся: отпрашиваясь у Надежды Васильевны, предусмотрительно захватили с кухни батон хлеба и кусок сыра.

Мартинес, новичок, спускался вторым, впереди — Сережка, а Генка страховал, замыкая экспедицию. Но на сей раз Рыжие не испытывали ни малейшего страха — гостеприимные хозяева, щедро показывающие гостю свои владения.

На конусе обвалившейся земли желтели бруски и доски, валялся сверток с гвоздями, пила из мастерской. А ниже, в самом штреке, на глыбе ракушечника красовалась банка с белыми, на выступах и поворотах штрека четко выделялись стрелы указателей и цифры. Нет, Мартинесу приходилось признать, что он имеет дело с опытными первопроходцами, что эту «терра-инкогниту» открыли хотя и не Колумбы и не Васко да Гамы, но все же...

Изготовление лестницы заняло полчаса, после чего нехитрое и неуклюжее сооружение мальчишки поволокли по подземелью. Посвечивая фонариком, Серсжка возглавлял шествие, Генка беспечно и лихо посвистывал, а Мартинес поглядывал кругом широко открытыми глазами.

— Все равно как шахта, — шептал он. Далеким видением вставали перед ним горы Астурии, черные пирамиды терриконов, повизгивающее колесо шахтного подъемника, клеть, падающая во тьму, пахнущую углем и гнилью...

Но вот лестница установлена, верхний конец уперся в рваные края провала. Со всякими предосторожностями — пол подземного хода мог обрушиваться и дальше — вылезли в коридор, облицованный красной метлахской плиткой. Он оказался заполненным грудami кое-как сваленных вещей. Инкрустированная серебром и слоновой костью мебель, бронзовые и мраморные статуи, картины в позолоченных багетовых рамах, вычурные люстры, звенящие хрустальными подвесками, окованные медью сундуки, старинное оружие, тисненые золотом переплеты книг, пачки бумаг...

Перелезая через нагромождения вещей, они медленно продвигались по сумрачному коридору. С темных полотен, небрежно приткнутых к стенам, из-под толстого слоя пыли бесстрастно следили за ними бородатые горбоносые греки — предки знаменитого когда-то рода.

Трое непрошенных пришельцев с удивлением рассматривали

обнаруженные ими обломки давно рухнувшего мира. Наклонялись, копались в связках и ворохах бумаг, разбросанных между мебелью, сундуками и статуями. Да, все хранило следы внезапного и беспорядочного бегства.

Так или примерно так думал Сережка, перебирая пожелтевшие бумажки. Генка довольно посвистывал, стучал кулаком по звенящим рыцарским латам и ухмылялся обычной пахальной улыбочкой.

— Да хватит тебе копаться в бумажном мусоре! — покрякивал он на Сережку. — Пошли дальше!

Подземный ход тянулся метров на триста, но входы в него с обеих сторон оказались замурованы, заделаны перяшливой кирпичной кладкой. Видимо, перед тем как покинуть Одессу, семейство Георгосов, в надежде на скорое возвращение, свалило сюда то из семейных реликвий, что невозможно было увезти. Массовое бегство, конец января или начало февраля 1920 года, так, кажется, рассказывал Наш Грек. Чуть-чуть больше двух десятилетий, а будто бы пролетели века!

Трижды проделали они трудный из-за нагромождения вещей путь от одного конца подземного хода до другого.

Приустав, сели отдохнуть и подзаправиться на окованные сундуки у лаза, из которого торчали концы сколоченной ими лестницы: свежее дерево в царстве мрака и запустения казалось удивительно и радостно живым.

Генка уписывал бутерброд с сыром, Мартинес задумался, вспоминая что-то свое, далекое, а Сережка, с куском хлеба во рту, продолжал копаться в кое-как сваленных связках бумаг, серых и желтых папок, газет, писем... «Да, — думал он, — когда-то эти обрывки составляли часть чьей-то жизни, а теперь они прах и тлен».

Он перелистывал пахнущие плесенью листы старых газет — «Неделя», «Одесские новости», «Правительственный вестник»; непонятные, с ятями и твердыми знаками, письма, закапанные воском страницы Библии с тисненным на кожаном переплете четырехконечным крестом...

— Земля еси и в землю отыдеши! — бормотал он услышанное неведомо когда и вдруг всплывшее в памяти.

Перестав жевать, Генка глянул исподлобья, сердито гмыкнул. Он любил Сережку, но любил по-своему. Не задумываясь, бросился бы за Беса в огонь и в воду, но его злила Сережкина манера разговаривать — книжная, вычурная, далекая от живой жизни. Генка, например, прекрасно помнил соленые словечки,

бывшие в ходу у отца и его моряцких дружков; в злую минуту он сам пускал в оборот эти слова — ими можно было выразить любое, самое сильное и сложное чувство.

А время между тем шло и шло. И когда мальчишки наконец выкарабкались из-под земли, на город уже опускался вечер, красные солнечные стрелы косо пронизывали зеленые кроны. — Вот это да! Как поздно! — присвистнул Генка. — Ну и влетит нам!

Да, опаздывать было неприятно: завтра опять предстоит отпрашиваться, а Надежда Васильевна не любит, когда ее доверием злоупотребляют. Мартинес тоже заторопился: Арасель, конечно, беспокоится.

В подземном ходе Сережка подобрал старомодный кожаный саквояж и, пока блуждали там, набил его старыми бумагами, письмами, какими-то тетрадями. О, как загорятся глаза Нашего Грека при виде полуистлевших сокровищ!

Но тащить домой груды бумаг, затисканных в проплесневевший саквояж, не стоило, и мальчишки спрятали его неподалеку от беседки-мавзолея в чащобе шиповника и терна. Завтра они положат эти манускрипты пред очи Нашего Грека.

Но тут их подкарауливало еще одно открытие. Когда Сережка сгребал прошлогоднюю листву, стараясь получше скрыть свои сокровища, что-то вдруг звякнуло у него под ногой. Ковырнул еще и еще, и опять что-то зазвенело. Присев на корточки, принялся разгребать листья, и в руке у него оказался изъеденный ржавчиной стреляный винтовочный патрон. Вздвигаясь на походе, Сережка пошарил руками: среди побуревших и черных каштановых листьев валялись патроны.

— Смотрите, ребята!

Присев на корточки, они с почтением разглядывали пустые гильзы. Значит, правда! Значит, в годы гражданской здесь скрывались партизаны. Отсюда они наносили белым удары, здесь перевязывали друг другу раны, мечтали о победе, может быть, умирали!

— А что... соберем для музея! — предложил Генка.

Патроны были источены ржавчиной так, что казались сделанными из коричневых кружев и при грубом прикосновении рассыпались в бурю металлическую пыль. Что ж удивительного? Они провалялись под дождем, зноем и снегом не меньше двадцати лет!

9. ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО

Наш Грек встретил мальчишек с обычным радушием.

— О, Испания, Испания! — приветствовал он Мартинеса. — Страна прекрасной Карменситы и рыцаря Печального Образа, Веласкеса и Гойи! Прошу, юный сеньор, прошу!

На круглом столе посреди комнаты были разложены найденные Рыжими обрывки газет и писем. Ребята подошли, Николай Аристидич осторожно взял желтый, в ржавых потеках, с изодранными краями газетный лоскут. Оглядел ребят, словно приглашая в свидетели необычайного события.

— Вот перед нами, — начал он, — газета «Неделя» шестидесятилетней давности. Март 1881 года. Номер печатался через несколько часов после того, как Игнатий Гриневецкий метнул бомбу в царя Александра. Помните? Может, когда верстался этот номер, Гриневецкий был еще жив, а может, его голову уже выставили для опознания в одном из полицейских участков Питера...

Наклонившись над столом, мальчишки рассматривали изжеванный временем газетный лист. Конечно, они знали о пародовольцах, убивших Александра Второго, но знание было отстраненное, холодное, не задевающее ничего в душе. А здесь, казалось, сама газетная бумага пахла порохом и кровью.

— А ну, садитесь, малышня! — распорядился Николай Аристидич. — Сейчас старый грек прочитает вам то, что с помощью лупы можно разобрать на сем лоскуте прошлого. Ну, а потом... потом он попросит своего нового друга рассказать о героической Испании. Если, конечно, Мартинесу не слишком больно.

— Я привык, — без улыбки отозвался Мартинес.

— Садитесь... — Вооружившись старинной, похожей на поварешку лупой, Николай Аристидич цапнул газетными обрывками. — Итак, вот что здесь можно прочесть. Слушайте. «...Проводил его по тротуару к тому месту, где находился уже окруженный толпой... назвался тихвинским мещанином Николаем Ивановичем Рысаковым. Стоявший на тротуаре подпоручик Рудыковский, не узнав сразу его величество, спросил: «Что с государем?» На что государь император, оглянувшись и не доходя шагов десяти до Рысакова, изволил сказать: «Слава Богу, я уцелел». Здесь невозможно разобрать ни слова! Но я скажу вам, малышня, что произошло дальше... Услышав сказанное Александром Вторым, Игнатий Гриневецкий швырнул



между собой и царем вторую бомбу. И убил и «помазанника божия», и себя... Вот так народовольцы казнили очередного императора всея Руси...

Николай Аристидич замолчал, и мальчишки тоже молчали. Из балконной двери плыл размытый, приглушенный шум города, звонки трамваев, сирены пароходов.

— А за что убили? — тихо спросил Мартинес.

— За что? Ты спрашиваешь, за что? А за что ваш народ не павидел королей Филиппов и Альфонсов? А? Может быть, короли Испании любили простой народ?

— Наши короли всегда вместе с фашио!

Николай Аристидич раскурил трубку, снова взял полуистлевшую газету, посмотрел сквозь нее на свет.

— Да, всемогуще его величество время! — вздохнул, поскреб костяным мундштуком трубки в бороде. — Все истинные революционеры, малышня, всегда были до некоторой степени донкихотами, рыцарями, умевшими забывать о себе. Прекрасное вымирающее племя! Вы, молодежь, задумываетесь хоть иногда над тем, что истинные революционеры не добивались ничего для себя лично? Помните, я не раз рассказывал вам о лейтенанте Шмидте, о Жанне Лябурб, о Лизогубе?

— Конечно, помним! — в один голос отозвались Сережка и Генка.

Темные глаза Нашего Грека удовлетворенно блеснули. Во время последней его тирады трубка снова погасла, и он отложил ее. Вытряс из бороды табачные крошки.

— Да, да, малышня! Когда человеком движет бескорыстие, он могуч! Он совершает открытия и чудеса, и потомки не жалеют бронзы и мрамора на памятники ему, называют его именем корабли и лунные кратеры!

Николай Аристидич встал, прошелся по комнате. Сережку задело и обидело замечание о «вымирающем прекрасном племени», и он спросил:

— А вам, Николай Аристидич, убивать приходилось?

Кристодуло, удивленный вопросом, остановился возле стола, принялся набивать трубку.

— Убивать? Кого убивать?

— Ну кого! Людей!

Секунду Николай Аристидич всматривался в Сережку и вдруг расхохотался, громко и чуть принужденно.

— Ах, вот ты о чем! О том, что донкихотам приходится не только сражаться, но и убивать? Не предполагал, никак не

предполагал, что именно так... — Помахал перед собой дымящейся трубкой, сердито сбросил с плеча огненные крошки. — Нет, не приходилось, Сергей! Хотя во времена взбалмошной молодости даже на дуэли дрался. На эскадронах!... Но это — глупости! Бутафория!

Молча прошелся по комнате раз, другой.

— И все же верно, Сергей: донкихоты должны уметь убивать. Кто-то ведь должен уничтожать тиранов! Великий Верхарн ошибался, говоря, что мир состоит из звезд и из людей! А тираны? — Николай Аристидич пытливо вглядывался в мальчишек, словно внезапно обнаружил в них нечто новое для себя, неизвестное прежде. Прощелся, постоял у балконной двери. И оттуда, не поворачиваясь, сказал: — Ах, если бы в свое время нашелся доблестный сумасшедший, который уничтожил бы, скажем, Аттилу и Чингисхана, Батыя и прославленного в веках Буонапарте! Разумеется, на пороге или хотя бы в начале их кровавой деятельности! Насколько мельче были бы моря напрасно пролитой крови! И какую беспредельную благодарность следовало бы воздать нынешнему Дон-Кихоту, если бы он появился и избавил мир от современного Аттилы с его паучьей свастикой! — Спohватившись, обернулся, замахал руками: — Однако сие не для ваших ушей, малышня! Ну-с, а теперь извольте докладывать, что еще обнаружили! Какие открытия?

И тогда Генка, усевшийся ближе всех к двери, поднялся, вразвалочку вышел в крохотную переднюю и через секунду появился на пороге с облезлым, пузатым саквояжем. Сережка с завистью наблюдал за движениями Генки: вчера счастливый жребий нести сокровища вытянул он.

Генка медленно и торжественно прошествовал через комнату, водрузив туго набитый саквояж на стол, перевернул его и вытряхнул содержимое: письма, тетради, записные книжки, календари.

Ошеломленный Грек застыл на месте и растерянно смотрел, как озабоченно и деловито Генка выгружает застрявшее на дне саквояжа.

Николай Аристидич швырнул трубку на тумбочку у тахты и дрожащими руками принялся перебирать полуистлевшие бумаги. Хватал одну, подносил к глазам и, не дочитав, нетерпеливо бросал, брал другую. И лишь минут через десять немного пришел в себя, придвинул к столу кресло, уселся и растроганно рассмеялся, с благодарностью оглядывая ребят.

— И молчали! Целый час молчали! Да вы знаете, что при-
несли? Вы притащили кусок моего давно похороненного про-
шлого! Да, да! Вот смотрите: записные книжки, университет-
ские и военные дневники Виталия Георгоса, его письма отцу.
А вот он сам, смотрите!

На выцветшей фотографии бледным, расплывчатым круж-
ком белело неразличимое лицо под военной фуражкой, на пле-
чах угадывались погоны, на груди аксельбанты.

— Да, смутно, неясно, но, клянусь, — он! Он!

И опять старый грек зарылся в пахнувший сыростью бу-
мажный ворох. Бегло просматривая бумажки и письма, сорти-
ровал их — одни откладывал направо, другие налево, остальные
в центр стола.

Мальчишкам пришлось долго ждать, пока наконец Николай
Аристидич оторвался от захватившего его дела.

— Н-да, — задумчиво подытожил он, откидываясь в крес-
ле. — Вы, малышня, вернули меня на двадцать лет вспять,
назад, в историю! — Опустив голову, оценивающе посмотрел на
лежавшие перед ним стопки бумаг. — Ну, это, — пренебрежи-
тельно отодвинул на край стола правую, — не содержит ничего
интересного. Служебная бюрократическая писанина из архива
Акционерного общества пароходчиков. Чепуха, пыль, мусор —
шут с пей! Это, — он грузно положил руку с трубкой на левую
стопку бумаг, — тоже не особенно занимательно, хотя тут, по-
среди плевел, может быть, найдутся и зернышки... А вот сие, —
он осторожно придвинул к себе стопку бумаг и писем, сложен-
ных в центре стола, — сие поистине любопытно! Это то, что
осталось от Виталия Георгоса. Тут его письма, счета, записные
книжки. Я уже говорил вам: в годы гражданской он служил в
штабе Деникина, потом у врангелевского генерала Шиллинга,
одного из самых ярых врагов революции. Здесь есть письма Ви-
талия оттуда, с фронта... Поучительно, весьма поучительно.

Трое мальчишек плотнее придвинулись к столу, и Кристо-
дуло выбрал из кучи два испятнанных коричневыми потеками
листка.

— Тогда, в феврале двадцатого, мой бывший друг уговари-
вал меня бежать с ним из России. Боже мой, как проклинал он
большевиков, Советскую власть, Красную Армию! Я, конечно,
отказался, и он с пеной у рта кричал: «Мы вернемся! И я уви-
жу, как ты ползаешь на коленях, вымаливая прощенье и
жизнь!» Да, да! Вот так мы с Виталием расстались...

Ребята молчали, глаза сверкали от нетерпения и ожидания.

— Н-да... Ну, для начала я прочитаю вам одно из последних, как мне кажется, писем. Письмо Виталия отцу. Написано с фронта, из-под Овидиополя... Читать?

— Еще бы!

— Ну!

Подперев кулаками голову, попыхивая трубкой, Кристодуло со смешанным чувством тревоги и грусти рассматривал лежавшие перед ним листки. Красные анилиновые чернила размыты, но прочитать можно.

— «Дорогой фатер! Представилась возможность со случайной оказией отправить письмо, что и делаю, так как не знаю, когда суждено увидаться и суждено ли вообще. Мы пока отступаем, красная сволочь Котовский теснит нас на запад, мы уже на правом берегу Буга. И все разваливается кругом, падает дисциплина, многие забывают, что мы — армия спасителей России, Отечества, которое на краю гибели. Кругом пьянство, разврат, будто все походили с ума, будто все потеряно, и каждый думает только о собственной шкуре.

Отвратительно и подло, отец! Офицерская честь, высокие идеалы — все растоптано и опошлено... Вчера застрелился штабс-капитан Подсевалов: пьяный, выстрелил себе в рот. А накануне, плача, признался мне: «Ничего у нас, Виташа, больше не будет: ни семьи, ни дома, ни жен, ни детей». Помню, в штабе Деникина хоть порядок был, дисциплина, вера в правоту нашего святого дела. А теперь? Мне порой кажется, что даже у моего генерала Шиллинга ее не осталось. Но ему нечего терять, он из остзейских немцев, удерет себе за границу, у него имение не то в Латвии, не то в Литве, будет разводить розы или флоксы, любить какую-нибудь пышнотелую Амалию или Эмму и писать мемуары. А я? Я родился в России, она — мое Отечество, я присягал престолу...»

Николай Аристидич читал торопясь, проглатывая окончания слов. Мальчишки, все трое, смущенно переглядывались, пока Сережка не сказал:

— Вы... слишком быстро, Николай Аристидич! Нам непонятно...

Кристодуло с недоумением посмотрел на своих гостей — он совсем позабыл о них!

— Ах, да, простите, — пробормотал, когда до него дошло, о чем речь. — Вам, наверно, действительно многое непонятно. А я... я ведь одно время любил его, Виталия... когда были мальчишками... любил, пока он не стал сукиным сыном...

Кристодуло снова впился глазами в пересеченный перовыми строчками листок и принялся читать дальше:

— «...Жестокость, жестокость и еще тысячу раз жестокость — вот что может спасти нас от поражения. Но даже самая изощренная жестокость не действует на вчерашних рабов, возмнивших, что они могут править Россией. Их ведут на расстрел, закапывают живьем в землю, бросают в огонь, вешают, а они только клянут нас, кричат свое «да здравствует». Даже женщины не боятся, не испытывают страха перед неизбежностью смерти. В Апостоле полковник Газдышев собственноручно расстрелял двух баб за содействия красным, одна плюнула ему в бороду. Он, полковник, ожесточившийся до предела, вызывает во время расстрела оркестр и, как наш знаменитый одесский Стрельников, приказывает играть плясовые. Но я его не осуждаю: с вчерашними рабами, которые подняли подлую руку на семью вепценосца, иначе поступать нельзя. У них нет святого. А теперь вот о чем, отец. Помнишь, мы с тобой два года назад поссорились, ты тогда собирался перевести деньги в швейцарский банк. Я утверждал, что это подлость и предательство. В ответ ты обозвал меня сосунком. Так вот: ты, фатер, был прав. Если не поздно, переводи! И будь готов к тому, что мы временно — ты слышишь: временно! — будем вынуждены отступать еще дальше. Сейчас пробиваемся на соединение с поляками, но удастся ли прорваться — не знаю. Прости, пишу небрежно, наспех. На окраине Ольвиополя, где мы стоим, идет бой с конницей Котовского... Но извини, фатер, торопят. Письмо передаст тебе священник Ольвинопольской церкви, надеется перебраться через линию фронта, в Одессу. Помогни ему бог! А ты, дорогой отец, не теряй времени, вероятно, его осталось у нас не так уж много... Поцелуй за меня тетечку и не давай ей читать письмо. Пусть молится за нашу героическую белую армию, несущую России свободу и законность...»

Отодвинув письмо на середину стола, Николай Аристидич встал и принялся ходить; мальчишки молча наблюдали за ним.

— Послание из прошлого. Из прошлого! — повторял он. — А ведь не исключено, малышня, что такие Виталии сражаются сейчас в рядах новых гуннов! Нет, не исключено! Ведь тогда, и после второго, и после третьего похода Антанты, сотни тысяч бежали на Запад, надеясь найти там спасение от народного гнева. Не все же погибли, не все исчезли. А если живы, то живы и их ненависть! И надежды, стремление мстить!.. Да, да, малышня, мстить!

Воспоминания о прошлом как бы придавили учителя; задумавшись, он перестал обращать внимание на мальчишек, на вопросы отвечал рассеянно и невпопад. И ребята собрались уходить.

— А можно, Николай Аристидич, мы оставим это у вас? — спросил Сережка, показывая глазами на разбросанные по столу бумажки. — У нас тумбочки не запираются. Вдруг кто-нибудь увидит, найдет... — Сережке представилась топенькая фигурка Неды в окне Дома, гневный блеск ее глаз. — Разрешите?

— А? — Кристодуло очнулся от воспоминаний и раздумий. — Да, да, логично! Стало быть, на старости лет я превращаюсь в архивную крысу? Ну что ж! Волоките в берлогу старого грека все, что сочтете пужным. Обязательно! Обязательно приносите все, что найдете. А будь я помоложе, я и сам отправился бы с вами в подземелье Георгосов. Мне же это интереснее, чем вам!

Но мальчишки не успели уйти: внизу, на винтовой чугунной лестнице, слышались шаги, кто-то поспешно поднимался, грохая каблуками. Кристодуло и его гости, стоя на пороге, ждали, с настороженным любопытством поглядывая вниз.

— Это Спираки! Капитан Спираки! Мой друг! — обрадованно вскричал Николай Аристидич, узнавая шаги. — Погодите, малышня, не торопитесь, я познакомлю вас!

Да, к Кристодуло действительно поднимался капитан Спираки, худой, черноусый, загорелый до бронзовой черноты, с яркими, похожими на угольки глазами.

— О, Николо! — закричал он, едва голова его показалась из лестничного люка. — Калимера, Николо, черт бы взял твой пятый этаж!

— Калиспера, Сандро, калиспера! — радостно кричал и Наш Грек. — Куда же ты пропал, капитан?

Накопец Спираки преодолел крутую лестницу и оказался на площадке. Долго и восторженно тряс руки Николаю Аристидичу, потом вопросительно оглядел мальчишек.

— Все пестуешь смену, Николо? — Он засмеялся, молодо сверкнув удивительно белыми зубами. — Своих нет, на чужих упражняешься?

Николай Аристидич поморщился от грубой шутки, но все же подхватил ее:

— А что? Ты на своем мониторе границу стережешь, должен же кто-то заботиться, чтобы росла тебе смена, черт морской!

— Приморский, Николо, увы, приморский! А еще вернее — дунайский! Черт из Дунайской флотилии! Но я к тебе на минутку, друже, машина вниз. Пять минут земляку выделишь?

— Гряди, гряди, дружище! Бутылка вина давно тебя ждет!

Мальчишки попрощались еще раз, спустились с лестницы. Возле башни притулился запыленный, крытый брезентом военный «козлик», в кабине сидел, откинув голову, белобрысый красноармеец с двумя треугольничками в петлицах... Он не слышал, как мальчишки прошли мимо, — спал...

10. ВОЙНА? ВОЙНА!

В половине десятого трое друзей бегом спустились в Арбузную гавань, где гудела толпа, пожалуй, втрое больше и перепеливей вчерашней.

Но день выдался пасмурный, над морем клубились ржаво-серые тучи, сорил омерзительный, выматывающий нервы дождь. Шквальный ветер гнал с моря крутую, выбеленную пенными гребнями волну. Оранжевая вода яростно кидалась на скрипящие от старости остовы древних посудин, арендованных кинофабрикой для съемок «Трагического рейса».

Люди на пирсе прятались от ветра за случайными укрытиями, за штабелями груза. Мокро блестела клеенка плащей, чернели купола зонтов.

Операторы, осветители и актеры скрывались в машинах и в двух зеленых киносъемочных «тонвагенах», оттуда на изнывающую от ожидания толпу низвергались шквалы джазовой музыки. Ясноглазая блондиночка помрежка изредка бегала звонить «самому» и, возвращаясь, просила собравшихся еще «немного подождать», авось погода наладится.

Но погода так и не наладилась, съемки переносили на завтра, на двадцать второе.

Мальчишки без передышки взбежали по двумстам ступенькам Потемкинской лестницы, дошли до кино «Октябрь», где последний день шла картина «Мы из Кронштадта». Денег ни у Сережки, ни у Генки не было, но у Мартинеса набралось мелочи на три билета, и через минуту дружки сидели в синеватой полутьме кинозала. Замирая от ликования и страха, тянулись к экрану, покоренные веселым мужеством погибавших за революцию «братишек».

И домой шли восторженные и задумчивые, потрясенные фильмом. «А как он гитару-то пнул, а?» — восхищался Генка, крутя головой. А Сережка мысленно обращался к Нашему Греку: «Ну, и после сего вы, мудрый эллин, будете утверждать, что донкихоты — вымирающее племя? Вы не знаете, просто они стали другими...»

После кино проводили Мартинеса на восемнадцатый трамвай: он боялся нагоняя от Арасели за долгую отлучку. А сердить вожатую не следовало: завтра снова в Арбузную гавань. Интересно же увидеть, как снимают кино: ведь тому, что происходит на экране — ну вот в «Мы из Крошштадта», — всему веришь, все кажется правдой...

После ужина «постукали» с полчаса в волейбол, спели хором любимую «Орленок, орленок, мой верный товарищ» и разбегались по спальням.

Успнуть в эту ночь Сережка долго не мог — так растревожила, взяла за сердце кинокартина. Мелькали перед глазами лица и кадры, бесновалось и бушевало море.

Проснулся на рассвете; за окнами спальни — плотный, белый туман. Сел на кровати, прислушиваясь: Боцман во дворе захлебывался судорожным лаем.

Сережка посидел, стараясь понять, что разбудило. И не мог. Хотел снова лечь, но во дворе звякнула стеклом оконная рама. Откинул пододеяльник, спрыгнул с кровати, подошел к окну. Во флигеле, в комнатах Надежды Васильевны, горел свет.

— Боцман! — позвала она. — Ты на кого, дурашка?

Лай стих, и в ту же секунду на западе, за Аркадней, зачастили короткие торопливые выстрелы; тогда Сережка не знал, что так бьют зенитки.

Минуты через две-три тишину снова прошили рваные пунктиры зенитных очередей, и сейчас же высоко в небе загудели самолеты. Они шли на восток, и шли, вероятно, на большой высоте, рассмотреть их в утреннем небе было невозможно.

Позевывая, Генка тоже вылез из постели и стоял рядом с Сережкой, пока не затих удаляющийся гул.

Они переглянулись.

— Что же это? — спросил Сережка.

— Маневры! — решительно заявил Генка, поеживаясь от сочащейся в окно утренней прохлады.

— Маневры? — переспросил Сережка и тоже поежился. —

А вдруг не маневры?.. Вдруг...

— А может, снова землетрясение? — подал голос из другого

угла спальни Алеша Лупан.— Вспомните-ка, братва, как два месяца назад ночью все тряслось и громыхало. Тоже, думали, война, а оказалось — земля тряслась. Может, и теперь потрясет-потрясет и перестанет?

Лупану никто не ответил. Сережка стоял молча, глядя во двор. Темный силуэт Надежды Васильевны четко рисовался в светлом квадрате окна. В окнах соседнего здания, за детдомовским садом, вспыхнул свет. Издалека чуть слышно доносились то ли взрывы, то ли грохот орудий, то ли гром приближающейся грозы...

Просыпались другие мальчишки и, поеживаясь, садились на кроватях, слушали далекий гул, рокот высоко пролетающих самолетов. Туман редел, за крышами наливалась светом янтарная полоса зари...

Потом снова тишина, только птицы в саду перекликались: «Ми-ти-тей... ми-ти-тей...»

Сережка лежал, закинув за голову руки, смотрел, как загорается за окном день, и думал о том, что сегодня пойдут на киносьемки, а после обеда спустятся под землю. Но мысли не заглушали возникшей ночью тревоги. «В шесть обязательно послушаю радио», — решил он. Но радиопередачи в шесть утра пачались, как всегда: известия, утренняя гимнастика, воскресный концерт, ни одного тревожного слова.

Успокоенный, Сережка вернулся в спальню, закутался с головой одеялом и уснул. Приснилось, что он в незнакомом пустынном городе, не видно ни людей, ни автомашин, словно жизнь на планете вымерла, кончилась. Все двери закрыты, заперты, и Сережка никуда не может войти, спрятаться, затаиться. Он бежит по улицам, с ужасом оглядываясь, его настигает что-то зловещее, страшное, хотя он и не знает что. Стекла витрин блестят тускло и неподвижно. Но вот и впереди слышится шум, урчание множества машин, и Сережка вжимается, вдавливаясь в каменную пишу стены, стараясь, чтоб его не заметили. Глянцевито поблескивая лаком, словно жуки, выползают из-за угла автомашины с зажженными фарами и неторопливо, будто отыскивая притаившегося Сережку, двигаются вверх. Страх охватывает Сережку: машины пустые, в них нет людей, но они двигаются, двигаются сами собой, словно наделены разумом и волей. И вот передняя, поравнявшись с Сережкой, замедляет ход и поворачивается радиатором к нему. Свет бьет ему в лицо, слепит. А машины, идущие за головной, грудятся железной толпой, наездают одна на другую, сталкиваясь бамперами

и скрежеща. Сотни фар светят Сережке в глаза, не позволяя отвернуться, отвести взгляд. Он ждет две-три нескончаемо длинные, мучительные минуты, и вот, злорадно сверкнув на солнце ветровым стеклом, жадно урча, передняя машина двигается на него...

Закричал и проснулся. Солнце косо било в окна с правой стороны, звенели в саду голоса мититеев. Сережка потер кулаками глаза. Может, и то, что произошло ночью — стрельба и далекие взрывы, — бредовое порождение встревоженного воображения? Вскочив, торопливо натянул рубашку, побежал в зал. В коридоре чуть не налетел на ночную дежурную.

— Куда, Сережа?

Не ответил. Присев у приемника, судорожно крутил рукоятки настройки, прижимался ухом к пластмассовой решетке динамика. И, послушав, облегченно выпрямился: торжественно и плавно текла спокойная музыка. Точно сильная и добрая река, отражающая березовые рощи и безоблачное небо, несущая покой. Значит, то, что разбудило ночью, ничего не изменило в жизни, ничем не грозит...

Выключив радио, нагнулся, застегнул пряжки сандалий и, позевывая, вышел во двор.

Во дворе никого: воскресенье, можно спать на полчаса больше. Из затененных углов и парка тянуло росной свежестью.

Скрипнула и распахнулась калитка, с улицы вернулась Надежда Васильевна. Сережка молча следил за тем, как она озабоченно шла к флигелю. Спросил издали:

— Что, тетя Надя?

Остановилась.

— Никто не знает. Но летали не только наши. Звук другой. — Надежда Васильевна искоса посмотрела на Сережку. — И вы слышали? Ночью...

— Да, самолеты. И стреляли за Лапжероном. И взрывы...

— Да.

Надежда Васильевна прошла во флигель, а Сережка открыл калитку.

Несмотря на раннее утро, у подъезда на той стороне улицы толпились люди, переговариваясь и посматривая в небо. Сережке ни с кем не хотелось говорить, на душе стало смутно, как бывает смутно в природе в ненастный день, на капуне грозы. И все не уходило из памяти давящее ощущение сна.

Надежда Васильевна в столовой показала на минутку, рассеянно поздоровалась со всеми и ушла. Сережка слышал,

как хлопнула во флигеле дверь. Нужно пойти, отпроситься на съемки, но Сережке не хотелось, и, если бы не Генка, он, наверно, никуда бы не пошел. А вернее всего, отправился бы к Нашему Греку: может, тот слушал ночью иностранные передачи. Тогда он должен что-нибудь знать.

— Войдите.

Надежда Васильевна стояла у стола сумрачная и постаревшая.

— Да, можно, — разрешила она, не дослушав. — Только... — и замолчала, посмотрев на Рыжих странным для нее, остановившимся взглядом. — Ну ладно. Идите. — Но когда выходили, спохватилась: — Да! Девочкам тоже хочется посмотреть, как снимают фильмы. Возьмите их.

Генка раздраженно вскинул костлявые плечи, но Сережка поспешно согласился:

— Есть!

А Неда и Ганя ждали у крыльца: одна — смущенная, с виноватыми глазами, а другая — с хитрой и торжествующей улыбкой.

— Не могли сами попросить? — упрекнул Сережка.

— А яка заразныця? — засмеялась Ганя, потряхивая челкой. — Так бы вы и узяли! Вы же зараз таки переляканы, аж трясца з вама, аж со смеху вмереть можно. Бигаєте от дивчинок, як от яких катов!

— Мели-мели, Емеля! — пробурчал Генка.

У Арбузной гавани детдомовцы встретили Мартинеса и вместе прошли на причал, где темнели громадины «Орла» и «Византии». На палубах пароходов было пусто, а на пирсе, у трапа, на чугунном кнехте сидел отставной сивоусый моряк с дубленным морщинистым лицом, отгонял любопытных. Киношники еще не приехали, а день был ясный и солнечный, будто специально для съемок. Ребята сели в сторонке на сложенные у причала, накрытые брезентом мешки.

В толпе статистов мелькали выцветшие чиновничьи мундиры, военные шинели и кителя времен первой мировой войны, женские шляпки с искусственными цветами, вуали, черные бисерные сумочки, мужские котелки и галстуки бабочкой. Нельзя было не удивляться: как это сохранялось столько лет! И все же таилась в воздухе какая-то тревога, рожденная, видимо, событиями прошедшей ночи, — в толпе перешептывались, опасливо поглядывали в небо.

— А знаешь, Ганя, — начала Неда, крутя на пальце копчик

косы, — два года назад в Аркадии снимали «Петра Первого». Мы поехали к морю и видели. Интересно! Я, правда, тогда ничего не понимала.

— И сейчас не больше, — съязвил Генка.

Пересекая железнодорожные пути, на пирс въехал зеленый фургон операторов, за ним легковушки и автобусы с актерами в гриме. Бросался в глаза фигуры военных: генералы и офицеры в золотых и серебряных погонах, с аксельбантами и шашками, особенно выделялся седой генерал, с брезгливым и утомленным лицом, правая рука — на черной перевязи.

Актеры вылезали из автомашин, помогали женщинам, путавшимся в длинных платьях, матросы поднимались бегом по трапу «Византии». Операторы с грохотом катили свои камеры, тянули толстые кабели, точно черные змеи расползались по пирсу.

Группа актеров расположилась неподалеку от детдомовцев, девушка с матовым, тонким личиком раскрыла над головой белый кружевной зонтик и что-то, смеясь, говорила рослому, с пробивающимися усиками гимназисту в распахнутой шинели. Величественный поп с холеной каштановой бородой и серебряным крестом на груди курил папиросу за папиросой, ласково поглядывая то на девушку, то на сизарей, сновавших у него под ногами. Становилось жарко, от мокрого бетона причальной стены поднимался пар.

А порт жил безостановочной жизнью: швартовались к причалам и уходили из гавани корабли, лязгали и скрежетали лебедки, звучали слова команд, звенела, падая в глубину, якорная цепь, били склянки на миноносце у волнолома...

Толпа возле «Византии» и «Орла» глухо гудела. Рыхлая женщина в белом халате и в надвинутом на глаза платке прикатила тележку с мороженым, ее обступили с веселым шумом. Осанистый поп, перемигнувшись с девушкой под зонтиком, пробивался сквозь толпу, гудя направо и налево бархатным басом:

— Служителю господу единого, пастырю вашему, уступите дорогу, православные.

И как ни странно, ему уступали, и он вернулся к девушке под зонтиком, неся полные пригоршни коричневых эскимо...

— Ишь какой хитрющий! — позавидовала Ганя, облизываясь.

В этот момент из черного зева репродуктора неподалеку от входа в пирс донеслось металлическое гроыхание, и, покрывая шум порта, прозвучал дребезжащий от напряжения голос:

«Внимание! Внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза... Выступает...»

На причале стало тихо, словно на нем и не шумела только что огромная толпа.

По радио говорили о нападении на Советский Союз по всей западной границе, говорили, что, благодаря внезапности нападения, врагу удалось в ряде мест прорвать нашу оборону и вторгнуться на советскую территорию, что пограничники и вступившие в соприкосновение с врагом армейские части ведут борьбу за каждый метр советской земли...

Ребята слушали стоя, повернувшись к черному диску репродуктора. И вся толпа слушала, окаменев, только сизари ворковали да стеклянно плескалась у причальной стенки вода.

Стоявший рядом с Сережкой Мартинес, чуть шевеля губами, сказал:

— Над всей Испанией чистое небо...

Сережка и Генка переглянулись: они знали, что именно с этой условной, переданной по мадридскому радио фразы начался в Испании фашистский мятеж.

А бородатый поп, дослушав последние слова, прозвучавшие из репродуктора, и капая на рясу тающим мороженым, повернулся к бледной девушке под кружевным зонтиком.

— Финита ля комедия, Настенька! Музы надевают шинели!

Голос в репродукторе стих, загремела маршевая музыка, а толпа на пирсе все стояла неподвижно, будто ожидая чего-то еще, ошеломленная происшедшим. Но вот женский голос выкрикнул на высокой, захлебывающейся ноте:

— Ба-атюшки! Война!

И сразу все кругом, очнувшись, толкаясь и мешая друг другу, заторопились к выходу из гавани. Напрасно белокурая помрежка что-то кричала, размахивая мегафоном, ее никто не слушал.

— Война! Война! Война! — тысячеголосо звучало над толпой.

Мальчишки поднялись по Потемкинской лестнице, девчонки от них не отставали. У памятника Ришелье Генка рывком повернулся и зло уставился на Неду своими паглыми синеватыми глазами. И рывкнул, словно внезапно получил право приказывать, распоряжаться:

— А ну марш по домам! Мы поедем провожать Мартинеса! Ясно? Ну, брысь немедленно! Кому сказано?

Ганя робко посматривала на Неду: как та решит, так и бу-

дст. А Неда оглядывала распоясавшегося Генку с возмущением и неприязнью, потом перевела просящий взгляд на Сережку: должен же он заступиться! Но Сережка решительно, хотя и мягко, сказал:

— Идите, девочки! У нас есть свои дела.

— Какие дела? — сердито переспросила Неда, но, словно опомнившись, надменно вскинула голову, с силой подхватила под руку Ганю и, круто повернувшись, пошла по площади.

Мальчишки присели на ступеньки у подножия бронзового дюка. Сережка и Генка вопросительно посматривали на Мартинеса. Еще на пирсе, как только Мартинес понял, о чем говорит радио, он весь напрягся, и напряжение так и не отпускало его, губы сжались, пальцы нервно теребили пионерский галстук.

— Я теперь буду прощать с вами, Бес и Ген, — сказал он наконец, словно просыпаясь, и глаза у него странно посветлели. — Я иду воевать с фашио! Я мщу за Гонсало, которого весили на столб, за отца! За Антонио и Лопеса! За других, кого убили фашио!

Мартинес вскочил, Сережка и Генка тоже встали. Неожиданно Генка рассмеялся, и Мартинес спросил с затаенной обидой:

— Я смешно говорил?

— Да нет, Март! Что ты!



Все в порядке! Но прощаться-то зачем, чудак ты эдакий? Ведь и мы с Бесом рванем на фронт. Давно решено. Правда, Бес?

Нет, это была неправда, хотя, конечно, Рыжые не однажды мечтали о подвигах, которые они совершили бы, если бы оказались на войне. Но мечты были вневременные, абстрактные, далекие от сегодняшнего дня. И все-таки Сережка, не моргнув глазом, подтвердил:

— Конечно!

Мартинес несколько секунд смотрел то на Сережку, то на Генку, словно не понимая сказанного ему. Потом схватил их обоих за руки, улыбнулся:

— Значит, вместе? Да?

— А ты думал! — почти списходительно отозвался Генка, засовывая руки поглубже в карманы. — Что мы, хуже тебя, что ли? Рот Фронт, Март! Мы с фашистами, между прочим, и за твою Испанию расквитаемся! Или одной пяди! Но пасаран!

Так трое друзей, не особенно задумываясь, определили свое будущее на ближайшее время. Кончилась полоса мирной и беззаботной жизни, впереди ждали военные дороги, тревоги и испытания...

11. ПРОЩАНИЯ И ВСТРЕЧИ

После ужина Сережка и Генка вышли во двор, сели под старым вязом, у обоих на душе было смятение и тревога. Недалеке, на спортплощадке, о чем-то тайно перешептывались с пионервожатым Валерием старшие воспитанники, оттуда доносились голоса Васи Голубева, Лупана, Толика Дружнова. Тоже, конечно, говорили о войне. Им что, их навсерняка возьмут — всем почти по шестнадцать, а у Валерия даже паспорт. Сережка и Генка попытались подойти, послушать, их просто прогнали:

— А ну, отчаливайте! Нечего вам тут.

И, усевшись на излюбленной скамеечке, оскорбленные Рыжые прислушивались к шуму города, он был непривычным, острожно тревожным. На улицах — вскрики, металлический дребезг проносящихся на большой скорости машин, женский плач.

По территории Дома озабоченно расхаживал Добрыня, помечал что-то в записной книжке. Иногда останавливался, задумывался и, наконец, уселся у каретника. И как всегда, завидев Добрыню, припелся от козуры Боцман.

— Вот, стало быть, и прощай, волчий хвост,— глухо говорил псу Голубушкин.— Поди-ка, и не свидимся больше. И ты старик стал, и я не к теще на блины еду...

Не сговариваясь, мальчишки встали и пошли к каретнику. Добрыня не видел их.

— Ты, ясное дело, пес истинно рабочий, заслуженный. По человечности, тебе давно пора на пенсию. Снять с тебя кандальную сбрую,— железно звякнул ошейник под рукой Добрыни,— и гуляй-празднуй последние деньки...

Генка остановился за углом каретника, а Сережка подошел, присел рядом с Голубушкиным. От завхоза пахло табачным дымом.

— А куда собираетесь, Захар Степанович? — поинтересовался Сережка.

— Как куда? — удивился Добрыня, сдвигая на затылок полувоенную фуражку (такие фуражки почему-то носят завхозы и коменданты). — На войну, куда же еще! Все мужики кругом манатки складывают. Вот зайду к хозяйке, отчет представлю, деньги, которые не потрачены, сдам, ключи. — Голубушкин покосился на освещенные окна Надежды Васильевны и устало поднялся. — Теперь вам не доски да топоры у завхоза воровать, а помогать ей надо, артисты. Она ведь Дому — мать... Пойти, а то убежит куда...

Но Сережка остановил Голубушкина:

— Захар Степанович! А если и мы на фронт?

Добрыня постоял, почесал ключами в затылке.

— Маловаты вы, огольцы, для таких дел. Кровь людскую реками, а то и морями лить станут. Тут и в руках, и в душе жестокая сила должна быть. А вы — курята, вас кто хочет, тот и зарежет...

И, чуть сутулясь, зашагал к флигелю. Хлопнула дверь. Сережка и Генка молча наблюдали за тенью на занавеске окна.

Но вдруг тени исчезли: во всем городе — и на улицах, и в домах, и даже в порту — погас свет. Жестяными голосами загрели репродукторы, установленные днем на перекрестках и площадях:

«Граждане! Граждане! Воздушная тревога! Соблюдайте правила светомаскировки! Возможен налет! Возможен налет! Внимание, граждане!»

В комнате Надежды Васильевны задрожал, закачался светлый лепесток пламени — свеча — и исчез: окно запавесили изнутри.

...В первый понедельник войны детдомовцы провожали Добрыню. Голубушкин растроганно попрощался с ребятами, со взрослыми; Ефимьевна, «слабая на слезу», даже всплакнула: «Природнились мы к тебе, Степапыч».

— Ну, тогда не поминайте лихом! — Посреди двора снял фуражку, поклонился всем. — Извиняй, Васильевна, ежели не так что делал.

Старшие отправились провожать Голубушкина до сборного пункта. Увязались, конечно, и Сережка с Генкой.

Улицы были полны народа. Так же, как Голубушкин, с мешками, рюкзаками и чемоданчиками шагали мужчины, рядом — женщины, девушки, дети. Плакали немногие, большинство верило, что война не протянется долго, вспоминали Хасан, Халхин-Гол, финскую — там победа не заставила себя ждать.

С балкопов и из окон смотрели на уходящих те, кому не пришлось провожать своих, махали косынками и платками, старухи крестили украдкой: «Обереги вас бог!»

У подъезда и во дворе военкомата ожидало множество людей. Женщины и дети сидели в тени, на другой стороне улицы.

Тут старшие детдомовцы наспех попрощались с Добрыней и принялись пробиваться в здание — попасть на прием к самому военкому: только он решал вопрос о добровольцах. А Генка и Сережка, памятуя вчерашнее: «А ну, отчаливайте!» — не решились идти вместе со своими, остались возле Голубушкина. И, топчась вместе с ним в очереди, неожиданно для самих себя признались: да, это они воровали у бывшего завхоза доски, топор, гвозди, краску...

Сначала Добрыня слушал без интереса, старательно следя за очередью, для него заботы Дома уже отодвинулись в прошлое, но когда, задетый его равнодушием, Генка извлек из кармана изъеденный ржавчиной патрон, Голубушкин оживился.

— Ах вы, огольцы, огольцы! — сокрушенно вздохнул. — Пояснили бы путем, глядишь, и я чем ни то помог. Мой батка в гражданскую здесь же погиб, в Одессе...

Очередь подвигалась быстро, впереди стала видна блестящая, запотевшая лысина писаря, оформлявшего документы.

— Следующий!

Подходила очередь Голубушкина. Он подтянулся, застегнул стеклянные пуговицы на воротнике косоворотки.

— Ты вот что, Рыжий! — Он протянул Генке руку. — Давай патрон! Пущай вроде заговора мне будет. Чтобы я, значит, обязательно вернулся, как гитлеров опрокинем!

Помявшись, Генка положил патрон на широченную ладонь Добрыни.

— Следующий!

Через десять минут Голубушкин вскарабкался вместе с другими в кузов грузовика, помахал фуражкой, и машина скрылась за угловым домом.

Когда Рыжые выбрались из толпы у военкомата, Сережка заметил у ворот Неду и Гаю. Он и чувствовал и знал, что Неда продолжает сердиться, вот и сейчас хмуро смотрит в сторону.

— Та мы теж прибигли проводить дядька Захара, але припоздалы трошки? — гортанно затараторила Гая. — Тильки хусточками пионерськими йому махалы, як поихав. Мабуть, и нэ бачив!

Сережка и Генка задержались возле девочек, Неда безучастно молчала, глядя в сторону.

— Ну, вы! — прикрикнул на них Генка. — Пошли. Опоздаем к обеду.

Девчонки шли впереди, и в каждом шаге Неды, в каждом взмахе рук, в движениях кос, переползавших по спине, Сережка чувствовал адресованный ему укор.

Шайка Кожия отиралась на углу Гаванной, у винного погребка. Еще издали Сережка увидел, что Жорка «на взводе», — лицо покраснело и воспалено, взмахи клешнястых рук неуклюже размахисты.

Сегодня в компании Жорки были двое его дружков из порта, такие же проходимцы, как он, промышлявшие перепродажей мелкой контрабанды: американские сигареты, французские духи, жевательная резинка, модное на Западе барахло.

Генка толкнул Сережку локтем:

— Чуешь, чем пахнет?

— Ну что ж...

Девочки тоже увидели, что Жорка пьян, а Неда, словно очнувшись ото сна, подхватила мальчишек под руки и силой потянула в переулок.

— Идем! Ну, идем же! — требовала она.

Но Сережка с неожиданной и непонятной ему самому злостью вырвал свою руку у Неды и быстро пошел к кабачку. Генка бросился следом.

А Жорка, увидев детдомовцев и предвкушая безопасную для него расправу с ними, довольно улыбаясь, ждал. Красное, рас-

паренное лицо с прилипшей ко лбу коротенькой белобрысой челкой блестело капельками пота.

Когда Сережка подошел, Жорка улыбнулся шире, щеки заиграли ямочками, блеснула золотая коронка.

— Ну, шагайте, шагайте швыдче, герои! — поманил он согнутым пальцем. — Зараз я выучу вас уважать Жору Кожия, байстрюки-подзаборники! Жора долго терпел, а и Жоринькому терпению пришел край. Скажи нет, Багуза?.. Вроде вашего бешеного Грека тут зараз пету? Приспест час, и ему рога обломим!

На ходу отстранив Сережку, Генка шагнул к Жорке.

— А ты знаешь, подлюга, ты кто? — глядя Жорке в лицо, спросил он. — Фашист! Самый настоящий!

Улыбка сникла на пунцовом лице Жорки, оскорбленно вскинулись белесые брови.

— Как ты сказал, падло? Ка-а-ак? — Жорка придвинулся вплотную к Генке, от него пахло вином и чесноком. — А ну повтори! Жора умирает от нетерпения слушать...

Сережка встал рядом с Генкой.

— Да, фашист! — повторил он, стискивая кулаки, чтобы не дрожали пальцы. — По тебе Кайенна давно плачет!

— Какая еще Каена? Жоре и в Одессе веселый рай! — Жорка чуть отступил и размахнулся. — Эй, Багуза! Считай зубья! Ежели порядок — шестьдесят четыре!

Подбежала Неда, втиснулась между мальчишками, прижав к груди сжатые кулаки.

— Не смей, Кожий! Не сме-ей!

— Отзынь, лахудра! — почти ласково попросил Жорка, опуская занесенную для удара руку. — Твой час не стукнул. Подрастешь, гнедая кобылка, Жора вынесет тебе благодарность за мясника, всю жизнь помнить будешь! Ну, кому сказано?

Но Неда стояла не двигаясь. Жорка схватил ее за кисть руки и рванул вбок. Вскрикнув, Неда отлетела в сторону и, ударившись о фонарный столб, упала.

А Жорка тем же приемом швырнул Сережку к степе, в толпу своих дружков. Те успели расступиться, Сережка стукнулся о стенку, и толпа сомкнулась за ним. И тут же яростным звериным прыжком Жорка подскочил к Генке и, схватив его обеими руками за шею, поволок к своей шайке.

Держась за фонарный столб, Неда поднималась и, открыв рот, смотрела на деловито сопящую у стены толпу. Видела шевелящиеся спины, взлетающие локти,двигающиеся под тканью

рубашек лопатки, подметки и каблук ботинок. И, выпрямившись, преодолевая боль, закричала:

— По-мо-ги-те!

Почти одновременно с ее криком с перекрестка метнулись к месту побоища две фигуры. Через считанные секунды трое Жоркиных парней уже ползали на четвереньках по тротуару, а остальные трусливо разбегались кто куда. Ребята, кинувшиеся на помощь детдомовцам, цепко держали Жорку и еще одного, скуластого, с длинной петушиной шеей, в модном пиджачке, которого Жорка называл Багузой. Генка стоял у ступы на колесах, размазывая по лицу кровь, а Сережка лежал, прижимая к животу руки.

— Сережа! — Неда бросилась к нему, чуть не падая, и остановилась. — Убили?

— Та не, дивчинка, не убили, должно! — отозвался старший из ребят, разогнавших Жоркину банду. Оглянулся, увидел Ганю. — Эй! Стрельни до угла, позычь постового. Мы этих гадов, которые вдесятером двоих калечат, сдадим под замочек. По ним тюряга давно рыдает.

Но звать милиционера не потребовалось: ощупывая кобуру пистолета, он бежал к месту происшествия. Старший из парней, выручивших детдомовцев, с силой заламывал вверх вывернутую за спину руку Жорки. Второй, года на три моложе, придавил к стенке тонкошеего Багузу, тот озирался побелевшими от страха глазами, бормотал:

— Это... это Жорка... это всё Кожий...

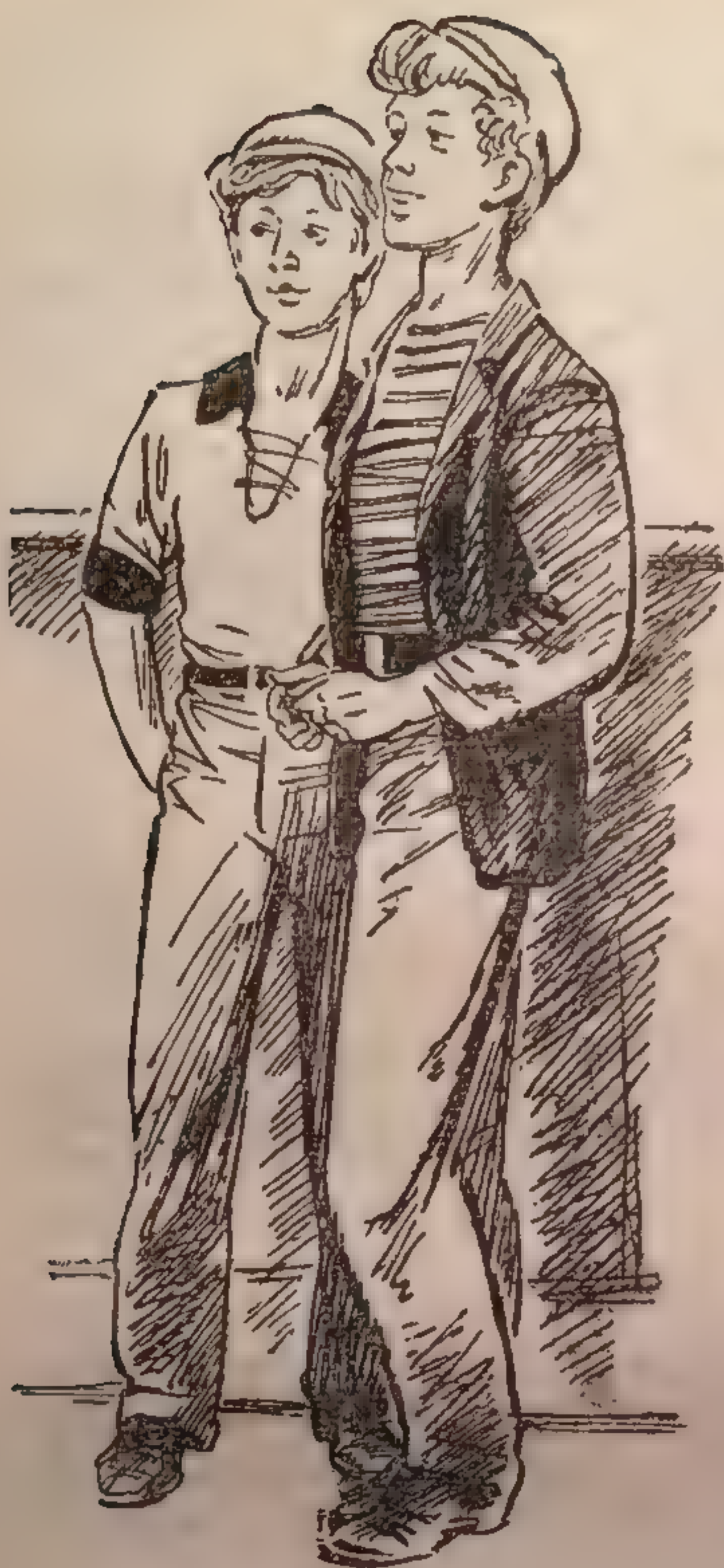
Милиционер подбежал, молоденький, верткий, розовощекый. Неда помогла Сережке подняться, он сгибался от боли в животе и в паху. А Генка уже оправился и криво посмеивался, только губы, перемазанные текущей из носа кровью, дрожали.

Милиционер оглядел всех и неожиданно густым, украинским басом спросил:

— Происшествие? — Посмотрел на измазанного кровью Генку, на корчившегося от боли Сережку, на Жорку и его дружка. — Значит, Кожий, снова нарушаем? Так, так. — Перевел взгляд на Сережку и Генку, на Неду. — А вы звидкиля взялись?

— Детдомовские! — ответил Генка.

— Стало, сироты? — Милиционер деловито поправил фуражку, кобуру, портупею и, чувствуя себя в полном порядке, строго повернулся к Жорке. — Ну-к что ж, Кожий, давай следуй! Придется оформить. Сколько предупредить было?



С прошлого не одумался, рыба голова, за решеточку не терпится? И ты, Багуза, хорош! Ну, кому сказано? Топайте!

Жорка и его тонкошейный приятель, озираясь, нехотя двинулись с места.

— А вы, хлопцы, — милиционер обернулся к ребятам, выручившим детдомовцев, — тож пройдемте. Свидетель при протоколе обязательно. Закон! Сами-то здешние?

Они были, по всей вероятности, братьями: тот же разрез глаз, одинаковые светлые и легкие волосы и одинаковая — у младшего помягче — складка рта.

— Здешние, — ответил тот, что выглядел старше. — Гордиенко наша фамилия. Я — Алексей, он — Яков...

— Спасибо за поддержание порядка, граждане Гордиенки!

В отделении дежурный составил протокол. Жорку и его приятеля заперли в камеру, где плаксиво бормотал пьяный: «Ну, вдарил разок... принцесса на горохе какая...»

У Яши было открытое, мальчишеское лицо, немного припухшие губы, веселые, озорные глаза, светло-серые, чуть с голубизной. Из-под распахнутого заношенного пиджачка полосато торпорщилась матросская тельняшка, на голове белая одесская кепочка с узеньким козырьком и пуговкой на макушке. Он переминался с ноги на ногу и с любопытством рассматривал детдомовцев.

— Ты, Алеша, двигай, — сказал он брату, когда милиционер, козырнув, отправился на свой пост. — А я, пожалуй, провожу их. Шпанья-то навалом было. Вдруг затаились где по-за углами.

— Ладно! — согласился Алексей. — А то и зайди, посмотри,

как без матерей растут. Может, свою больше слушаться станешь!

Так Яша Гордиенко впервые попал в Дом.

Надежде Васильевне Яша понравился, да и не мог ей не понравиться человек, бросающийся на защиту ее питомцев. Расспрашивала о жизни, о семье. Яша рассказывал охотно, иронически посмеиваясь: ничего в его жизни особенного нет и не было. Ну, коренные одесситы, отец моряк, плавал на «Синопе», теперь приболел, второй год не поднимается с постели. А мать Матрена Демидовна, тетя Мотя, как зовут в улице, еще ничего — трудится. И все будто неплохо. Алеша, брат? Он на ювелирной работает, руку в детстве покалечило, в армию не берут — вот беда. Ну да люди и в тылу позарез пужпы...

— Вот так и рыбачим, — улыбался Яша.

— Заходите к нам почаще, Яша, — попросила Надежда Васильевна, провожая паренька. — Наши ребята всегда будут рады. У нас хороших мальчишек много...

— А я вижу... У меня глаз на людей острый!

12. ГЕНКА, ВСЕЯДНЫЙ И ТОЛСТОКОЖИЙ

Необыкновенно емким показался Неде тот день.

Шагала с проводов Добрыни рядом с Ганей, слышала позади шаги Сережки и Гски, вспоминала чужое и неприязненное Сережкино лицо и все думала, думала.

И неожиданно вспомнила...

Произошло это на уроке Полины Максимовны. Математичка проверяла тетради с домашним заданием по алгебре и, вызвав Сережку, строго спросила: «А какое отношение к математике имеют сделанные в тетради посторонние записи?» Сережка смутился и, промывав нечленораздельное, извинился, схватил тетрадь и засунул в портфель. Вечером Неда спросила его, какие «посторонние записи», но он долго отнекивался: «Пустяки, сеньорита!» И только когда Неда рассердилась, показал тетрадь. А там и не было ничего особенного, наоборот, хорошее! На одной из пустых страничек, между двумя домашними заданиями, было крупно и четко написано: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой» и «Все потерять — ничего не потерять, мужество потерять — все потерять!»

Неда и раньше не раз слышала подобные выражения и сказала Сережке: «А чего же стесняться? Это должно быть девизом любого человека. Если бы люди не думали так, наверно, не было бы и революции». Он замялся, усмехнулся: «Вообще-то верно, но, понимаешь, в тетради по алгебре... Получается как неуважение к Полине Максимовне, к ее предмету. Ведь так?»

Она вспомнила это, отмечая в уме мелочи: на улице Свердлова электрики-девчата меняют в уличных фонарях лампы — вместо белых ввинчивают синие; на соседней улице лампы не меняют, а замазывают синей краской. И все чаще попадаются дома, где стекла перечеркнуты белыми бумажными крестами.

А потом... Потом была драка с шайкой Жорки, знакомство с Яшей Гордиенко, долгий, скучный обед. Неда заметила, что за обедом Сережка, как и она, почти не ел, зато Генка не отказался от добавочной порции гуляша. И от этого «всеядства» Генки, так подумала Неда, от его бесчувственности и жадности Генка стал еще противнее, хотя симпатии она никогда к нему и раньше не питала.

«Да,— думала она, украдкой наблюдая, как Генка опустошает вторую тарелку гуляша,— такому толстокожему все ни-почем, его ничем не прошибешь. И конечно, на Сереже сказывается отвратительное Генкино влияние... Хотя чего же еще от него ждать? После гибели отца два или три года околачивался черт знает где, брали его к себе жить добрые люди — бежал, из Дома бежал, путался со всякой шпайой, вроде Жорки, и воровал, наверно, и что хочешь.

Основная черта Генкиного характера — недобрый, доволен, когда людям плохо, больно. Надо же! Когда Ганю только что привезли в детский дом, измученная, но такая доверчивая, такая открытая, она о себе все-все рассказала в первый же вечер: как жила с «тато и мамо», как тато и мамо «вбили у болоти», и как до этого в школе ее хлестали линейкой по рукам, чтобы разговаривала по-румынски, и как она до полусмерти «лякается лягушкив». Так после Ганиного рассказа Генка во время ужина прокрался в девчачью спальню и сунул под одеяло Ганиной постели лягушонка! Ну разве не подло! Странно, что он теперь ввязывается в драки с шайкой Жорки, а не дружит с ними, как раз Жорка ему ближе, чем мы, я и Сережа. И как это Сережа не понимает? Когда-нибудь придется ему расплачиваться за свою слепоту, тогда увидит, кто ему настоящий друг. А пока, что ж, навязываться не стану, у меня тоже есть самолюбие, гордость!»

Обуреваемая праведным гневом, Неда, пообедав, не подошла к Сережке, а послушно, как любая пай-девочка, отиравилась вместе с другими на тихий час. «Ну и что война? — бушевала в коридорах грозная Белла Борисовна. — Дисциплина пока не меняется! А ну по спальням!» И хотя в тот суматошный, полный волнений день спать никому не хотелось, детдомовцы подчинились.

Неда лежала без сна, слушала, как посапывает Галя, и украдкой наблюдала в окно за двором. И когда увидела Рыжих, воровски шмыгнувших в ворота, ее будто иголкой кольнули в сердце.

Сережка оглянулся в воротах, но Неда не показалась в окне, легла и до конца тихого часа лежала, с трудом сдерживая слезы. Этот Генка, толстокожий и всеядный, сколько он может причинить зла Сереже, прямому, доверчивому, глупому! Конечно, глупому, у него все нараспашку!

Пока Неда по-матерински сетовала над горькой Сережкиной судьбой, Рыжие добрались до Детского городка, вызвали Мартинеса и вместе с ним отправились к Николаю Аристидичу. Было решено все-таки попрощаться с Нашим Греком и с вожатым Валерием: пусть хоть кто-то знает, что они не провалялись в тартарары, не дезертировали, а отбыли исполнять гражданский долг.

Наш Грек оказался дома. Гневный, всклокоченный, метался он по своей верхотуре, полы парусинового пиджака развевались, как крылья. Зеленым кошачьим глазком подмигивал приемник. Николай Аристидич останавливался возле и, по-птичьи склонив набок голову, застывал неподвижно. Стуча в дверь не слышал.

— Николай Аристидич! Можно?

Повернулся к двери с непонимающим выражением лица.

— А-а! Мореходцы? Мартинес! Прощу! — И вдруг яростно замахал руками, словно ветряная мельница: — Вы знаете, что он мне заявил? «Идите домой, дедушка». А? Как вам нравится? Слышали что-нибудь подобное? Вы, говорит, дедушка, 1881 года рождения, вы сняты с военного учета и извольте не мешать работать! А я ему: «Я на тебя, внучек со шпалами в петлицах, плевать хотел, я жаловаться буду!»

— Вы ходили в военкомат, Николай Аристидич? — удивился Сережка.

— А как же! Я не смог защищать Грецию, но никто не мешает мне защищать Россию! И тут сей, со шпалами, коман-

дует: «Выведите деда, товарищи, мешает!» И, представьте, вывели. Вы-ве-ли!

Отделанная перламутром трубка валялась на столе, окруженная полукружьем пепла, — брошена с размаха, с силой. Николай Аристидич схватил ее, дрожащими пальцами патискал табаку, закурил, выдохнул к потолку тугую струю дыма.

— Подумать только! Давно ли заезжал Спираки, и даже они, вояки, ничего не знали. Ну, высадили фашисты воздушный десант на Кипре, ну потопили английский крейсер «Худ». Ну и что? Ведь объявления войны не было! Ведь существуют международные правила, законы! И нарушать их никому не позволено, никаким Гитлерам! Да, да, не дозволено! — Выкричавшись, Николай Аристидич остановился, озабоченно глянул в ожидающие лица мальчишек. — А с чем нынче пожаловали? С вопросом: стоит ли во время войны раскапывать захоронения Георгосов? Вас это волнует, да?

— Мы, Николай Аристидич, хотели... сказать вам...

Говорил Сережка. Его подмывало «выдать» парочку громких фраз о Родине, о фашизме, о необходимости защищать завоевания революции, но он сдерживался, чувствуя на себе пронический взгляд Генки. Он коротко сообщил учителю, что они уезжают на фронт, просил не поминать их лихом за то, что иногда они шлодничали и шумели на уроках. Под конец все же не выдержал тона и напомнил старому греку о «вымирающем племени» допкихотов. Когда замолчал, Николай Аристидич посмотрел на всех по очереди растерянно и сердито.

— А вы подумали, что станется с Надеждой Васильевной, когда она обнаружит ваши пустые койки? Вы понимаете, какой удар собираетесь ей нанести! — с неожиданным и строгим осуждением спросил он.

После виноватого молчания Генка попытался оправдаться:

— Мы оставим письмо.

— Письмо! — усмехнулся Кристодуло, взмахнув руками. — Письмо! Они оставят письмо! Да это и есть удар ей в сердце! Понимаете вы или нет? И какой же род оружия вы избрали? Если, конечно, сие не является военной тайной.

— Воевать можно без оружия, — огрызнулся Генка.

— О! Сногшибательное открытие! Каким образом, разрешите узнать?

— Без оружия воюют в разведке, — поддержал Генку Сережка. — Нам легче, чем взрослым, пробраться куда угодно. Преодолеемся деревенскими и будем просить милостыню...

— Да последний нищий умер, поди-ка, лет десять назад!

— А фашисты не знают. Они пишут, что у нас все плохо.

— Ты читаешь геббельсовские газеты? — Николай Аристидич пытался язвить, но смотрел на мальчишек с явной тревогой. — А на каком же диалекте вы станете объясняться с фашистской нечистью?

— Мы учили немецкий и английский. А Генка немного знает румынский, у него мама была румынка...

Седые брови Кристодуло дрогнули, рот стал жестче.

— Ишь, разведчики — ястребиные когти! Да вас же все равно задержат и вернут, дураки! — закричал он. — Ничего, кроме позора для вас и волнений для Надежды Васильевны!

Отойдя к балкону, встал там спиной к ребятам, раздумывая, как удержать их от рискованной затеи. А мальчишки постояли с минуту и тихонько выскользнули на лестницу.

Спустившись с башни, перешли на другую сторону улицы и оттуда посмотрели вверх. Наш Грек неподвижно стоял в проеме балконной двери.

По пути домой не удержались и завернули в порт. Военные корабли — эсминцы, катера и крейсер «Коминтерн» — виднелись далеко на внешнем рейде, почти на горизонте. А в Новой гавани, у причала, стояла «Аджария»; вдоль ее белого борта висели на канатах люльки, сидя в них, матросы торопливо закрашивали борт грязновато-свинцовой краской. Той же краской мазали отогнутую назад дымовую трубу.

— Камуфляж, — грустно сказал Сережка, ему стало больно за уничтожаемую красоту.

Белоснежный красавец теплоход на глазах превращался в неопрятную посудину. Грязно-свинцовую краску матросы наносили неровно, борт казался покрытым лишаями.

— Ты что, захандрил, Бес? — ехидно поинтересовался Генка. — Небось, Недку бросать жалко? — У него, у Генки, все-таки выработалось умение угадывать потаенные Сережкины мысли.

— Отстань! — сердито отмахнулся Сережка, но тут же признался: — А знаешь, Ген, мне и правда не хочется идти в Дом. Давай напишем письмо Надежде Васильевне, ты положишь в спальне под свою или под мою подушку, возьмешь на кухне буханку хлеба, будто бы на рыбалку с почевкой. А? А мы с Мартом тебя ждем. Как?

Синеватые глаза Генки смотрели на Сережку прощательно, но, с хитрым прищуром, но ничего обидного Генка не сказал.

— Лады. А то действительно вцепится в тебя Недка — не оторвешь. А со мной разговор коротенький: здрасте — прощайте, не поминайте лихом!.. Она ведь меня терпеть не может.

На почте взяли пару чистых телеграфных бланков, и на оборотной стороне Сережка написал:

«Дорогая тетя Надя! Не думайте, пожалуйста, что мы неблагодарные, не ценим добра, которое Вы нам делали и делаете. Вы заменили нам мать, и мы Вас очень любим. Но сейчас, когда фашисты ворвались в нашу землю, мы не можем жить по-прежнему. Ведь Вы тоже любите Родину и должны попятить. Мы уехали в Москву, где попросимся, чтобы нас послали в школу разведчиков, а потом на фронт. Как разведчики мы можем принести пользу армии. Не ищите нас, очень просим, дорогая тетя Надя, мы все равно опять убежим, таков наш долг. Мы всегда будем помнить Вас, и весь наш Дом, и всех ребят и девочек, им наш привет. Когда доберемся до Москвы, напишем, а пока до свиданья, дорогая тетя Надя, и будьте здоровы. С нами уезжает и Мартинес, позвоните Арасели, чтобы не беспокоилась... Сергей Бесгинов».

Сережка дал прочитать послание Генке и Мартинесу, они прочитали и расписались внизу. И только после этого Генка настороженно спросил:

— А зачем про Москву? Она сейчас же позвонит в милицию, на вокзал, и нас захапуют как миленьких!

— Ложный ход! Мы не поедем в Москву, — пояснил Сережка. — Это чтобы сбить со следа. Как и договорились, поедем в Бюград или Измаил — война-то идет и там. Доберемся на попутных...

— Думаю, так правильно, — поддержал Мартинес.

— Ну что ж, — пожал Генка плечами. — Добро!

Первым человеком, кого он увидел в Доме, оказалась Неда. Девочка сидела с книгой на коленях у каретника и с ожиданием смотрела на ворота. Когда Генка вихляющей, парочито развинченной походкой вошел во двор, она встала и ждала, видимо надеясь, что следом за Генкой появится и Сережка. Генка прошел мимо, небрежно насвистывая.

— Приветик, Лазарева!

— Здравствуй, Гена. А... где Сережа?

— Ты про Беса, что ли? С рыбаками в гавани дрейфует... Мы с почевкой рыбалить поедем. Завтра жареную скумбрию жрать будешь. А? Вкуснота — руки по локти отъешь! Скажи, нет?

И пошел дальше; надо было успеть до ужина зайти в спальню, спрятать письмо, побывать на кухне.

— погоди, Геннадий! — Неда рванулась за ним, схватила за рукав. — Вы что, хотите убежать на фронт? Да? Это ты подбиваешь Сережу? Что у вас за секреты?

Генка рассматривал Неду со своей обычной усмешкой, и вместе с тем синеватые глаза его смотрели с сочувственной нежностью.

— А почему у тебя колечки на косах выются? — спросил вдруг он. — И всегда будто теплые. Даже потрогать хочется!

Неда разглядывала Генку с бесконечным удивлением.

— Ты... ты, наверно, с ума сошел?.. — выговорила она с усилием. — И чего уставился на меня такими... коровьими глазами!

— Ничего. Адью! — И Генка отправился дальше — спрятать письмо, выпросить на дорогу буханку хлеба.

Ему повезло: ни в вестибюле, ни на лестнице не повстречалось начальство Дома. Взбежал на второй этаж, в спальню, сунул письмо под свою подушку — белый угол конверта виден издали. Потом поднялся выше, на антресоли. В комнате вожакого Валерия шумели сердитые голоса. Подкравшись, Генка заглянул в полуоткрытую дверь. О, да здесь собрались все старшие! Кроме Валерия, здесь и Алешка Лупан, и Толька Дружнов, и Голубев; когда-то Генка прозвал его про себя «пахпом», за отчаянность, за спокойную дерзость, за силу.

Дружки Валерия сгрудились возле заваленного книгами стола и, горячась, перебивая друг друга, спорили, что делать. Оказывается, сегодня побывали в воепкомате, но их оттуда «отфутболили», по выражению Голубева, в райком комсомола, а там вообще не стали разговаривать. Сидите, мол, будете пужны — позовут!

В ногах койки Валерия сидела Жея Маслова. грустная, заплаканная: ей, конечно, не хочется, чтобы ее Валера уезжал. Вот они, девочки! Все до одной эгоистки!

Потоптавшись возле двери, Генка ушел: разговор, ясное дело, не состоится. Ну и пусть. Узнает от Надежды Васильевны, из письма.

Буханку хлеба и банку баклажанной икры повариха Даша выдала Генке без разговоров: на рыбалку с ночевкой из Дома ездили не раз и не два и всегда возвращались не пустые, привозили корзинку ставриды, скумбрии, бычков, неплохое подспорье к детдомовскому рациону.

А Неда по-прежнему сидела у каретника с книгой на коленях, притворялась, будто читает. Ну да Генку не обманешь, не лопоухий Сережка! Искоса поглядывая на занавески Надежды Васильевны, он непринужденно прошествовал к воротам. Неда встала, когда он проходил мимо, книга с ее колен упала.

— Тоскуешь, Гнедочка? — с притворной участливостью спросил на ходу Генка. — Передать приветик, чи шо?

Неда смотрела пристально, недружелюбно.

— Какой же ты злой, Геннадий! — сказала, вздохнув, с горечью. — Тебе бы в Жоркину банду завербоваться, самое для тебя место. Там все такие!

— Да ну-у? — с усмешкой протянул Генка, стараясь снова обрести независимый вид. — Если за Беса беспокоишься, так зря. Пока Генка Тавров живой, твоего Сережку никто пальцем не тронет. Поняла?

И уже без улыбки, каким-то странным, «не своим», как подумала Неда, взглядом, посмотрел ей в глаза. И, еще раз тряхнув рыжими космами, поспешно юркнул в калитку — откуда-то издали донесся голос Надежды Васильевны.

— Ген! — крикнула вдогонку Неда.

Он не ответил, не оглянулся.

13. ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

Переночевали в беседке у Мартинеса, а на рассвете вышли из города.

Пыльная Овидиопольская дорога шла прямо на запад; заросшая полынью и типчаком степь полого спускалась к отступившему на юг, ставшему невидимым морю. Пели в небе жаворонки, звенели в пожухлом типчаке цикады. А далеко на западе погромыхивало, будто за горизонтом бушевала растянувшаяся на десятки километров гроза.

Прошагав под солнцем часа три, мальчишки свернули к одной из совхозных усадеб: попить и немного посидеть в тени.

Постояли, вошли во двор. Посреди насосный колодец, окруженный барьером из серого песчанника. Вода холодная и почему-то с запахом йодоформа.

Скрипнула дверь, на крыльце появилась, позевывая со сна, пожилая женщина. Заслопившись от солнца ладонью, смотрела, как мальчишки пьют.

— Сами-то чьи?

По дороге ребята придумали легенду о воюющих в Измаиле отцах, но врать сейчас не хотелось, да и не было нужды.

— Детдомовские!

— Вон что! — Загорелое, с запекшимися губами лицо женщины подобрело. — И этот чернявенький? Из цыган, что ли? — Она с любопытством рассматривала тонкое, выразительное лицо Мартинеса.

— Не цыган — испанец! — солидно пояснил Генка.

— А-а-а! Стало быть, вместе бедствуете? Сиротствуете?

— А мы не бедствуем! — обиделся Генка. — У нас Дом — во!

— Это так, — задумчиво согласилась женщина. — А все же без тятки-мамки ой несладко, сама испытала.

Мальчишки поблагодарили и зашагали дальше.

Железнодорожная ветка на Измаил проходила севернее, ветер доносил оттуда паровозные гудки. Большая станция на пути к Овидиополю — Великодолинское — была недалеко, к вечеру можно бы добраться, но показываться на станции было страшновато. Надежда Васильевна, конечно, уже подняла шум, сообщила в милицию, могут задержать на любой станции. Решили направиться к морю и у рыбаков заночевать.

Прокаленная за день степь горько пахла полынью. Лениво и широко кружил над степью орел-могильник.

Сережка смотрел по сторонам и думал, что много-много лет назад, еще во времена греков и римлян и во времена половцев, наверно, вот так же лежала эта ровная, сухая, клонящаяся к югу, истрескавшаяся от зноя степь и так же плавали над ней орлы-белохвосты и орлы-могильщики и, устав кружить в небе, садились на древние скифские курганы передохнуть.

К морю вышли западнее Черноморки, вдали показались белые домики, освещенные заходящим солнцем. У околицы, на прибрежном песке, темнели тюленеподобные туши рыбачьих баркасов; сушились на кольях прозрачные сети; изумрудно блестели возле избушки стеклянные кухтыли. Бездымно горел костер, возле огня сидели и лежали рыбаки. Спокойное сизо-серебряное море бескрайно расстилалось за рыбачьим табором.

Заслышав шаги, неспешно зашевелились у костра люди, и мальчишки увидели, что у костра сидят женщины и дети. Только один седобородый старик был среди них, считал на счетах, ко один седобородый старик был среди них, считал на счетах, заглядывая при свете костра в засаленную тетрадь. Артельный

задымленный котел темнел над огнем, в нем парило и булькало ароматное варево.

— Добрый вечер,— поздоровались хором все трое.

Рыбачки отозвались на приветствие, а артельнаястряпуха, помещивая деревянным половником в котле, отодвинулась от огня и посмотрела на беглецов. Из-под низко опущенного белого платка блеснули заплаканные глаза.

— Не нашенские хлопчики,— сказала низким грудным голосом.— Городские, что ли?

— Одесские,— ответил Сережка.— Нам в Измаил надо...

— Чудно! — удивился старик, отрываясь от счетов и тетради.— В Измаил, а от железки ушли. Вам в Великодолинское подаваться надо, а оттуда — в Бугаз и уж потом к Измаилу. А чего вам там? — поинтересовался он.— Третий день там война! И с самолетов бомбы скидывают, и из-за Дуная орудия всю быют. Всех эвакуируют, а вы туда. Чу-удно, право...

— А у нас отцы в УРе,— соврал Сережка.

— А это чего же такое — УР? — поинтересовался старик.

— Укрепленный район. Там войска.

— А-а-а! — Рыбак закрыл засаленную тетрадку и отложил ее вместе со счетами.— Ну, садитесь тогда, гостями будете. А ну, пацаны, шире круг. Да сушняку подбросьте, чтобы огонек повеселее...

Беглецы присели к костру, заплаканнаястряпуха принесла из избытки глиняные миски и расписные деревянные ложки. Вздыхнув, разложила на разостланной у костра холстине.

— Ложек-то у нас лишних сколько стало, Савва Лукич! Посчитала сейчас: двенадцать...

— Я давно, Анюта, посчитал: двенадцать ребят ушло,— подтвердил старик.— Дай бог, чтобы живьем возвратились. Как я с вами, с бабьем, невода ставить да вынимать буду? Эй, девки-бабы! Кто почевать домой пойдет, чтобы к свету тут быть.

Анюта разлила уху по мискам.

— Хлебайте, хлопцы. С барабульки да ставридки, сладкая. Хлеба берите.

Быстро темнело, с запада налезали по самому краю неба рваные, косматые тучи, с моря донесло ритмическое постукивание мотора. Савва Лукич встал, задумчиво посмотрел на восток, в сторону Одессы.

— Ишь, вовсе темпо в городе. Бывало, как смеркнется, все небо над ней, матушкой, светится, огнем горит. А нынче глянь, будто и города на том месте нету...

— Это, поди-ка, чтобы с самолетов он не углядел, — догадалась одна из рыбацек, поднимаясь от костра. — По огням-то ему бомбы легко кидать!

И словно в подтверждение слов рыбацки, с запада донесся нарастающий гул — шли самолеты. Шли высоко, ничего не видно в забрызганной звездами синеве, только мощный, сотрясающий землю гул. Пролетели правее, над морем.

— На Севастополь пошел, гад, — почесал в затылке Савва Лукич. — Знает, поганец, где важное место.

Поужинав, рыбацки вставали от костра и уходили с ребятами к смутно белевшим домикам Черноморки. У костра остались Анна, ее черномазый сынишка лет шести и Савва Лукич.

— Мы переночуем с вами? — попросил Сережка.

— И то! — готовно отозвался старик. — Куда на ночь идти! У костерка летом поспать гоже. А ты, Анка, пойдешь домой?

— Не-е, — покачала Анна головой, прикрывая старым бушлатом уснувшего сынишку. — Прямо не могу я в хате быть, Савва Лукич. Все бластится мне — Андрюша вот-вот должен прийти. Забудусь на минуту и опять жду: не скрипнет ли под ногой.

— Ну, будя ныть! — одернул старик. — Андрюха мне тоже не чужой, как-никак сын, а плакать по нему заранее не стану. Не все же сгинут, не всех в землю втопчут.

Савва Лукич пошевелил палкой в костре, ярче вспыхнуло пламя. Как звезды, брызнули к небу искры.

И вдруг внезапно что-то изменилось в обступившей костер ночи, пахнуло непонятным. Отстранившись от огня, уже полусонный, Сережка запрокинул голову. И Савва Лукич, выставив седую бородку, напряженно смотрел вверх, туда же смотрели и Генка и Мартинес. Одна Анна оставалась безучастной, положив руку на плечо спящего Гриньки.

И вот небо раскололось над головами, визг и вой распороли тишину. Низко, на бреющем полете, следуя за изгибами береговой черты, летел самолет, видимо, высматривал погранзаставы. Черная тень стремительно неслась к рыбацкому табору, к костру. Сережке казалось, что она сейчас раздавит его, вонзится в землю. Вот он, сон! Потом... Сначала увидел светящийся пунктир трассирующих пуль и лишь спустя мгновение услышал отчеть. Будто невидимым хлыстом ударили по костру: во все стороны брызнули искры. Анна, вздрогнув, повалилась на бок,

на спящего Гриньку, пальцы левой руки судорожно загребали песок.

И так же внезапно черная тень исчезла. Растворился в почной тишине воющий рев мотора, и снова стал слышен звон цикад и спокойное, штилевое дыхание моря.

Первым пришел в себя Савва Лукич, посмотрел на споху через костер, сердито спросил:

— Ты чего, Анка?

Но та лежала неподвижно. Сережка видел ее вздрагивающие пальцы. Гринька, которого мать придавила, заплакал и пошевелился во сне.

— Анка! — закричал старик, вскакивая.

Анна не отвечала, а снизу, от моря, грубый мужской голос сердито окрикнул:

— Чего здесь?

В свет потухающего костра выступили из тьмы фигуры с карабинами за плечами. Пограничники подошли к Анне, перевернули лицом вверх.

— Две навывлет, — негромко сказал один и, выпрямившись, с укором покачал головой. — Эх, борода! Говорено было: никаких огней!

— Да ведь кто знал, что он, сука, на рыбачий костерок кинется, — потерянно бормотал дед, не сводя глаз с мертвого лица снохи.

— Накрой, дед, — распорядился старший, поправляя на плече ремень карабина. — Родная, что ли?

— Сноха.

— Эх, борода, борода!

Солдаты ушли, тени растаяли в темноте. И снова пели цикады, и лениво вздыхало море, и посапывал во сне Гринька.

Сережка посмотрел на Генку и поразился: лицо у того будто выначкало мелом, губы дрожат. Прыгающие пальцы теребят ворот рубашки.

— Ты что? — окликнул Сережка. И только тут увидел на пальцах у Генки кровь. — Попало? В тебя попало?

Генка беззвучным шепотом:

— От нее... брызнуло...

Савва Лукич завернул Гриньку в бушлат и пошел к избушке, где хранились запасные снасти и где сам он почевал, карауля табор. Костер угасал, тело Анны, едва различимое в полутьме, казалось огромным.

Сережке сделалось жутко рядом с мертвой, он почувствовал

вдруг, как мелкой лихорадочной дрожью сотрясается тело. Упираясь руками в теплый, еще не остывший песок, отодвигался от мертвой все дальше и никак не мог отвести взгляда с пальцев, судорожно вцепившихся в землю...

Савва Лукич отнес внука в избенку и вернулся, постоял над Анной в горестном молчании.

— Чего я теперь Андриюхе писать стану? — Повернулся лицом к селу, помолчал и негромко сказал: — Вот чего, ребята! Я дойду до села, баб кликну. Перенести падо, не лежать же ей тут до утра. А вы посидите пока...

— Нет, дедушка! — испуганно перебил Генка. — Мы с вами... в село...

— Ну-к што ж, пошли... Там и заночуете...

Мальчишки двигались за темной фигурой деда, то оглядываясь, то поворачиваясь к морю, мерцавшему справа.

А степь по-прежнему горько пахла типчаком и полынью, по-прежнему звенели в степи бесчисленные цикады.

14. В ИЗМАИЛЕ

Из Черноморки ушли рано: на востоке, над размытым горизонтом моря, только накапливался розовый свет.

Шагали молча, подавленные пережитым, в ушах еще звучали причитания рыбацек, голос Саввы Лукича, просившего нести Анну поаккуратнее, будто что-то могло причинить мертвой боль.

Обогнув с севера Сухой лиман, беглецы оказались у железной дороги — она скучно ползла сквозь заросли кукурузы, подсолнечника и сорго, огороженная частоколом телеграфных столбов.

Долго шли вдоль полотна. Но вот зазеленели впереди сады и забелели домики Великодолинского. У приземистого вокзала мирно попыхивал паром старенький паровоз с шестью пассажирскими вагонами, а на соседнем пути ждал отправления воинский эшелон. Под брезентом угадывались орудия, на тормозных площадках — часовые.

Неистовый, нестерпимый зной загнал мальчишек в здание вокзала. Из алюминиевого бачка напились теплой, пахнувшей жестью воды, осмотрелись. В углу, у буфета, толпились женщины, доносился дребезжащий мужской тенорок.

...Через Великодолинское проходило и шоссе из Одессы на Овидиополь и дальше, через Днестровский лиман, на Белгород и Измаил. Выбрались на шоссе и пошли на запад.

Километрах в пяти от Великодолинского, измученные зноем и пылью, остановились передохнуть. Одна из трехтопок, шедших из Измаила, приткнулась на обочине. Шофер, бормоча сквозь зубы проклятья, менял колесо.

Несколько женщины прятались от зноя в тени кузова. Молодая, с печальными глазами, кормила грудью ребенка. Рядом светлоглазый мальчуган чертил прутиком в придорожной пыли.

— Вы из Измаила, тетя? — спросил Сережка, присаживаясь у грузовика.

— Оттудова, хлопчик! — Женщина подняла взгляд светлых, как и у мальчугана, глаз.

— Как там?

— Свету божьего нету, милый! И с неба бомбы бесперечь валятся, и с Заречья из орудий без передыха бьет. Пожары в улицах, ночью светло, будто днем. А оп, проклятый, еще лампы в воздухе на летучих зонтах вывешивает. И свет от них мертвый, страшный...

На востоке над дорогой за клубилась пыль: колонна грузовиков шла на запад, к Овидиополю. Мальчишки разглядели в грузовиках мужики в штатском: то ли мобилизованные, не получившие обмундирования, то ли ополченцы.

Головной «ЗИС» поравнялся с аварийным грузовиком, затормозил. Из распахнутой двери высунулся вихрастый водитель, голый, в одних трусах.

— Эй, Прунов, — закричал, — как в Измаиле?

Возившийся над колесом шофер устало разогнул спину.

— Жмет, гад, на всю железку! Но куда держат! А выше по Пруту будто танки на Кишинев рвут!

Пока шоферы разговаривали, мальчишки подошли к одному из грузовиков, с просьбой поглядывая на сидевших в кузове людей.

— Что, пацаны? Куда топаем? — спросил худощавый морячок в тельняшке и форменной фуражке торгового флота.

— В Измаил! Домой! В пионерлагере в Аркадии были, — соврал Генка, — А тут война...

— Домой? Ну тогда... — Морячок протянул жилистую, истинную татуировкой руку. — Ну, чур, не скулить, пацанята, если под бомбы угодим!

Через полчаса показались сады Овидиополя. Малолюдные

белокаменные улочки бессильно лежали под солнцем. Мелькнул асфальтированный двор автобазы, памятник Ленину на оной-санной акациями площади. Блеснула в проеме улиц блокляя, вылинявшая от зноя синева — Днестровский лиман.

Колонна остановилась у переправы. Попрыгали с машин, сгрудились у табачного ларька и у киоска с газировкой. Сережка и Генка, а за ними и Мартинес прямо в одежду полезли в прогретую солнцем воду.

Темная, низко сидящая баржа подплывала с Белгородской стороны, на палубе тесно стояли безоружные солдаты в грязно-желтой форме. На носу и на корме — красноармейцы с винтовками.

Это были первые фашисты, встретившиеся будущим разведчикам. Пропыленные, в изодрапных гимнастерках, многие с окровавленными повязками, они, несмотря на злобные, угрюмые лица, не внушали страха.

Баржа причалила, начальник конвоя скомандовал:
— Гай! Гай! Быстро!

И пленные, толкаясь, побежали по скрипучим сходням на берег, к воде. Им разрешили напиться и погнали дальше, в Одессу.

Автомашины одна за другой въезжали на баржу — везли пополнение до самого Измаила.

В Белгороде колонна не задержалась, промчалась, пыля по зеленым улицам, мимо старинной, с островерхими башнями крепости и снова вырвалась в степь.

У Сараты шоссе круто повернуло на юг. Пронеслись мимо домики Зари, Михайловки, Белолесья. Тускло посветила из-под мостов вода Сараты и Когильника. А за Татарбунарами стали чаще попадаться груженные машины — из Измаила эвакуировали оборудование, ценности, людей. Когда позади остались Кирнички, мальчишки увидели на обочинах дороги остовы сгоревших грузовых машин. Почти у самой западной околицы Татарбунара красноармейцы копали у дороги большую могилу, на обочине лежали трупы в темно-желтом.

Шофер притормозил, высунулся в окно, крикнул командовавшему работой сержанту:

— Фашистов хорошишь?

— Ага!

— И своих, стало, лунит?

— Так пленные ему не свои, — отозвался сержант. — Страху на живых нагоняет, чтобы дрались здесь!

Самолеты палтели на колонну, когда она пересекала железную дорогу западнее озера Катлабух. С переезда виднелись остатки разбитых, опрокинутых, сгоревших вагонов; нагромождение исковерканного железа, скрученные рельсы, вздыбленные платформы, откатившиеся в заросли кукурузы вагонные скаты. Обломки дымились, пахло горелым железом и чем-то терпким и тошнотворным.

Фашистские самолеты сначала летели высоко, за невесомыми, похожими на тополиный пух облаками, потом спустились, понеслись над шоссе.

Когда прямо над головами раздался вой спускающихся самолетов и кто-то закричал «Воздух! Воздух!», мальчишки вместе с другими попрыгали из машины и, ломая кукурузу, бросились в заросли, легли. Хотелось вдавиться в землю, сердце колотилось не в груди, а где-то в горле, душило...

Пока колонна добралась до Измаила, ее обстреливали и бомбили четыре раза, два грузовика сгорели, погиб шофер одной из машин и пятеро ополченцев.

Навстречу колонне, тяжело урча, ползли трехтонки с заводским оборудованием, шли санитарные машины, бесконечной толпой двигались беженцы. Многие везли двуколки и детские коляски с домашним скарбом. Опустошенными глазами оглядывались на покидаемый город...

Тугие смерчи дыма, освещенные судорожным, прыгающим огнем, клубились над Измаилом. По многим улицам проезд закрыт: в развороченных мостовых бомбовые воронки. То и дело встречались дома, разбитые бомбами и снарядами.

На спусках к Дунаю сотни людей копали окопы и щели, сооружали баррикады. Красноармейцы и рабочие резали автогеними трамвайные рельсы и тавровые балки, сваривали из их обрезков ежи и надолбы.

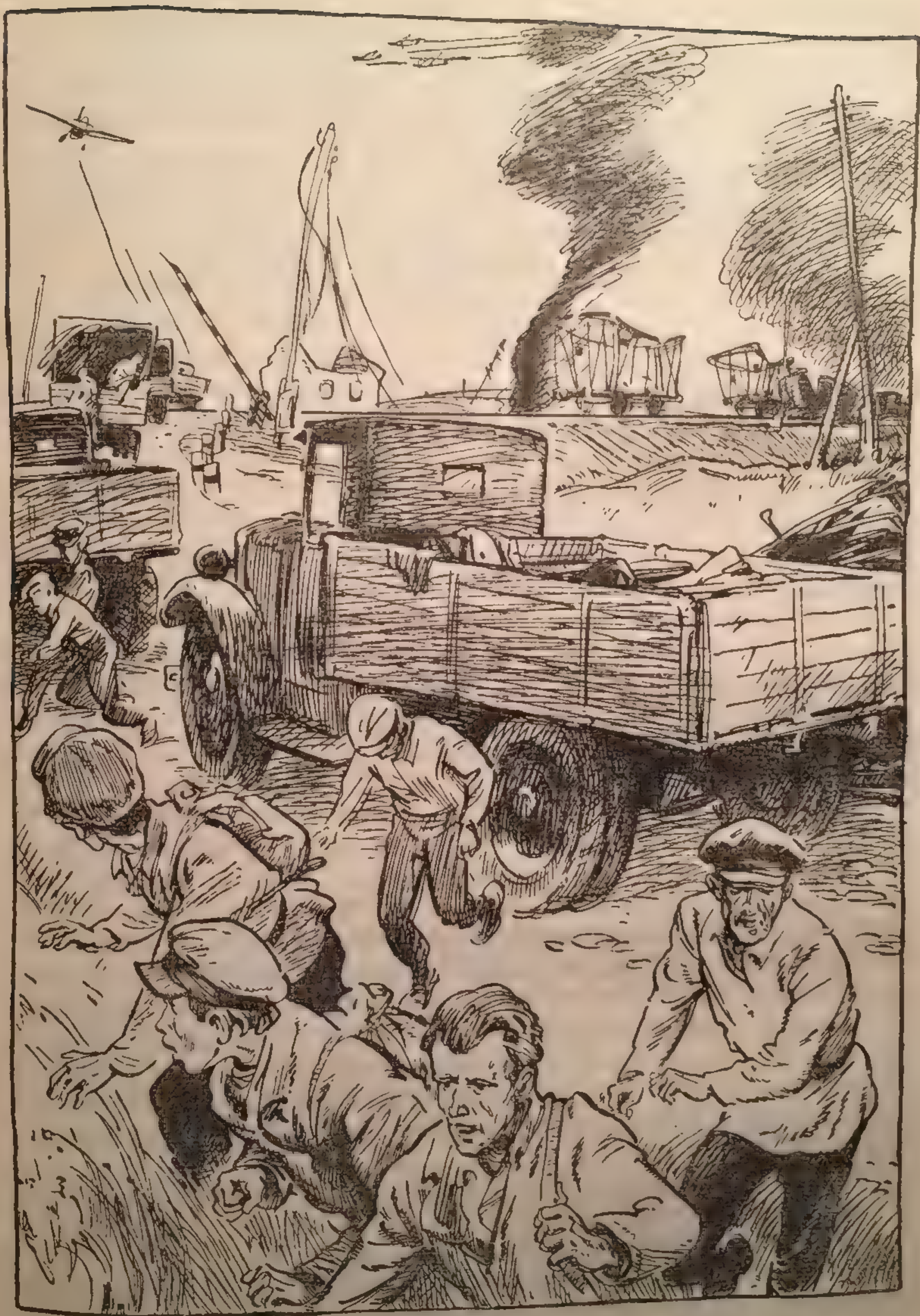
Колонна повернула к северным окраинам, а мальчишки спрыгнули в центре, пошли на запад. И вот в просвете улиц блеснула неяркая полоса широко разлившейся реки, противоположный берег дрожал и плавился в раскаленной мгле.

— Дунай, что ли? — Гепка с интересом смотрел на тот берег.

Через полчаса добрались до набережной. Улица вдоль берега была разбита снарядами и оставлена жителями — вся простреливалась с той стороны.

И река поражала безжизненностью: ни рыбацкой лодки, ни баркаса, ни паруса! И на румынском берегу никакого





движения, только южнее, в плавнях, под навесом береговых ив, что-то неразлично темнело — не то катера, не то баржи.

Ниже по течению Дуная, на нашей стороне, серели низкие пакгаузы порта, за белым шифером и красным железом крыши что-то горело: густой, грязно-желтый дым, похожий на гной, не поднимался к небу, а тек вниз, к реке.

Внезапно из-за зеленого изгиба берега на предельной скорости вырвался камуфлированный военный катер, мальчишки с замирающим сердцем следили за ним. Впереди катера взметнулся сверкающий столб воды, такой же вскинулся между катером и западным берегом, потом позади катера.

И только сейчас притаившиеся в кустах мальчишки заметили на нашей стороне спрятанные в зелени акаций и каштанов орудия и дзоты, увидели бойцов. И кто-то зычно и требовательно закричал оттуда:

— Эй, пацаны! На тот свет захотелось? А ну чешите отсюда! Ну!

Взбежав вверх, Сережка оглянулся. Катерок благополучно пронесся к порту, снаряды рвались далеко за кормой.

Свернув за угол, мальчишки остановились, обессиленно прислонились к раскаленной каменной стене. Помолчали, слушая, как звенит в ушах внезапно наступившая тишина.

И вдруг — воющий, пригибающий к земле свист. Через пять-шесть секунд судорожно дрогнула под ногами земля. С восточной окраины донесся обвальный грохот разрыва.

«Граждане! Граждане! — пробился сквозь металлический дребезг респродуктора напряженный женский голос. — Воздушная тревога! Воздушная тревога, граждане!»

Противно и угрожающе завывли невидимые спрены. Люди, пригнувшись, разбежались от неоконченной баррикады к вырытым во дворах щелям, к недалекому бомбоубежищу. И трое мальчишек бежали вместе со всеми. Вскоре очутились в низком сводчатом подвале, где пахло мышами и мокрым кирпичом. На ржавых железных балках потолка блестели крупные капли. Тускло горела под потолком запыленная электрическая лампа в проволочном колпачке, лица людей в неярком ее свете казались мертвенно-серыми.

Снаружи долетали далекие и грозные гулы. Стрекотали зенитки, но не на западе, не на берегу Дуная, а севернее, наверно за чертой города.

— Якие чути висти, Семечыч? — спросил недалеко от мальчишек мягкий женский голос. — Держат наши аль он сплит?

— Где держат, Тарасовна, а где и нет. На Бобруйск, на Минск, на Кишинев прет.

— А чего про шпиёнов чутно, Семеныч? — полюбопытствовал тот же голос. — Болтают, вроде многие прежние жители, что туточки остались, шпиёны. А? Спят и бачат, як бы Михеева влада до них вернулась? Чи так, Семеныч?

— И так и не так, Тарасовна, — ответил прокуренный мужской голос. — Ведь и при Михее не всем одинаково жилось. Одни золото в кошельки складывали, а другие картофельную кожуру жрали. Воссоединили Бессарабию, кому радость, а кому и не очень! И кому не очень, они тоже не все на ту сторону убралась. За год-то, поди, всё высмотрели: где войска, где склады, укрепления, батареи. И сообщают на тот берег... Война без шпионов да предательства не идет, Тарасовна...

Грохот близкого разрыва заглушил прокуренный голос. Кирпичный пол и мокрые каменные стены вздрогнули, с низкого потолка посыпалась белесая известковая пыль. Гул взрыва какое-то время перекатывался от стены к стене, что-то падало снаружи, сотрясая землю. Погас свет. В наступившей темноте беспокойно запричитали женщины, в голос заплакала девочка:

— Мамо! Ой, мамочко!

Висевший у входа репродуктор молчал, даже характерного металлического хрипа не стало слышно: перебило проводку.

— Теперь и отбоя не услышим, — сказал кто-то...

Железную дверь подвала открывали с трудом — ее привалило снаружи кирпичными и бетонными глыбами, обломками деревянных балок, землей. В дверную щель сочился кислый дым взрыва, запах гари, пробивались облака кирпичной пыли.

Только через полчаса мальчишкам удалось выбраться на улицу, заваленную обломками дома, разрушенного прямым попаданием. Помогали взрослым раскапывать развалины и тушить пожар, а когда санитарные и пожарные машины уехали, три раза обращались к проходившим мимо военным, пытались объяснить, что хотели бы стать разведчиками. На них смотрели с удивлением и насмешкой, а пожилой командир, остановленный ими, побагровев, крикнул:

— А-а! Хотите помочь фронту — на завод идите! Также мне разведчики!

А между тем вечерело и пора было позаботиться о почлеге: оставаться на улице с наступлением комендантского часа — значило попасть во власть патруля, а там, ясно, долго разгова-

ривать не будут. Только теперь мальчишки начинали понимать всю безрассудность своей затеи.

— Давайте-ка, сеньоры, устраиваться на ночь, — предложил Сережка. — А завтра попытаемся отыскать капитана Спираки. Он единственный, кто может нам помочь.

— Как же, найдешь! — свистнул Генка. — Дунайская флотилия на сотню километров разбросана! Кто скажет, где Спираки? И зачем понадобился, спросят? Что тогда?

— А скажем, что Март — сын капитана. Он же вылитый грек!

Ночевать попросились к пожилой женщине; она стояла на пороге двухэтажного дома со сложенными на груди руками и с тоской смотрела на восток.

— Та пийдемо, пийдемо, хлопчики! — с радостью заторопилась, не дав Сережке договорить. — У мэнэ сам чоловік воюе та два сыночка. Зараз миста в доме дуже богато... И поуихалы которые из дома с переляку... Вот туточки лягайте, стало быть. Вот тильки койки две, по сынам, стало быть, а вы втрех. Знала бы, що придете, еще б одного зробыла, — невесело пошутила хозяйка, уходя.

Мальчишки улеглись, но разговаривать не хотелось.

Усталость наливала тяжестью тело, в памяти возникали, не давая уснуть, картины дня... Разбегающееся в стороны обезумевшее стадо и теленок, заброшенный взрывом на дерево и истекающий кровью. Это когда колонна пересекала железную дорогу севернее Катлабуха...

Но едва Сережка задремал, в окна брызнул белый пугающий свет, выхватил из темноты горшочки с геранями на окне, словно обрызганные кровью, портрет усатого моряка на стене и бледные лица Генки и Мартинеса.

— Осветительные! — сказал Генка. — Значит, бомбить будет...

Лампы висели над городом и не гасли. Привыкнув к их свету, мальчишки подобрались к окну. Пустая улица фантастического города лежала перед ними, исполосованная аспидно-черными тенями деревьев. Таинственный мертвенный свет струился по улице и в то же время казался неподвижным, словно облицевал текучим блеском камни мостовой и тротуарные тумбы. Недалеко, во дворе дома напротив, завывала собака.

Еще одна за другой вспыхнули и повисли над портом осветительные ракеты. Послышался приближающийся рев самолетов, деловито застучали зенитки.

Самолеты сбросили с десятков бомб в районе порта и вокзала, но самолетов в налете участвовало немного, большие эскадрильи проходили высоко над Измаилом на восток.

Уснуть мальчишки так и не смогли. Сидели на подоконниках и смотрели, как наплзает в безлюдные улицы серый расцвет, пахнувший гарью пожаров. Стало видно клубящийся над портом багровый дым. С Дуная доносились винтовочные выстрелы, короткие пулеметные очереди. И где-то на юге, в направлении Новой Килии, все лопотали и лопотали зенитки.

15. НЕОЖИДАННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Утром женщина, приютившая мальчишек, накормила их мамалыгой и со слезами просила снова приходить ночевать:

— Худо мени без сынив, хлопчики, ой як худо, аж сердце кровью обливается.

Неприкаянно бродили по дымящемуся пожарами городу, при налетах прятались вместе с другими в бомбоубежища, пытались разузнать что-нибудь о базах Дунайской флотилии. Ведь получает же она где-то снаряды, продукты, горючее, там, вернее всего, и можно подкараулить монитор Спираки. Думалось, стоит добраться до монитора — кстати, никто из ребят не представлял, как это судно выглядит! — и их будущая военная судьба определится.

Эвакуация гражданского населения Измаила шла полным ходом, и, боясь попасть в ее поток, мальчишки решили во что бы то ни стало, опираясь на легенду о воюющих на Дунае отцах, добраться до Новой Килии, где, по слухам, располагалась одна из баз флотилии.

Но когда сжалившийся над ними шофер высадил мальчишек на восточной окраине Килии, городок был начисто разбит, большинство домов сгорело или лежало в развалинах.

И было в Новой Килии предельно тревожно: кто-то отсюда по почам ракетами и светом подавал сигналы на ту сторону. Прошлой ночью охрана захватила троих сигнальщиков — они оказались румынскими националистами, оставшимися в Бессарабии после установления Советской власти.

Из Килии уходили на восток последние беженцы, на автомашинах эвакуировали пострадавших при бомбежках и артиллеристов.

Мальчишки, потерянно бродившие по городу и со странным беспокойством оглядывавшие каждого встречного военного, невольно привлекали внимание. И вечером, когда они, уставшие и голодные, брели мимо одной из замаскированных в ивняке причальных баз Дунайской флотилии, их задержал патруль.

Два солдата с красными повязками на рукавах шли мальчишкам навстречу, заходящее солнце поблескивало на дулах винтовок. Один из патрульных, молоденький белобрысый паренек, смотрел приветливо, но его пожилой напарник с густыми черными усами оказался недоверчивым и педружелюбным.

— А ну стоять! — скомандовал, когда мальчишки поравнялись с ними. — Чего рыскаете? И кто такие?

Глаза усатого, пронзительные и острые, оглядели мальчишек, особенно пристально уставился он на Мартинеса.

— Румын? — спросил.

— Нет. Испанец!

— Ишь ты, испанец! Скажи на милость! И что же ты тут вышариваешь, испанец? Чего выглядаешь? До Испании-то отсюда тысячи километров! Документов, конечно, нету?

— Нет, дяденька! — беспомощно развел руками Генка. — Паспорта-то выдают, знаете...

— Я тебе покажу «дяденьку»! — багровея, закричал усатый. — А ну, выворачивай карманы!

К несчастью, в кармане у Генки остался с последнего посещения подземелья электрический фонарик.

Усатый вырвал у Генки фонарь, включил, круглое пятно света упало в придорожную пыль.

— Мигаєте, значит, на ту сторону? — весь подобрившись, спросил усатый. — А ну, шагайте! Сейчас сдам вас куда следует, там разберутся, из какой такой Испании вы здесь объявились!

— Послушайте! — Сережка собирался рассказать всю правду: про Одессу, про Дом Надежды, про то, как добирались сюда, чтобы воевать с фашистами.

Но усатый закричал:

— Заткнись! У нас уже сидит не одна такая компания! То же фонариками с чердаков на ту сторону помигивали!

Но повели мальчишек не в комендатуру, а в расположенный на берегу командный пункт, он был рядом; здесь часовой у входа их остановил. За брезентом, прикрывавшим вход в землянку, приглушенно звучали голоса, зуммерил телефон, кто-то простуженно кашлял.

Не спуская с мальчишек взгляда, усатый приказал сесть. Нагретая за день земля дышала теплом и пахла мятой.

Смеркалось. Над правым берегом Дуная изредка подсвечивали небо всполохи выстрелов, над рекой вспыхивали и долго не гасли осветительные ракеты.

Чья-то рука откинула изнутри брезент, закрывавший вход в дзот; наклоняясь у низкой притолоки, застегивая плашкетки и надевая фуражки, из блиндажа выходили военные: армейские командиры, моряки. Мальчишки угадывали их по нарукавным шевронам, тускло блестевшим в падавшем из блиндажа свете. С жадностью и надеждой всматривались в моряков Сережка и Генка, но капитана Спираки среди покидавших блиндаж не оказалось.

Наконец, заглянув в КП, часовой разрешил патрульным войти. Подталкивая вперед мальчишек, усатый протиснулся в глубоко зарытую в берег землянку с бетонированными стенками и бревенчатым накатом потолка. За небольшим столом, покрытым картой, сутулился пожилой военный с давним шрамом, рассекавшим левую бровь, и с забинтованной головой; сквозь бинт проступали бурые пятна крови. Фонарь, подвешенный к потолку, освещал лысеющую с висков голову, лежавшие на столе узластые руки. С трудом выпрямившись, военный оглядел мальчишек. Спросил сердито, но негромко:

— Что за явление?

Оттолкнув мальчишек к стене, усатый козырнул.

— Подозрительные, товарищ командир. Возле укреплений ошивались. И вот обнаружены доказательства. Улики, то есть. — Он с торжественной медлительностью положил на разостланную перед военным карту отобранный у Генки фонарик. — А этот и вовсе подозрительный, товарищ командир! — Полуоглянувшись, патрульный показал на Мартинеса. — И лопочет про Испанию!

Командир повертел в руках фонарик, включил и выключил, долго и надрывно кашлял. Спросил:

— Откуда?

— Наши отцы тут... — заторопился Генка. — В Дунайской... Сережка дернул его за рукав: нельзя врать! Но было поздно.

— Фамилии? — спросил командир сквозь кашель.

И хотя Сережка продолжал дергать Генку за подол рубахи, Генка продолжал:

— Вот у него отец,— показал глазами на Мартинеса,— капитан Спираки.

Теперь военный принялся разглядывать мальчишек недобро и внимательно.

— Насколько мне известно, у капитана Спираки нет детей,— задумчиво протянул он и снова включил и выключил лежавший перед ним фонарик. В это время сидевший в углу связной протянул ему трубку телефона. Командир взял ее, не сводя с мальчишек взгляда, и вдруг закричал в трубку, вставая: — Что? Что? — Долго слушал, водя карандашом по карте, лицо хмурилось, седоватые брови вздрагивали, шрам на лбу налился кровью. Через минуту, швырнув назад трубку, с силой потер кулаком побагровевший рубец шрама. И зло, устало махнул усатому: — К коменданту! К коменданту води. Не до них мне!

Здание комендатуры было разрушено прямым попаданием, и комендант занимал брошенный жителями одноэтажный домик рядом с развалинами комендатуры. Он долго хриплым, надорванным голосом кричал в телефонную трубку о пакгаузах, к которым подбирался огонь. Лохматый, усталый, с воспаленными глазами, изредка поглядывал на ожидавших у двери патрульных и неудавшихся разведчиков.

Наконец, поднимаясь над столом, спросил:

— Ну?

— Да вот, велели к тебе, товарищ комендант. Уж шибко подозрительные. И ничего толком не объясняют.

— Товарищ комендант! — рванулся вперед Сережка.

Но в это мгновение где-то рядом ударил снаряд, из обращенных на запад окон брызнули на стол осколки стекла. Комендант болезненно поморщился, покосился на окно, сбросил со стола осколки.

— Сволочи! — Не договорив, измученными глазами уколол мальчишек, но на улице снова загрохали взрывы, из щелей потолка посыпались опилки и земля.— Тихонов! — рывкнул комендант в дверь соседней комнаты. И когда на пороге появился молодецкий, затянутый в новенькое обмундирование паренек, приказал, кивнув на мальчишек: — Посади к тем! Утром в Измаил! Пусть там разбираются!

Минут через пять мальчишки оказались в подвале под полуразрушенным зданием магазина. Пахло квашеной капустой, рыбой, чесноком — видимо, раньше здесь помещался склад. Железная дверь захлопнулась, стало темно. Мальчишки с ми-

пути стояли у двери, всматриваясь в душную, едва освещенную полутьму.

— Ну се? — хрипло спросил кто-то из глубины, и там, в глубине, среди пустых ящиков и бочек, завопились перазличичали, тот же голос снова спросил: — Шты руманешты? Говоришь румынски? Кто есть?

— Мы... мы детдомовские... из Одессы, — неуверенно ответил Сережка.

Чуть светил над серединой подвала двадцатипятисвечовая лампочка, и в ее свете появился грузный коренастый человек, лица не разглядеть, только черная, обрамляющая лицо борода да горячий блеск глаз. Неслышно ступая, подошел к мальчишкам, пошарив в кармане, чиркнул спичкой, осветил их лица, поднося спичку так близко, что те испуганно пятились к двери.

— Се москали! — зло сказал кто-то в глубине подвала.

— За чего вас? — спросил чернобородый, когда спичка обожгла ему пальцы и погасла.

— Мы не знаем, — чуть слышно ответил Генка.

И мальчишкам вдруг стало страшно в этом каменном мешке, где, как они догадались, сидели настоящие шпионы и предатели. В подвале наступила тишина, мышинный шорох в углу казался чуть ли не громом. Артобстрел прекратился: снаружи не долетало ни звука. И недобрая, зловещая тишина, наполнявшая подвал, становилась все гуще, все страшнее.

Чернобородый снова зажег спичку.

— Стало быть, и вам каюк! У них разговор короткий. Раз взяли, — значит, все! То кулак, то купец, то короля Михая добром помянул. И раз вы детдомовские, видно, и ваших отцов загробили?

— Мой в море потонул, — буркнул Генка.

— И мой, — сказал Сережка.

А Мартинес вдруг затрясся, словно в приступе лихорадки, и, шагнув вперед, крикнул:

— А мой коммунист! Он убивал фашио! Таких, как ты! Убивал! Убивал! — Голос у Мартинеса сорвался, и он, захлебнувшись, замолчал и отступил к двери, привалившись к ней спиной.

— Во-он оно как... — протянул чернобородый и, помедлив, шагнул вперед. Схватил Мартинеса за рубашку на груди, рванул мимо себя на середину подвала.

Мартинес упал лицом вниз на бетонный пол, ударился головой.

И тотчас из глубины подвала выдвинулись две тени.

— Бихо фашио! — крикнул Мартинес, приподнимаясь. — Подлый!

Стоявший у двери чернобородый повернулся к Сережке и Генке и, погрозив кулаком, подошел к лежащему ничком Мартинесу.

— И так и эдак нам пуля, — сказал он двум теням, склонившимся над распростертым на полу Мартинесом. — Так хоть еще одну сучку задавить!

— А може, не стоит, Алеку? — спросила одна из теней. — Ну, подержат, а там, може, и выпустят. А?

— Дождешься! Может, тебе еще твои баркасы отдадут? Дурак! У Советов для нас один разговор — пуля! — И, сильно размахнувшись, ударил Мартинеса погой в бок. Удар прозвучал мягко и глухо, и Мартинес отозвался на него болезненным вскриком. — Вот тебе, большевистское отродье! На! На!

Он с силой бил погой неподвижно лежавшего Мартинеса, стараясь попасть в лицо. Бешеными ищущими глазами посмотрел кругом, схватил валяющуюся под ногами доску и принялся со всего размаха бить Мартинеса по голове.

И тут Сережка прыгнул от двери ему на спину, вцепился руками в шею. А Генка изо всей силы колотил кулаком в гудящую железную дверь.

Чернобородый легко стряхнул Сережку с себя и повернулся к нему.

— А! И тебе, комиссарский выродок, на тот свет хочется?

Удар в лицо откинул Сережку к стене, он стукнулся о нее головой. И все потемнело, словно провалился в черную яму.

Дверь с ржавым грохотом распахнулась, и на ее пороге возникла широкоплечая фигура часового с винтовкой и фонарем.

— Чего не поделили, фашистские гады?! — гаркнул он, водя лучом света по полу и стенам подвала. — В чем дело?

Ни чернобородого, ни двух других на середине подвала уже не было, только тело Мартинеса, плоское, неподвижно распласталось лицом вниз да Сережка, плюясь кровью, мычал у стены.

Генка шепотом сказал, тыкая дрожащей рукой в темный угол подвала:

— Товарищ часовой!.. Мартинес сказал, что отец — коммунист. Товарищ часовой... И они... они...

Часовой подошел, перевернул Мартинеса лицом вверх. Из рта у того текла струйка крови.

Часовой нерешительно потоптался, потом приказал Генке и с трудом поднявшемуся на ноги Сережке:

— Выносите! А этим выродкам, — он погрозил кулаком в угол, откуда не доносилось ни звука, — и это — в зачет.

Генка и Сережка перетащили бесчувственное тело Мартинеса в соседнее отделение подвала, маленькое, темное, без лампочки и окна. Посвечивая фонарем и глядя, как мальчишки заботливо копошатся над избитым, часовой с сочувствием спросил:

— Как же так, ребята? А?

Генка вскинулся:

— А вы думаете, мы и правда шпионы?! Дураки слепые!

Сережка молчал, сплевывая кровь.

Часовой поскреб в затылке и ушел, а рано утром мальчишки увидели на пороге своего узлища... капитана Спираки.

— Да! Те оба были рыжие! — сказал Спираки, оборачиваясь к двери. — Это вы приходили к Николасу Кристодуло?

— Ну да! — хрипло закричал Генка. — Вы на «козлике» приезжали!

Спираки повернулся к коменданту.

— Ошибся ты, друже. Я их знаю. Действительно детдомовские. Из Одессы. — И снова оглядел мальчишек, едва различимых в свете фонаря, кивнул на Мартинеса: — Живой?

— Кажется, живой, — ответил Сережка, с трудом шевеля разбитыми губами. — Дышит.

16. ПИСЬМО АЛЕКСЕЯ

Записку мальчишек передали Надежде Васильевне вечером, после ужина; занятая хлопотами, она, не читая, сунула конверт в карман. И только у себя во флигеле достала, всмотрелась и узнала аккуратный почерк Сережки.

Пылало за окнами вечернее небо, сквозь пересеченные бумажными крестами стекла оно казалось раскаленным, но медленно темнело, остывало, словно покрывалось палетом пепла. Скоро, Сгущалась над городом непривычная тревожная тьма. Скоро, вероятно, снова полетят стервятники, снова примутся бомбить порт и береговые батареи, вокзал и военные склады. Снова завоюют пожарные и санитарные машины...

Плотно задернув сделанные из одеял маскировочные шторы, Надежда Васильевна включила настольную лампу, прикрытую газетой, села к столу.

Само письмо не удивило ее. Будь она на месте этих сорванцов, может, и она поступила бы так же. Конечно, вряд ли доберутся до фронта, везде строгости. Даже в Одессе, в двухстах километрах от границы, комендантский час...

Телефон стоял между лампой и стопкой книг. Надежда Васильевна набрала номер областного управления милиции, сказала о беглецах. Раздраженный мужской голос, спросив о приметах, пообещал, что сделает все нужное, попенял, что не усмотрели, не уследили. Мало ли у милиции и без того забот! Потом Надежда Васильевна позвонила Арасели. Та выслушала молча, не перебивая, и сказала в ответ:

— Спасибо, товарищ! Я думала так...

Утром, наблюдая поверх занавески за линейкой, Надежда Васильевна с каким-то новым, незнакомым раньше чувством присматривалась к своим «старшкам» — эти тоже вот-вот исчезнут из Дома. Не возьмет военкомат, не разрешит райком, все равно удерут! Удерут все: и Валерий, и цыганковатый дерзкий Вася Голубев, и белобрысый Алеша Лупан, и другие. Да, кончилась, Надежда, твоя над ними власть, не удержать, не остановить...

После линейки вызвала к себе Неду и в ответ на приветствие молча протянула письмо. Неда читала, и ее красивые, четко очерченные губы сжимались плотнее, щеки наливались румянцем.

— Ты знала? — спросила Надежда Васильевна, когда Неда подняла глаза.

— Нет, тетя Надя.

— Верю... — Надежда Васильевна на минуту задумалась, бережно сложила телеграфные бланки с посланием Рыжих. — Я ведь чего боюсь, девочка... не попали бы они в беду. А? Ни денег, ни документов. Пишут, что отправляются в Москву. Но ведь это тысяча километров! А под Раздельной и у Тирасполя фашисты разбомбили несколько поездов.

— Мне нечего сказать вам, тетя Надя.

Когда Неда уходила, во дворе загремел цепью и радостно взвизгнул Боцман. Выглянув, Надежда Васильевна увидела у ворот Свету Кашугину с чемоданами в руках. За ручку одного из чемоданов держался толстенький темноволосый мальчуган.

Поставив чемоданы, Светлана гладила Боцмана по голове:

— Неужели узнал? Ах ты, песик! — Увидев Надежду Васильевну, с радостным криком бросилась к крыльцу: — Тетя Надя! Родная! Наконец-то я добралась!

И вскоре в комнате Надежды Васильевны рассказывала о своей херсонской жизни.

— И Витя мой в первый же день ушел, — говорила она. — Помирились, попрощались по-хорошему, кто знает, когда свидимся. Он ведь неплохой, тетя Надя, только мать его меня невзлюбила. Ей хотелось сноху богатую, с квартирой да чтобы денег много в дом приносила. А я что? Пирожок ни с чем! Бесприданница! Потом уволилась, я ведь, тетя Надя, там тоже в детдоме работала, собрали мы с сыночком манатки и на пристань. В родной дом захотелось, к вам. Не прогоните?

— Дурочка! У нас Захар Степаныч на войну ушел, мы тебя завхозом и поставим. Теперь у нас ни одного мужчины в Доме.

— Бабья епархия! — грустно поддакнула Ефимьевна.

Светлана озабоченно глянула на сынишку, взгромоздившегося на колени к Ефимьевне.

— Пашенька, ты бы, миленький, слез у тетеньки с коленок, а? Не маленький уж.

— А мне тут хорошо. — Пашка посмотрел на мать исподлобья. — Она теплая.

— Сиди, сиди, Пашенька, — успокоила мальчишку Ефимьевна. — А то хочешь, черноглазенький, пойдем, я тебе Дом покажу. Это и твой дом будет, пока война не кончится.

— Кончится, тогда и папка воротится?

— Все воротятся, миленький, кого смерть милует.

Через полчаса Светлана вымыла в бывшей комнате Захара Степановича полы, разместила в ней свои вещи.

— Вот здесь мы с тобой и будем жить, Пашенька, — приговаривала она, прикрепляя к стене фотографию — голенький Пашка с бессмысленно витаращенными глазами и похожими на сардельки ножками. — Тут, сынок, наш дом.

— С кем ты, Света? — спросила, проходя мимо, Надежда Васильевна.

— А с Пашенькой, тетя Надя. Мне с ним всегда разговаривать хочется.

Надежда Васильевна прошла к себе. Присев к столу, хотела заняться отчетностью — прислали целую дюжину форм, — но опять помешали: Ефимьевна принесла центральные газеты и сложное треугольником армейское письмо. Странное предчувствие шевельнулось в груди, когда Надежда Васильевна взяла

в руки самодельный конвертик. Конечно, мог писать кто-нибудь из бывших воспитанников, ушедших в армию, но при виде знакомо клонившихся влево букв она почувствовала, как сразу потеплело сердце. Неужели Алексей? Неужели вспомнил через столько лет? И как нашел? Ах, да! В «Известиях» называли и фамилию и адрес...

Зачем-то, сама не понимая зачем, заперла дверь, плотно прикрыла окна, чтобы не мешали голоса со двора и со спорт-площадки, и долго сидела у стола, не распечатывая письма.

Может, не читать? Может, не стоит ворошить прошлое, ковырять подсохшие болячки? Ну, а вдруг просит о чем-нибудь, что-то ему надо? Письмо-то ведь с фронта!

Осторожно развернула бумажный треугольник.

«Здравствуй, Наденька! — писал Алексей. — Попала мне в вагоне страница «Известий», где напечатан очерк какой-то Нечаевой о твоём Доме, о тебе, о мальчишках и девчонках, которых растишь вместо нашей Аленки. Я рад, что ты нашла в себе силы и осталась доброй и мужественной, какой была всегда. Да, только такой Дом мог примирить тебя с гибелью нашей маленькой садовницы, тебе пришлось на что тратить свое сердце, свое тепло. А мне нет. Я исколесил всю страну, нет угла, где бы не побывал. Одно время думал, сопьюсь с горя, но водка не давала ничего забыть, ничего не зачеркивала в прошлом. Я искал тебя, Надя! Трижды приезжал в Кунцево, тебя нет, и никто ничего не знает. И дома нашего нет, на том месте эдакая каменная громадина. Сидел на кладбище у могилки, поставил новую оградку, покрасил...

Прости за каракули: все время толкают, кругом шумят, гадают: куда везут, на какой фронт? Уже проехали Курск, и эшелон мчит на юг, все ближе к Одессе, к тебе...

В Курске долго стояли, и я послал тебе переводом все мои деньги, а я их заработал немало: последние два года работал на Шпицбергене, там платят и заполярные, и всякие прочие. Куча денег, девать мне их некуда, не солить же, в конце концов. А в твоём Доме они, глядишь, и сгодятся.

Война застала меня в Москве, куда приехал в двухмесячный отпуск. Только-только собрался в Кунцево, а тут радио — о войне. Несмотря на воскресенье, люди бегут к военкоматам, толнятся у дверей. Правда, кое-где часа через два военкоматы открыли, и тут же началась запись. А я-то на военном учете на Шпицбергене, уехал — не снялся, вроде бы ни к чему.

Но военный билет был при мне, и я убедил комиссара и попал в маршевый эшелон, в нем сейчас и пишу.

Знаю, что пишу бессвязно, но мне так нужно, чтобы ты получила мое письмо. Ведь как ты у меня была, так и осталась на всю жизнь. Глупость? Романтика? Поздние раскаяния? Наверное, все сразу. Я не получу от тебя ответа, потому что не знаю моего будущего адреса, да и вряд ли он будет постоянным, фронт не стоит на месте.

Ну, я не о том хотел, это братва болтает кругом что кому в голову взбредет, но настроение у всех бодрое: «ни одной пяди» и так далее.

Что я тебе еще хотел сказать, Наденька? Война не будет долгой, и, если останусь живой, я приеду к тебе, может, в твоём Доме и мне сыщется дело.

Проехали Киев. На вокзале полно людей, все в спешке, куда-то надо ехать, но пассажирские идут нерегулярно — пропускают эшелоны на фронт. Везут пушки, танки, снаряды. Опуссу это письмо в Виннице, говорят, эшелон там задержится, будем брать уголь и воду...

Ну вот, бумага кончилась, да и писать больше нечего. Хотелось бы сказать тебе, Наденька, «до свиданья», но, наверно, правильнее будет «прощай». Как-никак война. Ну, будь счастлива, и пусть мальчишки твои и девочки не знают беды. Пожелай мне побольше фашистов проводить на тот свет.

Твой Ал.».

17. ПОД КРАСНЫМ КРЕСТОМ

В тот день Надежда Васильевна побывала в городе у Данилы Митрофановича Дикун. Похудевший, осунувшийся, с подпухшими глазами, чем-то необычайно взволнованный, он предупредил, что детские дома со дня на день начнут эвакуировать или морем через Новороссийск, или по железной дороге, по «железку» фашист то и дело бомбит. Дикун сказал еще, что в первую очередь будут эвакуированы тридцать пионерских лагерей, выехавших на запад от города, там опасность наиболее велика.

К обеду она опоздала, чего никогда не случалось раньше; дежурные мыли на кухне посуду. В коридоре флигеля, приоткрыв дверь своей спальни, окликнула Светлана:

— Тетя Надя! Звонили из военкомата!

— О беглецах что-нибудь? — обрадовалась Надежда Васильевна.

— Не сказали. Просили зайти. Комната восемь!

...В военкомате было шумно илюдно, по коридорам сновали военные с бумагами и папками, дребезжали телефонные звонки.

В восьмой комнате Надежда Васильевна застала лысеющего военного в косо сидящем на носу старомодном пенсне. Глянул усталыми, выцветшими глазами, молча кивнул на стул.

— Что у вас?

— Меня вызывали. Наверно, что-нибудь о моих беглецах?

— Каких беглецах? — поморщился командир. — Кто вы?

Надежда Васильевна назвала себя, и военный, в раздумье потеряв переносицу, снова надел пенсне.

— Нет, товарищ Кордунова. О беглецах ничего не знаю, хотя догадываюсь: мальчишки удрали на фронт?

— Да.

— Обычная история! Нет, мы беспокоим вас по другому поводу. Вы по образованию врач?

— Да.

— Вот видите ли, товарищ Кордунова, прибывают сотни, тысячи раненых, а скоро, видимо, будет еще больше. В госпиталях, которые мы развертываем, не хватает врачей.

— Но я не хирург, товарищ военный, а зауряд терапевт.

— И все-таки врач.

— Да.

— Перевязку сделать сумеете? Инъекцию?

— Это любая сестра делает.

В окно наклонно падали солнечные лучи, и за блестящим пенсне полковника Надежда Васильевна не видела его глаз.

— Вы коммунистка?

— По убеждениям — да!

— А формально?

— То есть являюсь ли я членом партии? — Как и всегда, когда приходилось отвечать на этот вопрос, Надежда Васильевна смутилась. — Нет, товарищ военный.

— А почему?

— Да как-то так вышло... — Надежда Васильевна развела руками. — Всю жизнь думала, что самое главное — работать как следует, на совесть. И, состоя в партии, я не могла бы делать больше того, что делала и делаю. И потом, мне кажется, что в партию нужно принимать за особенные, выдающиеся заслуги. А я кто? Рядовой служащий, ничего эдакого не свершила.

— Ну, сие вопрос попутный. Может, так оно и лучше, — непонятно заметил полковник и тут же перебил себя: — Так вот, товарищ Кордунова, придется работать в госпитале.

— А Дом? Как же Дом? — почти закричала, вскакивая, Надежда Васильевна. — Разве я могу бросить Дом? Там же восемьдесят душ! Что вы? Это невозможно!

Военный терпеливо помолчал, пережидая.

— Сядьте, товарищ Кордунова. Придется подобрать замену из своих, — сказал он, вздохнув. — Война, товарищ Кордунова! Война многое сместила и еще сместит с привычных мест. Считайте себя мобилизованной. Вот так... Предупреждаю: госпиталь трудный, но легких сейчас нет. Вот направление, адрес и телефон. Это в Аркадии, поближе к фронту, чтобы не возить через город. — Он отдал направление Надежде Васильевне. — Прошу возможно скорее. Сегодня же. Очень пужны люди. Санитарок и тех нет. С гороно согласовано. — Он протянул Надежде Васильевне узластую веснушчатую руку. — Желаю успеха.

Госпиталь, куда получила назначение Надежда Васильевна, размещался в двухэтажном здании школы на западной окраине города, за Ланжероном.

Вынесенные из классов парты штабелями громоздились под навесом, в углу двора; сожженные солнцем, безвременно увядшие листья акаций осыпались на это кладбище школьного инвентаря. На покатой крыше два паренька махали малярными кистями, вырисовывали красной краской огромный крест.

Надежда Васильевна постояла у ворот, присматриваясь к месту, где ей предстояло работать и жить. Во дворе разгружали санитарную машину, даже на улице были слышны вскрики и стоны.

Машина отъехала. Два санитара пронесли мимо Надежды Васильевны носилки, прикрытые простыней. Она долго смотрела вслед, потом, вздохнув, поднялась по пологим ступенькам.

В лицо ударил запах йодоформа, карболки, хлорки. Разномастные железные койки и топчаны тесно стояли не только в классах, а и в коридоре. На втором этаже, вероятно, лежали «ходячие»: держась за перила и опираясь на костыль, по лестнице спускался немолодой скуластый казах с забинтованной шеей. На двери учительской висела картонная табличка с написанным от руки: «Операционная».

Прислушиваясь к хрипам и столам, Надежда Васильевна осторожно пробиралась между тесно стоявшими койками. Дверь



в операционную распахнулась, и санитарка вынесла оттуда эмалированный таз.

— Где главный? — спросила ее Надежда Васильевна.

Полуобернувшись, санитарка-татарочка показала глазами на дверь:

— Нилза. Апирация.

Надежда Васильевна постояла, не зная, что делать.

— Долгонько они Шукурбека режут, — сказал на ближней койке солдат с обветренным крестьянским лицом, обросшим многодневной черной щетиной. — Чудак человек! «Какой такой канкрэн, говорит, не дам нога резить! Перед самой войной мотоцикол купил, баранчук, говорит, катать туда-сюда буду». Вот тебе и туда-сюда!

Главврач наконец освободился, пожилой, лет под шестьдесят, седой, с засученными по локти рука-

вами. Требовательный взгляд, жестко очерченный, суровый рот, жилистая, морщинистая шея. Выслушав Надежду Васильевну, проворчал, не протягивая руки:

— Вагжанов. Оставайтесь дежурить в ночь. — И выругался, вытаскивая из-под халата пачку папирос: — Черт те что! В городе шестьсот тысяч, а трех санитарок найти не могут!

Надежда Васильевна ответила тихо, словно сама была в чем-то виновата:

— Так ведь, доктор... больше ста тысяч мобилизовано на противотанковые рвы, на Большую Аккаржу, на Мельницы. Нет людей...

— А-а! — раздраженно отмахнулся Вагжанов и, задев полами халата тесно стоявшие кровати, быстро пошел к выходу. Стоя у выходной двери, опершись плечом о косяк, жадно выкурил одну за другой две папиросы и, возвращаясь в операционную, на ходу сказал Надежде Васильевне:

— Идите к старшей сестре, — махнул в сторону бокового коридора. — Готовим этап, почью отчаливает «Пестель». И обя-

зательно дежурить. У меня сегодня двух врачей в санбаты увезли. А взамен — шиш! Словно здесь не госпиталь, а всесоюзная здравница, черт бы их взял!

Так началась для Надежды Васильевны новая полоса жизни. Уходя из Дома, за себя она оставила Светлану Кашугину: как-никак порядки знает, сама в Доме выросла, честная, добрая, заботливая. И в Херсоне в детдоме работала.

Домой Надежда Васильевна попала только через трое суток. Работать в госпитале приходилось и день и ночь, а потом, уже ваясь с ног, уходила к школьной сторожихе, толстой, тумбоподобной тете Соне. Теперь Соня стала не сторожихой, какой числилась до войны в школе, а прачкой, без конца стирала бинты, крутилась стемна дотемна и спала, как и все в госпитале, по три-четыре часа в ночь. Она-то и увела Надежду Васильевну к себе, когда та окончательно выбилась из сил. Это была добрая и печальная украинка, ее единственный сын, «мый Мыкола», учился в Одесской военно-морской спецшколе и сейчас плавал на померном катере, несущем патрульную службу мнях в сорока от берега.

— Воны небо бережуть, — объяснила Соня Надежде Васильевне, поджимая блеклые, но еще красивые губы. — Як фашист загудит в небе — они радиом в город гукают. И тревога. И пэ знаю зараз, чи живой он — тамочки, чи вбили. И как рапетых привезут, все гляжу: не мой ли хлопчик порапетый... — Она накормила Надежду Васильевну кашей, напоила чаем и постелила ей на диване: — Лягай, лягай, милая. Ты аж серая стала. Як пыль на дорози...

Когда на третий день Надежда Васильевна появилась в Доме, ее во дворе окружили плотной толпой ребята:

— Тетя Надя вернулась! Тетя Надя!

И она не могла сдержать слез.

Светлана обрадовалась Надежде Васильевне песказанно:

— Наконец-то, тетя Надя! Ведь на нас обрушилось столько дел! Эвакуация!

Оказывается, накануне позволил Дикун, чтобы готовились, но что именно брать с собой, куда сдавать остальное имущество, оставалось неясным. Дисциплина распалась, мальчишки разбегаются кто куда.

— А о Сереже и Гене ничего? — спросила Надежда Васильевна. — Не звонили?

— Нет, тетя Надя.

— Тревожно! Ой как за них тревожно!

— Да что вы, тетя Надя! Люди-то везде! Кто даст пропасть! Помогая Светлане по Дому, Надежда Васильевна провозилась до вечера, а потом, собрав в чемодан самое дорогое и необходимое, пошла к воротам, здесь ее и догнали запыхавшиеся Неда и Ганя.

Она смотрела в раскрасневшиеся лица и с горечью думала: вот эвакуируют Дом и увидит ли она их еще когда-нибудь?

— Тетя Надя! Мы хотим к вам, в госпиталь! — сказала Неда.

— Что-о?

Она представила себе девочек среди рапелых, покалеченных людей.

— Нет! Нет! Даже речи не может быть! Вы ничем и никому не сумеете там помочь...

— Но мы можем дежурить около рапелых, писать письма, читать газеты, книги... Разве нет? Мы с Ганей ходили на завод Январского восстания, а они не берут. Толика Ботанева и Алешу Лупана взяли — они ростом большие. А нас выгнали: не путайтесь, говорят, под ногами... Ну, тетя Надя!

— А я могу полы мыть, одягу... — сказала Ганя. — Я мамке усегда поможала.

— Нет! Нет, девочки! Это не по вашим силам. Помогайте Светлане. И пока до свиданья. Когда будете эвакуироваться, прибежите ко мне, попрощаемся. Адрес у Светы. Слушайте ее. А я, может быть, буду иногда приходить к вам почевать...

Но выполнить обещание Надежде Васильевне не пришлось. Рапелых привозили с каждым днем все больше и больше.

Еще никогда Надежда Васильевна не видела столько крови. Стать равнодушной к зрелищу человеческих страданий было невозможно, хотя она исправно делала свое ставшее привычным дело. Помогала в операционной, в перевязочной, меняла гипсовые повязки, делала бесконечные инъекции, и под конец дня не оставалось ни сил, ни желания пробираться через затемненный, без единого огонька, притаившийся город.

Ночевала по-прежнему у тети Сони. Перед сном, лежа на диване, уже не таясь, курила, слушала, засыпая, рассказы Сони про сына. «Можь буты, и мый Мыкола от так же бедует», — стирая на кухоньке бинты, приговаривала Соня, и слезы стекали по ее пухлому, расплывшемуся лицу и капали в мыльную пену. И Надежда Васильевна засыпала, слушая глухой и скорбный голос, повторявший без конца: «Мый Мыкола», «мый Мыкола».

Этой ночью привезли две машины тяжелораненых из Новой Килии, и во всех палатах только и разговоров было: еще двадцать четвертого июня наши форсировали Дунай и закрепились на румынском берегу, в Килия Веке.

Надежда Васильевна принимала и размещала раненых и жадно прислушивалась; говорили, что в ту же ночь наши десантники захватили село Пардину в излучине Дуная, откуда фашистская артиллерия непрерывно обстреливала Измаил.

Слухи рождали надежду, что Красная Армия погонит врага, но когда утром Надежда Васильевна после двух часов сна очнулась, в сводке военных действий снова значилось: «Кишиневское направление». Значит, там «его» не остановили, там «он» рвется вперед, видимо намереваясь обойти Одессу с севера.

Тщательно вымыв руки и сполоснув лицо, Надежда Васильевна ела кашу, которую им с Соней давали из солдатской походной кухни, бездумно смотрела в окно. И вдруг, выронив ложку, встала: у штабеля парт под навесом сидели Неда и Ганя.

Она вышла на крыльцо, и, увидев ее, девочки поднялись и молча ждали.

— Вы зачем? — спросила Надежда Васильевна с тревогой. — Эвакуируют? Да?

— Нет пока, — помявшись, ответила Неда. — Но как хотите, тетя Надя, мы не уйдем. Мы должны чем-нибудь помогать... мы...

— Дурочки вы, дурочки... — сокрушенно сказала Надежда Васильевна и вдруг осеклась.

«Сестрица! Родная! Попить! Утку подайте, чтоб вам повылазило!»

И всего три санитарки на два этажа, на двадцать палат!

— Но ведь это ужасно, девочки, — тихо сказала она.

— Тетя Надя, — в тон ей ответила Неда, — мы же знаем, что такое горе...

И опять в ушах Надежды Васильевны зазвучало:

«Сестрица, родная! Не вижу! Ничего не вижу! Больно! Пить!»

Она молчала, всматриваясь в милые девчачьи лица.

— Ну ладно. Я посоветуюсь с Михаилом Макаровичем.

— А он кто?

— Главный. Но я убеждена, не разрешит. Ни за что не разрешит. У него тоже есть дети!..

Главного девочки увидели только часа через два, когда он,

закончив сложную операцию, вышел на крыльцо покурить. Вышла с ним и Надежда Васильевна.

— Вот они! — сказала она, подзывая девочек.

Вагжанов смотрел на Неду и Ганю, но как будто и не видел их — бессонные, измученные глаза в красных прожилках устало щурились. Наконец сказал негромко и глухо:

— Пусть привыкают. Возможно, и не такое придется видеть, возможно, будет и еще хуже.

Надежда Васильевна внимательно посмотрела на Вагжанова:

— А вы слышали, Михаил Макарович, наши заняли Килию Веке. И Пардину. На том берегу. В Румынии. За Дунаем.

Вагжанов с горькой усмешкой покосился на Надежду Васильевну.

— А вы не слышали по радио Минское направление? — И, с силой швырнув в сторону окурков, не оглядываясь, ушел.

Приютила подружек все та же тетя Соня, взяла для них в госпитале два стареньких одеяла, подушки. И будто и не было никогда в жизни Неды и Гани их родного Дома...

18. ИЮЛЬ

Лето первого военного года выдалось на редкость сухое и знойное. Известковая пыль и дым пожаров стояли над городом, земля в степи потрескалась, пыльная горечь и мгла мешали дышать. Особенно тяжело приходилось на рытье противотанковых рвов, люди изнывали от зноя. Воду привозили в уличных поливалках. Теплая, почти горячая, она не утоляла жажды.

Фашистские самолеты налетали десятки раз в день, появляясь то со стороны Днестра, то с моря. Над городом зенитчики и истребители не давали самолетам снижаться, но в черте строительства загородных рубежей, растянувшихся на многие километры, вражеские летчики безнаказанно убивали сотни и тысячи людей.

Сводки Совинформбюро звучали день ото дня тревожнее: Луцкое, Львовское, Минское, Псковское, Бобруйское, Мурманское направления. И только на Южном фронте, на его причерноморском участке, наши войска сдерживали врага на границе. Правда, севернее, где гитлеровским частям удалось форсиро-

вать Прут, танковые колонны армий «Юг» упорно сдвигали линию фронта на восток, к Днестру.

Для Неды и Гани июльские дни проносились словно в тумане. Работы в госпитале прибавлялось, поток раненых увеличивался, и девочки дежурили наравне со взрослыми, пока не валялись с ног.

По ночам из госпиталя увозили в порт раненых, отправляемых в Новороссийск, и, если в группе оказывалось много тяжелых, Неду и Ганию тоже посылали провожать.

Так было и в ту ночь, когда отплывал из Одессы в свой последний рейс «Ленин». Накануне в госпиталь прибежала из Дома Катя Веточкина с запиской Светланы:

«Тетя Надя! Приказ. Завтра на «Ленине» эвакуируют».

Неда и Ганя всполошились: что же, и они должны уезжать с Домом? Но Надежда Васильевна пообещала, что добьется, чтобы их оставили в городе. «Будут эвакуировать госпиталь,— сказала она,— тогда уедем и мы».

Еще до прихода машин раненые, кто мог двигаться «своим ходом», собирались на скамейках у крыльца, дымили ядовитой солдатской махрой. Когда Неда и Ганя вышли на крыльцо, от главного подъезда замахали десятки рук:

— Эй, милосердные!

— Сестрички!

— Дочки!

Многие уезжающие торопились передать лоскутки с адресами, просили, если придут письма, переслать.

Но вот в ворота, переваливаясь на выбоинах, вползли два автобуса и санитарный фургон для тяжелых. Вышел попрощаться и Вагжанов, с изжеванной папиросой в зубах, в памяти той, сбившейся на висок докторской шапочке.

Ночь стояла душная, звездопадная, даже к утру накаленные улицы не успели остыть. До конца комендантского оставалось часа два, по дороге в порт машины останавливал патруль. Особая осторожность диктовалась недавними событиями: накануне в аэропорту Одессы приземлился транспортный самолет с советскими опознавательными знаками и на бетонку с автоматами и гранатами выпрыгнуло десятка три гитлеровцев. Из опроса плененных выяснилось, что им поручалось захватить аэродром и подготовить его к принятию большого, в тысячу человек, десанта. А днем раньше у села Свердлово фашисты сбросили роту парашютистов в красноармейской форме.

В порту, во всех гаванях, скопилось много судов. Над тру-

бами стоявшего у причала «Ленина» сиренево клубился дым. На внешнем рейде, за волполомом, выделялись силуэты миноносцев и канонерок сопровождения.

У причала, где ошвартовался «Ленин», ожидали погрузки тысячи людей, раненых пропускали вне очереди. Надежда Васильевна, Неда и Ганя, провожая своих, почти добрались до трапа, когда мимо пробежал моряк в черной форменке: с началом войны флотские перестали носить белоснежные кителя.

— Саша!

Да, Ястребков! Он обернулся, бросился к Надежде Васильевне, увидел Неду и Гаю. Они его узнали с трудом: Саша почернел и осунулся, глаза ввалились.

— Тетя Надя! — закричал он. — Вы с нами?

— Нет. Провожаем.

— Вы в госпитале?

— Да.

— А девочки?

— Со мной.

Ястребкова окликнули с палубы, и он, обняв Надежду Васильевну и чмокнув на ходу девочек, рванулся к трапу. С нижней палубы оглянулся, перевесился через фальшборт. Голос едва различим в гуле многотысячной толпы:

— В последний рейс... Отпускают на военный!..

Надежду Васильевну окружили детдомовцы, обнимали и целовали — и Светлана со своим черноглазеньким Пашкой на руках, и плачущая старенькая Ефимьевна, приговаривавшая сквозь слезы:

— Да как же, Васильевна? Неужто останешься?

— Надо, Ефимьевна.

Они плакали, обнимаясь, а очередь подвигалась к трапу, и вдруг сзади позвал напряженный гортанный голос Арасели:

— Товарищ Надя! Товарищ Надежда!

Арасель с трудом пробивалась сквозь толпу, за ней краснели пилотки ее пионеров. Наконец протолкалась к трапу.

— Товарищ Надя! Вы... про Мартинеса... что-нибудь узнали?

— Ничего... Ничего, Арасель!

С посадкой торопились, край солнца загорелся над сверкающим морем, перистые облака в зените таяли, исчезали. Гуще задымили трубы военных кораблей, которым предстояло сопровождать «Ленин», запыхтели под носом и кормой теплохода буксиры. С минуты на минуту могли появиться вражеские бомбардировщики.

Чьи-то руки судорожно обнимали Надежду Васильевну, чьи-то губы целовали в щеки, в подбородок, в шею. И она тоже не могла сдержаться слез: ведь уезжал ее Дом, смысл и тепло ее жизни, все, что оставалось у нее дорогого, за что она с радостью жет быть, навсегда. Она глотала слезы, а они снова и снова застилали глаза, душили... И с горечью и тревогой отмечала про себя: ни Валерия, ни Васи Голубева, ни Алеши Лупана нет, наверно, спрятались от эвакуации, сбежали...

Зареванные, с покрасневшими глазами, Неда и Ганя тоже не могли оторваться от подружек. Будто бы и дружбы большой раньше со многими не было, а сейчас кажется, роднее никого нет, так болит, так разрывается сердце!

Трап скрипел и качался, матросы наверху подхватывали под руки стариков и женщин, помогали втаскивать чемоданы и узлы. Медленно-медленно отодвигался от причальной стенки камуфлированный, высокий, как башня, борт, плескалась и пузырилась между бортом и пирсом оранжевая вода.

— Пора, девочки! — позвала Надежда Васильевна, глотая слезы. — Машины уйдут.

— Тетя Надя! — бросилась к ней Неда. — Мы забежим домой! Там Боцман! Он остался... Приведем в госпиталь... Да?

А над морем, километрах в трех от порта, шел воздушный бой: две тройки «ястребков» атаковали появившиеся со стороны Констанцы «хейнкели» и прикрывавшие их «мессеры». Один из вражеских бомбардировщиков, валясь на левое крыло и оставляя за собой сажевую, клубящуюся полосу дыма, падал в море. Серебряный всплеск — и огненная вспышка взрыва. Остальные бомбардировщики повернули на запад: «ястребки» не дали им пробиться к порту.

Надежда Васильевна уехала в госпиталь, а Неда и Ганя побежали к Дому. Там было пусто и тихо, на всех дверях висели замки. Старый пес, встревоженный тишиной и безлюдьем, неприкаянно бродил по двору, скулил у запертых дверей. Когда Неда звякнула щеколдой, он рванулся к ней с истошно-радостным визгом.

В трамвай девочек с собакой не пустили, и они весь путь до госпиталя прошли пешком. Боцман плелся между ними и благодарно поглядывал усталыми глазами.

А в госпитале ожидала новость. Только что разгрузили санитарный автобус, пришедший из Новой Килли, и старшая сест-

ра суматошно носилась из палаты в палату, сердито покрикивая на сбившихся с ног санитарок.

— Да где же вы пропадаете? — набросилась она на Неду и Гаю. — И еще какую-то дохлятищу с собой привели! Зачем она?

— Это Боцман, Нина Гавриловна.

— Боцман! Мне чуть живого капитана привезли! Из Дунайской флотилии. Обе ноги выше колен! А вы — Боцман! — Сестра судорожно шарила в карманах халата. — Да куда же я адрес дела? Просит к другу сбегать, позвать! Ага, вот! — И сестра сушила Неде смятую, вымазанную йодом бумажку и серебряную монету. — На трамвае. Быстро! Где-то возле Греческой! Какой-то Николас Кристодуло. Найдешь!

Неда и Гаия переглянулись.

— Он — грек, этот, без ног?

— Ну, грек! Какая разница? Сказано — быстро!

— А можно мы вместе, Нина Гавриловна? — попросила Гаия.

— Нет! Каждая рука на счету!

На бегу к трамвайной остановке Неда прочитала записку, да, Николаю Аристидичу. Значит, этот, из Дунайской флотилии, капитан Спираки, о котором недавно рассказывал Сережа?

Кристодуло встретил Неду лохматый, непричесанный, седые клоки волос торчали во все стороны.

— Слыхали? — закричал он, как только Неда появилась на пороге. — Шестого оставили Ригу! Девятого — Псков! Под давлением превосходящих сил! Ригу! Псков! Значит, они заняли всю Литву, половину Латвии. Господи, да что же это делается? — Грек с силой стиснул ладонями виски, отбежал к балконной двери и оттуда с удивлением оглянулся на Неду. — А ты? Ты одна?

— Гаю не пустили из госпиталя. — Неда смотрела на Николая Аристидича, не зная, как сказать про Спираки. — Там, у нас в госпитале... капитан...

— Сандро? Спираки? — сразу догадался Николай Аристидич, вскидывая руки над головой. — Приехал?

— Привезли... и он... хочет видеть вас...

По улице до остановки трамвая Кристодуло не шел, а бежал. Неда не поспевала за ним.

Спираки лежал в палате рядом с операционной. Часть коридора перед операционной отгородили, в образовавшемся тамбуре стояли каталки, голубели баллоны с кислородом, блестели никелем аппараты, привезенные из эвакуированного института.

У Спираки лопнувшим на палубе монитора тросом раздробило в коленях обе ноги. Ампутировали в полевом госпитале. Сейчас он неподвижно лежал на спине, до пояса укрытый, несмотря на жару, байковым одеялом, его знобило.

Он не мог привстать навстречу Кристодуло, только повернулся лицом, с трудом шевельнул сухими губами:

— Калимера, старик!

— Калиспера! — Николай Аристидич старательно отводил глаза от одеяла, свободно лежавшего на кровати ниже колени Спираки. — Что же ты? А? Не годится так, старина, не годится! — И, не выдержав фальшиво-бодряческого тона, старый грек по-детски заплакал и обессиленно присел на край койки.

Спираки поморщился, густые черные брови прикрыли угольно блестящие глаза.

— Ну довольно, Николас, перестань, пожалуйста! Не дети! — заворчал он, косясь на соседние койки. — Вита бревис, как выражались древние! Дескать, коротка жизнь! И я доволен: кое-что довелось сделать! Видел бы ты, Николо, как они драпали от нас в Килия Веке!

Николай Аристидич долго вытирал платком лицо.

— Да, да, прости, Сандро, как-то против воли получилось. — И еще больше смутился, увидев у кровати Неду и Ганю: девочки принесли обед.

— Будем есть, товарищ Спираки, — непреклонно, совсем как Нина Гавриловна, распорядилась Неда. — Пока не остыло!

— Ого! — неестественно оживился раненый. — У меня и впрямь, пожалуй, аппетит разыгрался. Но я сам, девочки, сам!

Молча, покусывая ус и жадно ощупывая в кармане трубку, Кристодуло смотрел, как Спираки, держа под подбородком тарелку, с деланной старательностью хлебал гороховый суп, как облизывал после каши ложку... Что ж, может, старина и прав — жизнь без ног лучше небытия. Было бы пострашнее, если бы остался без рук или без глаз. Жили же люди... вспомни «матрачную могилу» Гейне, Николая Островского...

Убрав посуду, стряхивая с одеяла хлебные крошки, Неда смело спросила:

— А скажите, товарищ капитан... вы не встречали там мальчишек? Рыжие такие. Сережа и Генка. Они убежали. Хотели в Москву, но вряд ли удалось, фашисты разбомбили железную дорогу... И мы подумали...

Спираки оживился, глаза заблестели ярче, запекшиеся губы скривила улыбка.

— Рыжие? Один длинный, вихрастый, другой пониже? Да?.. Ну как же, как же! Но позвольте, в подвале их было трое! У одного тяжелое сотрясение мозга. Пролом черепа!

— Да, конечно, трое,— поспешно кивнула Неда и оглянулась на Ганю.— Я забыла про Марта... А у кого... пролом черепа?

19. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕГЛЕЦОВ

«Сейчас ночь, а я никак не могу уснуть и решила записывать все, что случается,— может, после войны будет интересно прочитать, если буду живая. Тетя Соня дала мне чистую тетрадку Мыколы, а сама на кухне стирает. А Ганя спит.

Я никогда не думала, что так тяжело будет прощаться с нашими. Все плакали, даже мальчишки. Ведь за эти годы мы стали по-настоящему родные. Когда «Ленин» ушел, мы с Ганей побежали в наш Дом за Боцманом. Он обрадовался и лизал нам руки. Мы нашли спрятанный ключ, про который сказала Светлана, и через черный ход вошли. И было так странно, что в Доме пусто и не слышно голосов. Стоят голые кровати; простыни и одеяла сняли, а матрацы оставили, наверно, потому, что тяжелые. Кто-то будет потом на них спать? Может, и в Доме устроят госпиталь, ведь раненых везут и везут без конца. А рояль, на котором я любила играть, стоит в углу, как сирота. В комнате для занятий написано мелом на классной доске: «Прощай, дорогой Дом! Мы тебя никогда не забудем!» Боцман ходил за нами из комнаты в комнату, скулил и выл. И было тоскливо и грустно, будто мы кого-то похоронили.

В музее тоже ничего не осталось, в гавани ребята сказали, что все экспонаты заколотили в ящик и закопали в парке. И большой портрет Ленина, который висел в зале, вынули из рамы, теперь на том месте светлое пятно.

Потом мы ушли. Боцман не мог бежать быстро, и мы еле плелись. А когда закрывали ворота, почтальонша Люда отдала нам для тети Нади перевод на шестнадцать тысяч рублей.

На Пушкинской улице, у дома, где жил Александр Сергеевич, нас обогнали конные солдаты, наверно, тысяча или две. Многие в старинных буденовских шлемах с красной звездой, какие мы видели в кино. Около дома Пушкина командир повернулся и что-то крикнул, кажется, равнение, что ли, и солдаты

повернули головы и смотрели на дом. А за солдатами провезли пушку, на дуле у нее была фанерка с надписью: «Она стреляла по Одессе. Больше не будет!»

А возле кино к нам неожиданно подошел Яша Гордиенко. Мне кажется, он обрадовался, что встретил нас. Мы посмотрели фотографии кино, и я сказала, что такие картины, как «Чапаев» и «Бронепосец Потемкин», надо показывать красноармейцам перед боем. И Яша согласился.

Он пошел нас провожать («А вдруг опять Жоркины турки!» — сказал он) и по дороге рассказывал про похороны матроса Вакуленчука с бронепосца «Потемкин». Оказывается, на Нежинской улице, рядом с Яшиным домом, живет старый матрос, он на пенсии, но хорошо все помнит. Убитого Вакуленчука положили в палатку на Новом молу и рядом бескозырку — в нее бросали деньги для революционеров.

Тогда в Одессе бастовало много грузчиков и рабочих. Они хотели похоронить Вакуленчука с почетом, но полиция выпустила из тюрьмы хулиганов и бандитов, и они грабили в порту склады и были все пьяные от разграбленного вина. А потом буржуи объявили, что грабят рабочие, и послали в гавань казаков. Подожгли эстакаду, и из гавани стало невозможно уйти. Загорелись вагоны на железной дороге и пароходы, горело даже море, потому что из разбитых складов в море лилось много бензина и спирта. И от жары в складах расплавился сахар и тоже тек в море, и рабочие падали в горячий сахар, обжигались и умирали. А некоторые бросались в море, но море от бензина и нефти тоже горело, и люди все равно погибали. Утром убитых и сгоревших увозили по железной дороге на платформах. А тех, кто попал в сахар, когда сахар застыл, трудно было вытащить, и сахар рубили кирками и топорами, как будто лед.

Матроса Вакуленчука все-таки похоронили на другой день с почетом и знаменами; его палатка, где он лежал во время пожара, не сгорела, ее очень берегли. Это было в революцию пятого года, и я теперь понимаю, какие бесстрашные были революционеры...

Мы слушали Яшу и даже не заметили, как дошли до госпитали. Тут Яша сказал: «Ну, теперь я знаю, где вы, и обязательно приду». А Нина Гавриловна ругала нас за Бодмана и что долго ходили...

Сама не понимаю, зачем пишу про Вакуленчука, который жил тогда, когда нас еще и на свете не было? Зачем? Мне хочется писать про Сережу, хочется, чтобы о нем кто-то говорил,

а я пишу про то, что было давным-давно. Про Сережу я почему-то и писать не могу. Да и что писать? Капитан Спираки сказал, что череп пробили не Сереже, а Мартинесу, значит, Сережа жив! И, может быть, я когда-нибудь увижу его. Как я несправедливо, как нехорошо к нему относилась, сердилась за какие-то мальчишеские секреты! Теперь бы я и слова не сказала! Да пусть себе секретничает, только бы живой. Ведь там, в Измаиле, куда они повезли Марта, фашисты непрерывно бомбят. Ах, какая дура, какая дура...

Сегодня мы помогали тете Соле переносить в подвал книги из школьной библиотеки, чтобы они не пропали, и я взяла книжку про Жанну д'Арк. Мне давно хотелось ее прочитать, чтобы доказать Сереже и Генке, что и женщины могут быть смелые и сражаться с врагами. Жанну сожгли на костре, по она не кланялась палачам и не просила пощады. А ведь это, паверное, очень страшно, когда тебя привязывают к столбу и разжигают под тобой костер...

Я читаю эту книгу вслух легкораненым на втором этаже, когда есть время. И все слушают внимательно и вспоминают Тараса Бульбу, которого тоже сожгли.

Вот если вернутся Сережа и Генка, я обязательно дам им эту книгу. Тогда даже задаваке Генке нечего будет возразить...

Нет, не могу, не могу писать!

Сегодня Надежду Васильевну вызывали в гороно, к Дикуну, и она вернулась оттуда белая как бумага. Там сказали, что теплоход «Ленин» погиб и многие, кто на нем ехал, утонули или их убили проклятые фашисты с самолетов. Тетя Надя поседела, еле держится на ногах; ее ветром качает из стороны в сторону. А я пишу и ничего не вижу из-за слез, и мне хочется выть, как вчера ночью выл Бецман. Ница Гавриловна опять ругала нас, что он беспокоит раненых, не дает спать. Она приказала увести собаку прочь, и мы увели Бецмана за сарай, привязали там и постелили сена и старую телогрейку, он на ней спит. А солдатик-повар дает Бецману костей и каши, но кости Бецман не хочет грызть, паверно, у него больные зубы...

Я не могу больше писать. Закрываю глаза и будто вижу, как наши мальчишки и девочки плавают, а над морем летают фашисты и стреляют в них».

Спрятав тетрадь под матрац, Неда осторожно, боясь разбудить Ганю, поднялась, вышла на крыльцо...

Пожары в наступающей тьме освещали западную половину неба; тучи дыма, подсвеченные невидимым огнем, громозди-

лись на горизонте, словно ожившие вулканические хребты. Самолетов — ни наших, ни вражеских — не было слышно, молчали зенитки, не гудели моторы автомашин. Тишина. Только за госпиталем деловито постукивал движок — бурили артезианскую скважину. Три дня назад по городу расклеили приказ о нормировании воды. Если врагам удастся захватить Беляевку, краны в домах опечатают и воду будут выдавать через уличные колонки — пять литров на человека в день.

Сквозь затемненные окна операционной пробивался свет — там нес свою вахту измученный и бессонный Вагжанов. Жара днем стояла такая, что работал он у операционного стола босиком.

Синяя лампочка едва светилась под козырьком главного входа школы. Бездумно глядя на нее, Неда села на ступеньку крыльца. Наверно, в начале ночи, когда она задремала, в госпиталь привезли новую партию раненых, сквозь сон слышала шум моторов, приглушенные голоса. Сейчас думала: наверно, сестры и санитарки сбились с ног, надо пойти помочь. Но тело было налито неодолимой, непомерной усталостью, и она продолжала сидеть неподвижно, слушая сквозь дрему ритмичное постукивание движка на буровой.

Окончательно разбудил ее скрип двери главного входа, там в ночной темноте высветился едва различимый четырехугольник, видимо, кто-то вышел. Может быть, кто-нибудь из «ходячих» — покурить, подышать ночной свежестью после затхлого воздуха палат, пропитанного запахами антисептики и лекарств. Или замученная санитарка — постоять, закрыв глаза и прижавшись плечом к стене.

Там, у главного входа, еще не было сказано ни слова, не раздавалось ни одного звука, который помог бы ей узнать того, кто вышел, а Неда уже вскочила и, прижимая к груди руки, бежала туда, где под навесом крыльца смутно вырисовывались две тени. Подбежала и остановилась впризу, с трудом переводя дыхание.

— Сережа?

Отозвался Генка:

— Гне-е-дая? — Почему он назвал ее так, как называл ненавистный им всем Жорка, Генка и сам не мог объяснить.

Но она не удивилась и не обиделась. Стояла впризу, стараясь рассмотреть в полутьме лица мальчишек.

— Здравствуй, Сережа.

Одна из теней метнулась навстречу — Сережка. И странно:

на ровном месте споткнулся и чуть не упал, вероятно, это и помешало броситься к Неде, схватить ее за руки, может быть, обнять. А через секунду первый порыв чувства прошел, и Сережке стало стыдно «развешивать сопли» при Генке, который, конечно же, не упустил бы случая ядовито усмехнуться. И, поднимаясь с колен, потирая ушибленное место, Сережка поздоровался, как обычно, словно и не было разделявших их трудных дней:

— Привет, Неда.

Ей передалось его состояние, и чувство радости, охватившее ее, не посмело выплеснуться паружу, а остановилось, задержалось в ней. И у нее хватило сил повторить почти спокойно:

— Здравствуй, Сережа.

Потом сидели в комнатухе тети Соны, с непонятным смущением разглядывая друг друга при свете коптилки — свет выключили по всему городу. Сережка молчал, Генка рассказывал об их похождениях, тетя Соня ахала и причитала.

Ганя слушала, сидя на кровати с поджатыми ногами и испуганно полуоткрытым ртом. Неда украдкой рассматривала погрубевшее и похудевшее лицо Сережки, он изредка мгновенно и ласково взглядывал на нее. И Неде казалось, что она читает в этих взглядах раскаяние и просьбу: ты прости, что я иногда обижал тебя, заводил какие-то дурацкие секреты, больше этого никогда не будет.

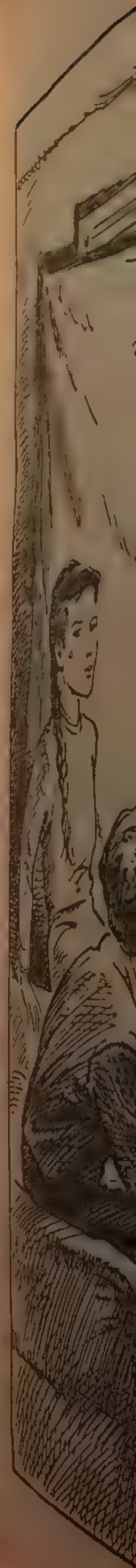
— Ах, бедолаги, бедолаги! — вздыхала тетя Соня.

Генка рассказывал увлеченно, размахивая руками, в его передаче все выглядело ярко, словно в цветном кино: и смерть Анны у костра, и пикирующие «мессершмитты», и пленные фашисты на переправе в Овидиополе, и теленок, заброшенный взрывом на дерево, и подвал, где фашистские шпионы чуть не убили Мартинеса. Сережка раза два со смущенной улыбкой пытался умерить Генкино красноречие, но тот только отмахивался:

— Не мешай, Бес!

С особенной жадностью слушали девочки рассказ о победах частей Красной Армии в Килия Веке и Пардине, — на фоне тревожных сводок Информбюро, передававшихся по радио, это вселяло, возрождало надежду, что фашистов вот-вот остановят и погонят с нашей земли.

Да, это казалось очень обнадеживающим, говорило за то, что война скоро должна «переломиться», как выразилась тетя Соня. Ведь наши не только защитили государственную границу





по Дунаю, но на пятый день войны оба берега Килийского гирла Дуная, от Черного моря до мыса Сатун-Ноу и еще немного севернее, были заняты советскими войсками. Они воевали на вражеской земле почти месяц, до 19 июля. За это время фашистские армии, наступавшие выше, местами прошли до шестисот километров, заняли Кишинев, Минск, Житомир, Витебск. И лишь тогда, когда танковая петля должна была вот-вот захлестнуться вокруг Одессы, командование Особой Приморской армии приказало Чапаевской дивизии, сражавшейся на Дунае, отступить от государственной границы; теперь она удерживала фронт на подступах к Одессе в районе Беляевки.

Не заметили, как пролетела ночь. Под утро пришла с дежурства Надежда Васильевна, и Генке пришлось многое из своего рассказа повторить. Позже все вместе пошли в госпиталь к Мартинесу, Сережку и Генку отправили вместе с ним на санитарной машине, хотя они и не были ранены. «Чтобы не путались здесь под ногами эти пацанята!» — сердито прикрикнул распоряжавшийся эвакуацией командир.

Мартинеса в Измаиле остригли наголо, иначе невозможно было наложить швы, сейчас его худое, заострившееся лицо было неузнаваемым. Глаза смотрели почти без выражения.

— Не бусно... Но! Но! — бормотал он. — Плохо... Нет, нет!

Надежда Васильевна и четверо ее питомцев стояли возле койки. На вопрос Неды, что сказал врач, Надежда Васильевна развела руками:

— Тяжелое сотрясение мозга. Его и везти противопоказано! Нужны покой и время.

О гибели «Ленина» ни у девочек, ни у Надежды Васильевны не нашлось мужества сразу сказать беглецам. И только утром, когда пошли трамваи и Сережка с Генкой собрались поехать в город, в Дом, Неда и Галя обе заплакали, а Надежда Васильевна тихо сказала:

— Нет нашего Дома, мальчики. Нет.

— Как это нет? — удивился Генка. — Эвакуировали? А как же вы? — Он с недоумением смотрел то на девчонок, то на Надежду Васильевну. — Вы почему?

— Погибли! Все погибли! — закричала вдруг Неда и, захлебываясь, обхватила руками шею Надежды Васильевны.

Мальчишки, потрясенные, молчали.

Было невозможно представить себе белую камуфлированную громадину «Ленина», погружающуюся в пучину. А фа-

шистские самолеты, наверно, кружились над гибнущим судном и стреляли из пулеметов и сбрасывали на палубы бомбы.

И все же утром Рыжие отправились в город. Пошел третий день, как Николай Аристидич не появлялся в госпитале, а ни у девочек, ни у Надежды Васильевны не выдавалось свободного времени навестить старика.

— Видно, что-то случилось, — сказала Надежда Васильевна. — Ведь не мог же он ни с того ни с сего забросить своего друга. Я говорю о Спираки. Может, ему нужна помощь? Он же там один как перст!

И мальчишки отправились.

Город они не узнавали. Веселая, белокаменная Одесса... Ее стены были заляпаны черно-зелеными пятнами и полосами, даже асфальт многих улиц и площадей покрыт уродливыми пятнами камуфляжа, словно расползлись по городу огромные отвратительные лишай. Из зелени парков и скверов торчали в небо дула зенитных орудий.

Сережка и Генка долго стояли у распахнутых ворот Дома. Здесь, где прошла, может быть, лучшая пора их жизни, все выглядело неузнаваемо; колонны и стены дома и флигеля забрызганы бурой краской, к голове одного из каменных львов у подъезда прислонены больничные носилки, на баскетбольной площадке скособочился автобус, тоже небрежно вымазанный серой краской. Но ворота в парк по-прежнему закрыты.

— Даже не похоже, что мы здесь жили, — вздохнул Генка. — Госпиталь тоже, что ли?

— Наверно.

Николай Аристидич встретил Рыжих радостным криком, будто и не было между ними размолвки перед побегом мальчишек. Он сидел на тахте, толстая забинтованная нога лежала перед ним на стуле.

— А-а-а! — закричал он с иступленной радостью, потрясая над головой тростью. — Живые! Вы живые, малышня моя дорогая! И вы не забыли вашего старого грека?

Попытался приподняться с кресла, но не смог, с искривленным от боли лицом снова сел и яростно постучал палкой в пол.

— Черт побери! Представьте себе, малышня: не могу ходить. И сие обрушилось на несчастного грека как раз тогда, когда нога особенно необходима!

Кристодуло пытался шутить, но в усталых коричневых глазах, в самой их глубине, росло беспокойство. Оказывается,

его мобилизовали на строительство укреплений за Татаркой и в первый же день при разгрузке автомашины железной балкой, свалившейся из кузова, ему отдало ногу. На той же злополучной машине Кристодуло привезли в город, ногу перевязали, но в больнице он остаться не захотел, думал, пройдет, вернулся на свою верхотуру. Но рана не заживала, опухоль росла. И все больше и больше мучили Николая Аристидича мысли о Спираки: как он, что с ним? Может быть, уже эвакуировали? И — беда за бедой — соседка с нижнего этажа, помогавшая ему по хозяйству, эвакуировалась с заводом, на котором работала. Старик и правда остался один как перст. Иногда, преодолевая боль, спускался, кое-как добирался до булочной.

— А сегодня... если бы вы не явились, прямо не знаю, что бы с вашим греком и случилось! Так что бог, наверно, малышня, есть!.. Ну и хватит обо мне! Выкладывайте ваши новости!..

Слушал, хмурия седые брови, непрерывно куря, теребя бороду, что-то невнятно бормотал. О гибели «Ленина» он уже слышал. Но что именно на нем эвакуировали воспитанников Дома, не знал. Долго молча курил, глядя в окно, на глазах у него блестели слезы.

Потом пили кое-как согретый на керосинке чай, прислушиваясь к шумам города, ожидая, что вот-вот завоют сирены. А безмятежное море за балконной дверью сияло и плавилось под солнцем. И сизые силуэты сторожевых кораблей, припаянные к горизонту, дрожали в раскаленном, струящемся мареве...

20. ТРЕВОЖНЫЕ БУДНИ

Надежда Васильевна ассистировала при операциях, делала перевязки, инъекции, принимала раненых, отправляла в эвакуацию. Но думала при этом не об умерших и не о тех, кто, поправившись, снова отправлялся воевать, а о своих девчонках, о том, что их ждет. Сразу же после отъезда Дома кляла себя последними словами, что позволила им остаться. «Только я одна буду виновата, если случится несчастье». Но когда пришло известие о гибели «Ленина», что-то как бы перевернулось в ней. И теперь просто не знала, что делать. Отправить? Нет?

Конечно, можно отправить: каждый день уходят к Новороссийску то «Пестель», то «Фабрициус», то «Армения». Но, допустим, из Одессы уйдут благополучно, море здесь свободное

от вражеских мин. Видимо надеясь вскоре захватить порт и город, немцы не минировали подходы к Одессе. Но, по рассказам моряков, под Новороссийском и Севастополем море так густо забросано акустическими и магнитными минами, что на них чуть ли не ежедневно подрываются транспорты и корабли. «Ну, настоящий на своем, девочки уедут и...»

А обстановка становилась по-настоящему грозной. Танковые колонны врага охватывали Одессу полукольцом с севера, угрожая прорваться к морю восточнее города, за Аджалыкским и Тилигульским лиманами.

Думая обо всем этом, Надежда Васильевна уснула, сидя за столом в дежурке. Сон был чуткий, прозрачный, в него проникали и стоны в коридоре, и шум шагов, и поскрипывание колес каталки. Когда проснулась, рядом на табуретке сидела Неда, смотрела сочувственно и вопросительно.

— Что, девочка?

— Я хотела спросить...

— Ну, спрашивай.

— Что такое аналой?

Надежда Васильевна изумленно потрясла головой, прогоняя остатки сна.

— Аналой? Зачем тебе?

— Я сейчас читала в палате наверху стихи Блока. Там слова... «И вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя, как молодость мою». И меня молоденький раненый спросил: «Аналой — это что?» А я не знаю.

Надежда Васильевна не смогла удержать улыбки.

— Аналой? Ну, тумбочка такая в церкви.

— А для чего?

— Как бы тебе объяснить... Раньше тех, кто венчался, по три раза обводил вокруг аналая, обряд был.

— Как странно! И что же, считалось, от тумбочки свадьба будет лучше, счастливей?

— Пожалуй, да.

— Глупости какие!.. А вы совсем не отдохнули, тетя Надя. У вас черные круги под глазами.

— Пустяки... Мальчишки явились?

Надежда Васильевна не могла не заметить, как ожила Неда после возвращения Сережки. «Может, именно так и начинается то, что мы, взрослые, называем любовью?»

Во дворе заурчала автомашина, слышались голоса. Надежда Васильевна встала, поправила растрепавшиеся волосы.

— Опять! Ты иди, девочка, отдохни. А мне припимать...

— Я помогу.

Привезли раненых, работавших на рытье противотанкового рва у Гнилякова. Среди них обращал на себя внимание огромный бородатый старик. В разорванном вороте рубахи желтел золотой нательный крест.

— Ты что, докторица, на крест пялишься, ровно крещеного человека отродясь не видела? — спросил старик Надежду Васильевну задыхающимся басом. — Ну начисто обезбожела Россия!

Она перевязала простреленное в трех местах плечо, поражаясь, что человек, прошитый насквозь тремя пулями и потерявший много крови, все еще в сознании. И боли он, казалось, не чувствовал, не стонал, не морщился, лишь щурил узенькие, пронзительные глаза. И звали его — потрепанный паспорт лежал в нагрудном кармане — по-старинному: Флегонт Сысоевич Пушкарь.

— Такая у нас от прадеда фамилия пошла, — объяснил он Надежде Васильевне, пока она перевязывала его и заполняла карточку. — Начиная с царя Петра пушки всей семьей на оружейном лили. Не слыхала? Знатная фамилия, кого хошь из исторических людей спроси. И могутной все народище был, богатыри! А я вот напоследок... при кладбище состоял...

От потери крови Пушкарь слабел, упрямые литые скулы и лоб покрывались неживой алебастровой белизной.

Часа через два он снова потребовал к себе Надежду Васильевну, и когда Неда позвала ее, оглядел потускневшим глазами.

— Слухай, чего скажу. В ночь помирать стану. И надо последний приказ... сделать...

— Да что выдумываете?! — рассердилась было Надежда Васильевна, но старик строго перебил:

— Тш! Не болтай! Слушай сюда... В кармане у меня в штанах ключ от берлоги, ну, от сторожки при кладбище, где жил. Как старуху закопали в третьем годе, я в одиночестве пребывал. Так вот. В берлоге моей, в переднем углу, в ящике иконы большой, — деньги... Тысяч двадцать пять с мелочишкой, все, что нажил. Ну, мелочь — на поминки могильщикам, друзьям моим, на пропой, сказать, души. А остальное — в армию, на самолеты аль на танки. Такая моя последняя воля на земле. — Пушкарь вздохнул и с каким-то детским, удивленным вниманием посмотрел в окно, где шелестела подсохшей листвой ака-

ция.— Жалко, не довелось ни одну фашистскую гниду удушить. Тоскуют у меня руки по чьему-то горлу поганому.

Надежда Васильевна слушала замедляющуюся речь раненого и думала: нет, нельзя победить таких!

— Запомнила? — спросил старик совсем тихо, не открывая глаз.— Пошли кого, ежели самой недосуг. В иконе... в большой... А теперь ступай, мое время... И еще: отгороди меня от живых.

К вечеру Пушкарь умер, и на следующий день Надежда Васильевна послала Сережку и Генку на кладбище, взять из сторожки деньги и отнести с ее запиской в гороно Дикуну.

— Вы знаете Данилу Митрофановича, толстый такой, с усами, бывал у нас. И еще вот... — Она отдала мальчишкам денежный перевод на шестнадцать тысяч рублей.— Тут и доверенность. Пусть сам получит и внесет в фонд обороны... Поняли?

До кладбища добирались часа два, пришлось пережидать тревогу. День был душный и пыльный, в порту горели склады, пылало на Пересыпи, тяжелым, желтым дымом застилало солнце.

Мальчишки посидели на скамеечке неподалеку от сторожки Пушкаря, боясь, что кто-нибудь помешает. Но в этой старой части кладбища было безлюдно.

Пудовый висячий замок открылся легко, из темного зова избушки пахнуло застарелым запахом давно не проветривавшегося жилья. Вошли, прикрыли дверь, долго всматривались, привыкая к полутьме,— окна занавешены. Наконец из переднего угла, из массивной позолоченной оправы, на мальчишек со скорбным удивлением проглянула сквозь тьму большеглазая женщина с голеньким младенцем на руках.

— Она! — сказал Генка.— Самая большая.

Икона была вставлена в деревянный ящик, между дном ящика и иконой и хранил покойный свои сбережения, красные тридцатирублевки, сложенные аккуратными пачками и завернутые в провощенную бумагу. Дрожащими руками мальчишки переложили деньги в специально припасенную сумку: никогда в жизни не видели такую уйму!

Данилу Митрофановича Дикуна отыскиали в гороно без особенного труда. Он сидел один в просторной комнате с шестью канцелярскими столами, под портретом Надежды Константиновны Крупской. Еще висели на стенах какие-то многоцветные графики и календари, но уже веяло здесь нежилым запустением, как в оставленном хозяевами доме.

Выслушав мальчишек, Дикун долго и как бы даже с уважением разглядывал пачки денег, перечитывал записку Надежды Васильевны, лицо у него было озабоченное и утомленное.

— Лады, хлопчики, сделаю все, как она пишет, — проговорил он наконец, спрятав деньги в стол и вскидывая на ребят взгляд воспаленных, с красными белками глаз. — Это вы, что ли, на фронт бегали, неслухи? Ремня бы вам доброго за то всыпать, чтобы дисциплину пионерскую да комсомольскую уважать выучились! И от эвакуации сховались, приказа не выполнили! — И вдруг мгновенная тень как бы накрыла его доброе лицо, вспомнил, наверно, о гибели «Ленина». И встал, прошел по комнате из угла в угол. — Ладно... Передайте Васильевне: срочно повидать ее треба. Разговор есть...

— Хорошо, Данило Митрофанович.

На обратном пути на Дерибасовской встретили Яшу Гордиенко, он осунулся, похудел, но глаза по-прежнему были веселые и живые. Рассказал, что шесть раз ходил в военкомат, но оттуда отсылают в горком комсомола, а там и слышать о фронте не желают: в городе, дескать, нужен. У тебя же, говорят, опыт: в спецшколе комсормом полгода проработал.

— Вот так и рыбачим! — пожал Яша плечами. — Не подчинись, грозят, комсомольский билет на стол! Уж куда дальше!

— А работаешь где? — спросил Генка.

— На Январке. Слесарничаю. Сначала с винтовками занимались — оружия-то не хватает. Ну, а на складе учебные винтари. Вообще-то они справные, только патронники у них про сверленные. Мы дыры эти заклепывали. Зараз бьют как миленькие. Ну, еще вагоны обшиваем броневыми листами, бронепоезд, значит, получится. И танки из тракторов будто собираются налаживать. Обшить «путиловец» броневым листом, пулеметы на него присобачить, и все, воюй! У нас на заводе смеются: танки «НИ» — «на испуг», значит. — Яша покосился из-под козырька на солнце. — А чулы, братва? Кожи-то из милиции все-таки, гада, выпустили. Не до таких теперь, видно. Опять выламывается по улицам. Ну, доберемся, ежели не уймется, посчитаем лошадиные зубы!

Когда прощались, Яша передал привет Неде.

На полдороге домой Рыжих снова застигла воздушная тревога; с полчаса, если не больше, просидели в бомбоубежище на улице Восьмого марта. С запада донеслось с десятков сильных взрывов, и мальчишки озабоченно переглянулись: бомбы падали в стороне госпиталя.

Действительно, когда добрались «домой» — так волей-неволей приходилось называть приютивший госпиталь, — на улице еще дымилась кислым дымом воронка. Случалось и раньше, что фашистские асы бомбили госпиталь, несмотря на красный крест на его крыше. «А может, эта нечисть как раз из-за креста и бомбит? — предполагал Вагжанов. — От них всего ждать!»

Бомбежки в госпитале переживались трудно. Унести всех раненых в подвал при каждом налете не представлялось возможным, поэтому все, и больные и персонал, оставались на своих местах. По счастью, и сегодня ни одна бомба не попала в школу: одна разорвалась на улице, неподалеку от ворот, другая разнесла буровую артезианскую скважину на задворках и выхлестнула взрывной волной стекла в западной стороне дома.

Незадолго до налета в госпиталь явился Николай Аристидич, навестить Спираки. Опухоль на ноге понемногу спадала, и Наш Грек, преодолевая боль, отважился на долгое и мучительное путешествие.

Во время бомбежки сидел возле Спираки, и два грека, под грохот взрывов, с деланной беспечностью разглагольствовали о всякой всячине. Спираки рассказывал о своем мониторе, об экипаже, о боях.

К вечеру нога у Николая Аристидича снова разболелась и распухла, как колода, нечего было ему и пытаться путешествовать по городу. Надежда Васильевна увела его ночевать к Соне. Постелив на диван простынку, села у стола и молча смотрела, как грек жадно глотает ячменную кашу: Соня раздобыла для него мисочку в госпитальной кухне.

Девочки ушли на дежурство, мальчишки сидели около Мартинеса, разговору Николая Аристидича и Надежды Васильевны никто не мешал.

— Знаете, Надежда, — задумчиво сказал Николай Аристидич, передвигая по столу пустую эмалированную мисочку. — Последнее время я почему-то очень стал вам завидовать...

Она посмотрела с удивлением.

— Чему бы, Николай Аристидич?

— У вас есть дети! Ваше, как я его называю, Созвездие Надежды — двое мальчишек и две девчонки. А мне до того остро чертело одиночество, иногда волком выть хочется! Не к кому в трудную минуту прислониться душой, Надя.

— Ну зачем же так, Николай Аристидич? — с грустным упреком возразила Надежда Васильевна. — Ведь все мои ребята

тишки в какой-то степени и ваши. Разве вы не вложили в них часть своей души? И они вас по-настоящему любят.

— Да, конечно! — Николай Аристидич покачал головой, пыхивая трубочкой. — И все же... одиноко мне, Надя... Как ни странно, я, учитель физики, больше всего как предмет преподавания люблю историю. История — летопись извечного, нескончаемого поединка добра со злом... И в этом поединке, как мне кажется, я сделал ужасно мало, почти ничего. И даже сейчас, в нынешнем жесточайшем сражении, я, по прихоти моей идиотской судьбы, не принимаю участия.

Николай Аристидич с ненавистью посмотрел на свою распухшую забинтованную ногу.

— А разве вся ваша учительская жизнь не была поединком добра со злом? А? Зачем вы обижаете себя? — Надежда Васильевна утомленно покачала головой и встала. — Пойду, сегодня много тяжелых. А вы спите, дорогой Наш Грек! И не мудрствуйте лукаво... Я верю в то, что то доброе, которое живет в нас, мы с вами в какой-то степени сумели передать им... нашим детям... И да будут они живы и счастливы...

21. АЛЕКСЕЙ КОРДУНОВ

В начале августа, подтянув к Одессе две свежие румынские и одну немецкую дивизии, фашисты прорвались к Черному морю в обход города, между Большим Аджалыкским и Тилигульским лиманами. Приморская армия отошла на новый рубеж: Каролино-Бугаз, Бриновку, Старую Вандалинку, Павлинку, Буялык, Александровку.

Сначала фашистское командование назначило день взятия Одессы на десятое августа, потом Антопеску «перенес» парад войск на Соборной площади Одессы на двадцать третье. И вот август катился к концу.

Восьмого августа Одесса была объявлена на осадном положении. Полностью эвакуировали или переселили в западные районы города жителей Пересыпи: если натиск с востока станет неодолимым, дамбы Куяльницкого и Хатжибеевского лиманов придется взорвать, Пересыпь затопить...

Перебирая в памяти события последних дней, Надежда Васильевна брела по знакомым улицам, узнавая и не узнавая их. То и дело натыкалась на дымящиеся развалины, на обглодан-

ные пожаром стены; баррикады и надолбы загромождали дорогу.

В горисполкоме, в гороно — безлюдно. Дикун сидел один, комната выглядела непривычно просторной. Лицо у Даниила Митрофановича похудело и потемнело, но глаза смотрели, как всегда, доброжелательно и светло. Он встал навстречу Надежде Васильевне, стиснул руку.

— Ну, як вона, життя? Тяжко? — Усадил на диванчик и грузно опустился рядом. — Молчи, молчи, знаю! В городе зараз двенадцать тысяч раненых. Каждую ночь по тысяче на кораблях грузим — не убывает!

— Зачем звали, Данило Митрофанович? Времени у меня мало.

— Да, да... — Дикун бережно взял руку Надежды Васильевны и, словно согревая, подержал в широких теплых ладонях. — Такое дело, Надия...

Говорил медленно, осторожно подбирая слова и странно, искоса поглядывая.

— До войны у нас в Одессе шестьсот тысяч насчитывали, да? Ну, половину, даст бог, вывезем, а триста тысяч останется. В таком стогу, Надия, не одна наша иголка должна затеряться. Верно? А в его тылу нам каждая пара рук нужна...

— Неужели отдадут, Данило Митрофанович?

— Э-э, кто знает... На востоке он к Каховке прорвался, на Персепол целится. С Большой-то земли нам через фронт не шибко пособишь! Вот и суди, Надия. Выходит, что больных в гражданских больницах, а то и часть раненых, кого везти нельзя, придется оставить. А что поделаешь? — Дикун снова сел и, наклонясь, терпеливо и испытующе заглядывал в глаза. — И значит, вопрос: кому за ними ходить, кому лечить? Наши же, советские! «Он» же их выхаживать не станет? А?.. Тут главная трудность в чем... надежных коммунистов у нас хватает, так ведь коммунистов на такое дело не оставишь. Сама понимаешь — первая петля коммунисту, первая пуля. Мало ли пещи по всяким закуткам затаилось! Донесут, не за тридцать сребренников — за три продадут!

Надежда Васильевна машинально щелкала замочком сумочки. Когда Дикун замолчал, подняла голову, посмотрела, отвернул глаза.

— Если я правильно понимаю, Данило Митрофанович, вы хотите предложить... остаться... если придут немцы?

— Догадалась! — обрадовался Дикун, вставая. — Боротьба же тильки начинается, Надия! — Дикун пристально всмотрелся в побледневшее лицо собеседницы. — Но решать тебе. Самой. В партии не состоишь, с тебя у них спросу меньше. Перейдешь из госпиталя в больницу, богато там баб да детишек бомбами покалеченных. Часть раненых туда перевезем. Лечить! Ставить на ноги!

— А выдержку у немцев, Данило Митрофанович? — после недолгого молчания спросила Надежда Васильевна.

Тяжело ступая, Дикун прошелся по комнате, зачем-то посмотрел в распахнутое окно.

— А я и говорю; тебе решать! — повторил он, возвращаясь к дивану. — За тебя никто не решит такого. Добрая воля...

— А что придется делать? — Надежда Васильевна смотрела мимо Дикуну на портрет Крупской. — Я...

— Скажут! — так же мягко перебил Дикун. — Найдут и скажут, Надия! Твое дело — лечить, приживаться при фашистских гадах. И ждать. Лечить, смотреть, ждать.

— А вы, Данило Митрофанович, тоже останетесь?

Дикун неопределенно пожал плечами.

— Как она велит, партия... Тут много верного народа останется! Не дадим врагу жить на родной Вкраине! Ну, сама понимаешь, это не для нашего с тобой разговору... — Он на секунду задумался и ласково потрепал ее по руке. — Ты, однако, не торопись с ответом. Дело — не семечки... Сама, сама обо всем подумай, реши... Сдюжишь чи ни...

Возвращалась Надежда Васильевна теми же улицами, но они будто изменились за полчаса. Неужели здесь будут хозяйничать оккупанты и ты, Надежда, останешься при них? Невозможно представить.

На полдороге спохватилась, что, теряя драгоценные минуты, идет пешком. Побежала к остановке трамвая, там толпились женщины и ребятишки. И про себя отметила: даже людей видит сейчас иначе, по-новому. Кто-то из них тоже останется жить при фашистах; всех вывезти, конечно, не сумеют, не смогут. Дикун прав. И впервые почувствовала неотвратимость трудного завтрашнего дня...

В госпитале избегала разговоров о будущем, но сама думала и думала неотступно. По ночам спала два-три часа, не больше, потом, сидя на кровати, курила махорку, разглядывала в дрожащей от копилки полутьме истомленные, повзрослевшие ли-

ца девочек. Отправить? Но в августе и сентябре фашисты пустили ко дну «Абхазию», потопили «Чапаев», шедший в Севастополь, без вести пропал «Коммунист». Поврежденная бомбами «Кубань» выбросилась на мель, но спастись почти никому не удалось: постреляли с самолетов.

Что же делать с детьми?

Отправить на верную гибель? А может, надежнее оставить при себе: ведь даже фашисты не станут убивать детей. Не пона, вернутся наши...

Тревога не давала уснуть. Стараясь не разбудить ребят, выходила во двор, стояла у ворот, прислушиваясь к бессонной, по затаившейся жизни.

Купола душных почей круто вздымались над разрушенным, горящим городом. Пресную воду на тушение пожаров расходовать запретили давным-давно, возили с лиманов и с моря на машинах-поливалках и в цистернах. Ее не хватало. Кудлатые столбы дыма, подсвеченные снизу рыжим, чудовищными башнями вздымались над обезлюдевшей Пересыпью.

Надежда Васильевна осторожно, стараясь не наткнуться на патрульных, пробиралась переулками на обрыв и подолгу смотрела вниз, в порт; там, в Карантинной гавани, огонь яростно пожирал последние пакгаузы и хозяйственные постройки, раскаленное железо крыш излучало в небо розовый свет.

— Да, да, — в раздумье бормотала она. — Соня тоже не собирается эвакуироваться... «А як же я, Васильевна, школьное добро кину? В нас директор такой строгий — спаси бог! Та ще така думка: вдруг мий Микола приде рапетый? Як виш тоди? Не, никак мени не можно тикаты, Васильевна!»

Рядового 171-го стрелкового полка Алексея Кордупова ранило восемнадцатого августа в бою под Кагарейкой, в госпиталь привезли двадцатого. Был он без сознания, с забинтованным лицом. Надежда Васильевна, принимавшая раненых, не узнала мужа. Только часом позже, оформляя документы, с трудом удержала вскрик. Задрожавшими пальцами перелистала красноармейскую книжку, желтоватая обложка замаслена и испачкана кровью.

Да. Он. 1908 год. Кунцево.

Отложив документы, спрятав руки в карманах халата, прошла по палатам, отыскивая Алексея. Он должен быть где-то

на первом этаже. В синеватом свете почиников лица раненых ка-
зались одинаковыми, но Надежда Васильевна сразу отыскала
койку Алексея. Верхняя часть лица и шея забинтованы, оста-
лись открытыми лишь запекшиеся, искривленные болью губы
и рыжеватая щеточка усов над ними. Так вот почему не узнала:
раньше он не носил усов.

Держась руками за спинку койки, долго стояла, вслушива-
ясь в булькающий шепот:

— Матвей! С-слышишь, Матвей! С-слышишь?.. Да не-не
там... с-с другой с-стороны...

В себя Надежду Васильевну привел голос старшей сестры:
Михаил Макарович просил к себе. Ночь выдалась трудная, хло-
потная, много сложных операций. К утру Михаил Макарович,
почерневший от бессонных ночей, измученный, уснул прямо в
коридоре в кресле-каталке. Надежда Васильевна могла пойти к
Соне и хотя бы на полчаса забыться. По пути снова зашла в
третью, постояла над койкой Алексея. Она никому не говори-
ла, что раненый — ее бывший муж, но на перевязке, услышав
фамилию, Нипа Гавриловна посмотрела вопросительно. Надеж-
да Васильевна не ответила на немой вопрос. Зачем? Что это из-
менит в судьбе Алексея, в ее собственной? У Алексея мелкими
осколками изранено лицо. Может быть, повреждены глаза? Был
бы в Одессе филатовский институт, следовало бы перевезти ту-
да, но филатовский эвакуировался еще в июле.

Однако пришедший на вторую перевязку Михаил Макаро-
вич заявил, что глаза не повреждены, только ослеплены близ-
ким взрывом, пройдет время, и будет видеть. А пока ждать...

Иногда в минуты затишья Надежда Васильевна присажива-
лась на краешек мужниной койки и, слушая бредовое бормо-
тание, думала о дне, когда Алексей придет в себя. Может, луч-
ше отправить с ближайшим транспортом, пусть уедет и не зна-
ет, что их жизненные пути все-таки пересеклись? Но при
отправке очередной партии непонятное чувство заставляло На-
дежду Васильевну вычеркивать Алексея из списка эвакуируе-
мых, и он оставался в госпитале до следующего этапа.

И случилось так: когда очнулся, Надежда Васильевна сиде-
ла у его койки. Ночь медленно ползла к концу, дежурные са-
нитарки белыми тенями мелькали в коридорах и палатах.

— Не вижу... — глухо и недоумеая сказал Алексей, ощупав
бинт на лице. — Ничего... не вижу.

Надежда Васильевна легко прижала ладонью его худые
пальцы с белыми полосками давних шрамов, бессильно опустив-



шиеся на одеяло. И не могла заставить себя сказать хотя бы слово: думала, что Алексей, несмотря на годы разлуки, по голосу узнает ее. Но, и не слыша, он узнал, это было непостижимо: узнал! И вторая его рука, лежавшая поверх одеяла,

потянулась к груди и коснулась руки Надежды Васильевны.

— Ты. — Он не спрашивал, он просто тихо обрадовался, что это она, Надежда. — Ты...

— Да. Я, Алеша, — и почувствовала, как дрогнули и обмякли под ее ладонью худые пальцы. — Ты у нас в госпитале.

— В госпитале?

— Да.

Алексей помолчал, мучительно вспоминая. Спросил через силу:

— А Кагарейка?

— Какая Кагарейка?

Он опять помолчал, морща запыленные губы.

— Значит, отдали... Там школа. На стене гербарий... березовые и дубовые листочки бумажками приклеены... Как Алешка клеила, помнишь?.. А Матвей в кукурузе... кукуруза горит... Что? Шум будто в бане... М-мм-мм...

Сознание снова покидало его, руки стали холодными и мокрыми. Надежда Васильевна уложила их на одеяло и пошла в дежурку за шприцем. Пусть спит. Утром станет легче...

И снова для Надежды Васильевны тянулись, летели дни, наполненные своей и чужой болью. Фашистская авиация беспрерывно бомбила и бомбила Одессу: днем и ночью пикировали на город воюющие «юнкерсы». От Дальника, Татарки и Сухого лимана бесприцельно, по квадратам, била дальнобойная артиллерия; из района Новой Дофиновки плевались огнем орудия, установленные на берегу Одесского залива. Обстреливался не только город и порт, но и появлявшиеся на внешнем рейде военные корабли. Они отвечали залповым огнем, стремясь подавить вражеские батареи. Но вплоть до десанта, высаженного с моря в ночь на двадцать второе сентября, батареи у Новой Дофиновки безнаказанно расстреливали город. Вместе с бомбами и снарядами на израненные, истерзанные улицы сыпались листовки: «Матери и жены! Уговорите сыновей и мужей не лить понапрасну кровь и сдать город. Армии фюрера непобедимы...»

...Алексею становилось лучше. Целыми днями лежал неподвижно, лицом вверх, вслушиваясь в голоса, в шум госпитальной жизни, в воющий, разрывающий сердце рев сирен, в иногда близкое, иногда далекое гроыханье взрывов. Еще издали узнавал шаги Надежды Васильевны и, приподнимаясь на локтях, ждал.

— Я знал, что встречу тебя, — сказал он как-то ночью, когда она по привычке присела у его койки. — Всегда знал. Было бы несправедливо, если бы не встретил. — Голос звучал напряженно, каждое слово проталкивалось сквозь запекшиеся губы с усилием, с трудом.

Надежда Васильевна не останавливалась, видела, что Алексею необходимо выговориться. И он говорил, временами бессвязно и путано, перепрыгивая с одного на другое, вспоминая давнее, полузабытое...

— Однажды, помню, на Севере. За Полярным. Провалился под лед. Кое-как выкарабкался, вылез. Бушлат стал ледяной, словно колокол... Но все верил, что не умру, не повидав тебя... Полз по снегу два дня. Помнишь, у Джека, у Лондона? Ног совсем не чувствовал. А пальцы ободрал до костей, пощупай — шрамы. Ужасно жесткий был снег. Как битое стекло. А кругом ночь, полярная, без конца. Только северное сияние в полнеба. И тишина... Ноги совсем не слушались, тяжелые, как чугун, волочились. На руках полз... Спасибо ребятам, нашли, оттерли...

Но я и тогда верил, что увижу... Ну, обещай, что не отправишь меня? Ты-то ведь не уедешь, да? А и я... я тоже смогу что-то делать... Я теперь знаю, что и выздоровею, и видеть буду... И потом, я же слышу: «Кубань» разбомбили, «Коммуниста» пустили ко дну... А здесь, рядом с тобой, я буду жить. А если отправишь, зачем она мне нужна, жизнь? Что я там по тылам ошиваться буду? Я гадов этих подлых душить хочу! Ну, обещай мне, обещай, что не отправишь, что останусь рядом с тобой...

Надежда Васильевна слушала горячий шепот, и давно забытое чувство просыпалось в ее душе, и у нее не было силы сказать «нет»!

22. НАКАНУНЕ

В последние перед эвакуацией Одессы дни, глядя на уходящие из порта суда, Николай Аристидич чувствовал, что жить ему больше не хочется.

К чему? Зачем? Кому пужно его никчемное бытие? Кому дорого?.. Одно усилие: перегнуться через перила балкона — и вниз, головой о мостовую. Как это у Маяковского? «Возьму вот и кинусь навзничь и голову вымозжу каменным Невским!»

Бежать? Но куда, зачем? Все, что у него есть, связано с Одессой, с «верхотурой», с его учениками, с ребяташками из Дома Надежды. Теперь все постепенно рушится, не остается камня на камне. Все теряет смысл! Да и так ли уж драгоценна его жизнь, чтобы спасти ее? Ежедневно гибнут сотни, тысячи молодых, здоровых ребят! А если остаться здесь, тоже зачем? Хватит ли у него сил, чтобы в жесточайших условиях оккупации бороться против захватчиков, против фашистских правителей Транснистрии — так будто именуют они территорию от Дуная до Буга?

Самой настоящей физической болью болело сердце за мальчишек: что будет с ними, если в город войдут фашисты? Уперлись на своем: не поедem ни в какую эвакуацию, убежим, спрячемся; ничему не научил их дурацкий побег в Измаил и Килию. Тут, наверно, и Мартинес повинен со своим испанским темпераментом, со своим «мщу за Гонсало!». Едва выкарабкался из могилы, едва пришел в себя, а туда же — мстить! Ишь мститель выискался! Дети, дети!

А в городе становилось беспокойно, учащались случаи грабежей. Обнаглевшие проходимцы обкрадывали склады и магазины, шарили по почам в опустевших квартирах, растаскивали вещи.

Наш Грек с беспокойством думал о возможной встрече Рыжих с шайкой Кожия: если столкнутся в каком-нибудь узком переулке, Рыжим несдобровать! Подонки вроде Жорки уже обзавелись кастетами и фипками, обнаглели до крайности. Николай Аристидич убедился в этом на собственной, как говорится, шкуре. Совсем недавно ему, несмотря на хромоту, пришлось доковылять до магазина, получить продукты и хлеб. Стало известно, что на карточки напоследок дают по пакету муки и по две банки баклажанной икры. «На заговенье», — хмуро шутили в очереди, получая неожиданный и такой щедрый по военному времени дар.

Вот тогда-то, возвращаясь из магазина, Николай Аристидич и встретил на Пушкинской Жорку и его оруженосцев: тщедушного Шкетика и волосатого длинношеего Багузу, того самого, которого вместе с Жоркой на второй день войны братья Гордиенко сдали в милицию. В отделении, видимо для острастки, их продержали немного, а потом выпустили: дескать, несовершеннолетние, малолетки. А эти малолеточки прилежно учатся по-за углами орудовать ножом и отмычкой, тащат все, что плохо лежит, и, по их ухмылкам видно, не шибко тревожатся, что родной город вот-вот займут враги. А чего тревожиться? При «новом порядке» таким будет вольготней! Возможно, пооткрываются частные магазины и кабаки, дома свиданий, казино, бары и все прочее, до черной биржи включительно. Чем Жорке не жизнь?

И, говоря по правде, заметив издали Жоркину бандочку, Николай Аристидич не испытал радости. Правая ладонь, сжимавшая инкрустированную рукоять трости, сразу запотела, притихшая боль в ноге всыхнула, проклятая, с прежней силой.

Жорка вразвалочку прогуливался — в углу рта папироса, на плечи накинута черная форменка торгового флота, на затылок лихо сбита такая же форменная фуражка. «Либо краденое, либо грабленое», — определил Николай Аристидич. И в тысячный раз спросил себя с горечью и недоумением: как же могло случиться, что в нашей Советской стране, в советской школе, на глазах у всех вырастали такие подонки? Конечно, это мы, старшие, виноваты! Что-то проморгали, упустили! Или, может, отрывка прошлого, наследство печально-знаменитой Одессы-

мамы, когда под южное солнышко со всей необъятной России стекались будущие Остапы Бендеры и Бени Крики? Поди-ка, если покопаться в генеалогическом багаже Жорки, обязательно зря же Жоркин папаша в течение ряда лет заслуженно взирал на мир сквозь переплеты тюремной решетки...

Левую руку оттягивала сумка с продуктами, сильнее пыла пога, но Николай Аристидич старался не хромать, напружинив сутулую спину, с привычной важностью тыкал тростью в посыпанный оранжевой листвой тротуар.

Жорка и его длинношеий дружок вполголоса переговаривались, с ожиданием поглядывая на учителя, ковылявшего им навстречу. Остановились у ворот проходного двора, огляделись. Улица была безлюдна и тиха, лишь голодная кошка страдальчески мяукала на балконе третьего этажа.

«Забыли, бросили, негодяи!» — обругал кошачьих хозяев Кристодуло и прибавил шагу. Пирейка-то ведь тоже ждет! И усмехнулся: как мог столько лет жить один, без собаки, без кошки? Непостижимо! То ли дело теперь: еще на лестнице, еще не открыв дверь, нащупывая в кармане ключ, слышишь радостное: «Умр-р! Умр-р!»

Размышления о Пирейке на минуту отвлекли Николая Аристидича, о Жорке с приятелями он вспомнил, только поравнявшись с ними и услышав громко сказанное:

— А они и греков вешают! — Кося желтым глазом на учителя, Жорка ухмылялся, пускал, озоруя, папиросный дым в лицо длинношеему. — Тут на Привозе появились двое. Одно их слово — и грекам хапа. Что еврей, что цыган, что грек — одна масть! Скажи, пет? — И, будто лишь сейчас заметив Кристодуло, Жорка повернулся и радостно осклабился: — А-а-а! Дристидичу наше с кисточкой! Рази ж вы не в эвакуации, наш бывший грек? Бегут же и красненькие, и розовые! Бегут кекемоны революции! Скажи, пет, бывший грек? Га!

Голос Жорки звучал издевательски нагло, рыжеватые глаза ласково щурились. Длинношей Багуза подыгрывал, выставял желтые зубы, и лишь Шкетик смотрел на старого учителя вино-вато.

Николай Аристидич поудобнее перехватил сумку, постучал тростью о камни тротуара.

— Ну и мерзавец же из тебя вырос, Кожий! — Он смотрел на Жорку с брезгливым возмущением. — Вот уж правда: пробу негде поставить!

Но Жорка не смутился, не отвел смеющегося, вызывающего взгляда.

— А за верно продают, Дристидич, будто вы в гражданскую на своей вшивой «голубятне» красных ховали? Чи брешут? Тень на белый день или как? Ежели правда, то я бы на месте некоторых греков наподдал бы с Одессы-мамочки на швидкой скорости! Пока шею веревочкой не перетерло! Скажи, Багуза, правый Жора или почему? А?

Задыхаясь от гнева, Николай Аристидич с яростью замахнулся тростью, но Жорка будто того и ждал! Ловко увернувшись, схватил трость за конец и с силой рванул на себя. Кристо дуло упал на колени, банки с баклажанной икрой вывалились из сумки и покатались под уклон, к решетке водостока. Выпустив трость, Николай Аристидич инстинктивно потянулся за ними, но Багуза оторвался от стены и легкими ударами ноги покатыл банки к воротам двора.

— Шкет, примай пас!

А Жорку вдруг одолела икота. Смеясь и икая, он забавлялся тростью, тыкал в землю, брал на плечо, вскидывал «на караул». Опираясь о забор, Николай Аристидич встал, беспомощно глянул в один конец улицы, в другой. Никого. И не слышно ни голосов, ни шума шагов. Словно вымерли все! Одна кошка на балконе взывает о помощи.

— Имеем нашу честь, Дристидич! — измывался Жорка, поигрывая тростью и зыря глаза на угол, из-за которого показались женщины с ведрами. — Шкетик! Кому сказано: соблюдай чистоту, залог здоровья! Собери баночки, стерва!.. Бай-баиньки, Дристидич! Калимера-калispera, пока не повесили, бывший грек!

Николай Аристидич подобрал брошенную Жоркой трость, брезгливо вытер рукоять полый пиджака. Потом не признавался даже самому себе, но в ту позорную для него минуту он по настоящему заплакал. И не потому, что было жаль баклажанную икру, — конечно, жаль, в мечтах уже угощал ребятшек! — в тысячу раз оскорбительнее было ощущение собственного бессилия! Именно оно, это непереносимое, унижительное чувство, заставило его зло отмахнуться от женщин, пытавшихся ему помочь: «Что случилось, дедушка? Не пособить ли?»

— Нет! Нет!

Не хватало еще женских соболезнований! Тем более, что беде помочь невозможно: Жоркина бандочка скрылась в глубине проходного двора, выскочила в соседний переулок.

Припадая на трость сильнее обычного, Николай Аристидич ковылял дальше, радуясь, что хоть пакет с мукой уцелел, борючись с бесполезными словами: «Вот он, лакмус, проявляющий существование таких, как Жорка! И в том, что Жорка существует, есть, старый интеллигентшишка, и твоя вина!»

Женщины провожали его соболезнующими взглядами, а одна, седая, даже покрутила пальцем у сморщенного гармошкой лба: «Не иначе умом сдвинулся старый! По нынешним временам не диво!»

А дома у входа на «верхотуру» Николая Аристидича ждали гости. Сережка и Генка сидели рядышком на ступенях чугунной лестницы, хмурые, задумчивые. Заслышав шаги, бросились навстречу, помогли подняться по лестнице, донесли сумку. Жалобно мяукая, подковылял к двери отощавший Пирейка: не сладко жилось и котенку на голодном пайке.

— Что же так долго? — сердито спросил Николай Аристидич, обессиленно опускаясь на диван. — Случилось что? Неприятности? Беда?

— Далеко. Трамваи не ходят, — уклончиво буркнул Генка.

А Сережка, помолчав и глядя исподлобья, сказал правду:

— Госпиталь эвакуируют, Николай Аристидич. Спираки хотят попрощаться...

— Спираки! А вы? А девочки? А тетя Надя?! — вскричал Николай Аристидич и, позабыв о больной ноге, попытался встать. И тут же, замычав от боли, откинулся на спинку дивана. — Тетя Надя тоже уезжает?

— Не-ет. — Сережка покачал головой. — Она останется.

— А вы? — снова закричал Нэш Грек. — Вы из-за Мартипеса остаетесь? Да? Пороть вас, дурачье, некому!

Сережка молчал, глядя в пол, а Генка, криво усмехаясь, объяснил:

— Не-е, с Мартом порядок, Николай Аристидич. Уже встанет и вообще почти в норму!

— В чем же дело?

— А у нас... — запнувшись, Генка покосился на Сережку, но Сережка молчал. — А у нас, Николай Аристидич, Гнедая заболела. То есть Лазарева. Ну, которая с косами! Температура тридцать девять, и вообще воспаление. Легких... И тетя Надя сказала, везти нельзя...

Не договорив, Генка вскочил, схватил тершегося возле дивана Пирейку, подбросил, поймал на лету.

— Ух и котище же вырос!

Взяв с дивана трость и морщась от боли, Крестодуло встал, хромя прошелся по комнате. В эту секунду на западных подступах к городу, захлебываясь, зачастили зенитки, в городе взвыли сирены воздушной тревоги. Рыжие молча подошли к балконной двери, за ними дохромал туда и Наш Грек. И не прячась — хотя и замирали сердца от воя пикирующих юнкерсов, — трое стояли и смотрели на вздыбленный столбами взрывов порт, на белые вспышки зенитных батарей, на воздушный бой южнее порта. И пока не прозвучал отбой, никто из них не произнес ни слова. Потом, когда наступила томительная, до звона в ушах тишина, Николай Аристидич хмуро спросил:

— Когда?

— Сегодня. Ночью. Из госпиталя — последние. Три ночи возили, — пояснил Генка. — Мы потому и не приходили...

— Какое судно?

— «Фабрициус».

— В Новороссийск?

— Ага.

— Надежда Васильевна будет?

— Обязательно. Она и прислала.

Наш Грек вопросительно и с ненавистью посмотрел вниз, на распухшую ногу, словно прикидывая: сможет ли он с такой гирей совершить спуск в порт. И, догадавшись о невеселых думах учителя, Генка предложил:

— Мы проводим, Николай Аристидич. Побудем здесь до вечера и вместе пойдем. Ага?

— Да почему же ночью? — неожиданно раскипятился Наш Грек. — Дня, что ли, мало?

— А он ночью меньше бомбит, Николай Аристидич, — списходительно, будто взрослый ребенку, пояснил Генка, принимаясь рассматривать у стены карту Европы. — Гляди, Бес, куда допер, гад!

Вечерело. Солнце падало за багровые хребты пожарищ. Смерчи огня и дыма крутились над Пересыпью, клубились над временными причалами Аркадии и Золотого пляжа. Сторожевые катера ставили в море дымовую завесу, но дым не скрывал корабли полностью: мачты, а то и трубы вздымались над тесетами дыма.

Спускаться в порт решили пораньше, в сумерки; в случае налета можно переждать где-нибудь в бомбоубежище. «И не

хуже, чем здесь, на вашей верхотуре, — съязвил Генка. — Тоже, подумаешь, укрытие!»

Пробиваясь сквозь толпу к трапам «Фабрициуса», Рыжие еще издали увидели Надежду Васильевну. Стоя на кнехте и держась за причальный канат, она высматривала их через головы толпящихся у трапа людей. Увидела и, торопя, замахала рукой:

— Сюда! Сюда!

Носилки со Спираки уже водрузили на грузовую площадку под стропами подъемного крана — поднимать безногого с окренными швами по крутому трапу было недопустимо.

Прощание друзей оказалось почти безмолвным, да и что можно сказать в такую минуту?

Кто-то взмахнул рукой:

— Вира помалу!

И носилки со Спираки, качаясь, вознеслись вверх.

Когда госпитальных погрузили, Надежда Васильевна и Кристодуло отошли в сторонку и издали смотрели, как сотни людей сплошной массой взбирались по всем спущенным с теплохода трапам: грузили «навалом», «внабой», столько, сколько могли вместить каюты, палубы, трюмы, подсобные помещения, палубные надстройки. Даже в шлюпках над палубами, вопреки всем судоходным установлениям, можно было рассмотреть плечи и головенки детей.

— Довезут ли? — с сомнением вздохнул рядом с Надеждой Васильевной женский голос.

И другой, тоже женский, упрекнул сквозь слезы:

— Да не каркай ты! Не каркай!

Но вот погрузка закончена, подняты трапы. Невидимый за тушей «Фабрициуса» портовый буксир подал писклявый голос: «Фи-ю! Фи-ю!» «Семь футов под килем!» — вспомнил Сережка.

На пирсе было почти темно, лишь с десятков синих ламп бросали на толпу мертвенный свет. И все же, когда вдали, у входа на причал, остановилась закамуфлированная легковая машина, многие оглянулись на нее. Так далеко на пирс въезжать не разрешалось, значит, явилось высокое начальство. Человек шесть в штатском и военном, сопровождаемые комендантом порта, прошли в дальний конец пирса, где тоже грузилось невидимое отсюда судно. Кто-то в толпе у «Фабрициуса» негромко удивился:

— Гляди-ка, вроде секретарь горкома? А?

— Он самый. Гуревич. А справа, в кожанке, — Давиденко, председатель исполкомовский.

Надежда Васильевна всмотрелась и, несмотря на полутьму, узнала: да, Давиденко. Не раз видела на пленумах горсовета, на торжественных заседаниях. «Неужели и они уезжают?» — спросила себя с тоской и страхом. Но нет, минут через десять группа прошагала обратно к машине. «Слава богу, — подумала. — Значит, не все потеряно! — И тут же усмехнулась: — Откуда вдруг вырвалось это доисторическое «слава богу»?»

— А что? Рогнеду в самом деле нельзя везти? — шепотом спросил Наш Грек.

Надежда Васильевна безнадежно пожала плечами.

— Никак, Николай Аристидич...

На причале, возле отодвигающегося борта «Фабрициуса», гудела и колыхалась, словно покачиваемая невидимым прибором, тысячная толпа.

И снова пронзил ночь яростный вой сирен на пирсе, замесались, ища несуществующие укрытия, люди. Над морем вспыхнули ищущие, жадные, пересекающиеся лучи призрачного прожекторного света... Со стороны Констанцы будто бы катилась на город грохочущая, воющая чугунная лавина.

23. ВТОРЖЕНИЕ

В зыбком свете незатухающих пожаров — улицы, запруженные колоннами войск, орудиями и самоходками, грузовиками и вездесущими «козликами», повозками, лошадьми, санитарными машинами. Ни разговоров, ни смеха, лишь железный дребезг колес, урчание моторов, шорох тысяч и тысяч ног. И изредка лязг подковы о камень, бряцание стремени или уздечки.

Больше пятнадцати тысяч солдат и офицеров, не считая госпитализированных в Одессе, прошли и проехали в ту ночь по улицам города, направляясь в порт, на корабли. Сотрясая землю, перекатывались за городом взрывы: морская пехота уничтожала береговые укрепления и батареи. Взлетали на воздух водокачки и паровозы, электростанции и вокзалы, депо, заводские цеха, трамвайные парки — все, что могло быть использовано врагом.

Не стихала ни на минуту канонада, части прикрытия вели на последнем рубеже арьергардные бои. Может, только благода-

ря этим яростным, отвлекающим коптратакам фашистская авиация и оставила в покое порт в ту памятную для Рыжих ночь. Последняя ночь эвакуации Одессы — на шестнадцатое октября...

Уже под утро, измученные, усталые, Рыжие поднялись по Потемкинской лестнице в центр. Стояли на верхней площадке, провожая воспаленными глазами уходящие корабли. На несколько километров растянулся последний караван; одно за другим скрывались суда за туманным, не то синим, не то сиревым горизонтом, уходили в направлении невидимой с берега Тендровской косы.

Долго молчали. Потом Сережка тронул Генку ладонью за плечо:

— Посмотри! На бульвар!

— Чего там?.. — Генка с усилием отвел взгляд от исчезающих в тумане кораблей. Обернулся. И осекся; слово застряло в горле.

Вдоль кромки бульвара неподвижно застыли безмолвные фигуры — сотни, тысячи, десятки тысяч людей. А в окнах за ними ни взблеска, ни огонька, улицы безжизненны и пусты.

— Ух, черт, сколько! — невольно вырвалось у Генки. — Даже не верится. А, Бес?

Сережка не ответил. Думал о Неде, о Надежде Васильевне и Мартинесе, о Нашем Греке, о тех, кто, как и они с Генкой, остались в городе, отдаваемом на милость, вернее, на немилость врагу.

Последний эсминец сопровождения, ждавший на внешнем рейде, двинулся вслед за караваном, и тогда в порту, разрывая предрассветную дымку, одновременно вскинулись десятки огненных смерчей. Взлетали, кувыркаясь в воздухе, освещенные мгновенными вспышками, покореженные металлические фермы, столбы, балки, лестницы, решетки, колеса. Дрожало, отражаясь в аспидно-черной воде, пламя, будто кто-то злобно тыкал в море медным ножом. Нелено и беспомощно опрокидывались с пирсов порталы и телескопические краны; словно охваченные ужасом, допотопные чудища бросались с причалов головами вниз.

— А по-другому и нельзя, — будто споря с кем-то, проворчал Генка и, круто повернувшись спиной к порту, побрел прочь. — Иначе они, гады, швартовались бы тут. И мины кругом ставят правильно... Ну, Бес, куда теперь?

— Думаю, к Соне...

— Поди-ка, Гнедку навестить, а? — съехидничал Генка.

— Дурак ты, Ген!..

Еще до полной эвакуации госпиталя Надежда Васильевна перебралась в районную больницу, туда же перевезла и Неду: новому врачу выделили при больнице крошечную каморку. А Ганю Соня попросила пожить пока у нее: «Доколе Мыкола не придэ, за дочку мени будешь!»

Перебрался к Сопе и Мартинес, почти поправившийся от рап и сотрясения мозга. Когда Надежда Васильевна попыталась сплосить отправить его с госпиталем в Новороссийск, он в ответ заскрипел зубами: «Я не буду бежать от фашио, как крыс!»

...Итак, в ту последнюю ночь эвакуации Сережка и Генка стояли над сбегаящими к морю серыми ступеньками Потемкинской лестницы.

Рассвет набирал силу, розовый и дымный, стали различимы хмурые, напряженные лица людей на берегу. Никто не торопился уходить: установленного советской администрацией комендантского часа больше не существовало, а власть оккупантов еще не началась. «Междоцарствие, — бормотал Сережка. — Смутное время!»

Всматриваясь в темные фигуры на обрыве, Сережка различил в толпе знакомый силуэт: на одной из бульварных скамеек, в накинутом на плечи пиджачке, в кубанке, по-матросски расставив ноги, стоял Яша. Оглянувшись на шелест приближающихся шагов, всмотрелся. Пожав руки, улыбнулся:

— Значит, вместе? А?

Рассказал, что они с братом и сестрой не уехали из-за стариков: отец совсем обезножил да и Матрена Демидовна через силу ходит.

— А одних бросать пельзя, — морщась, говорил Яша. — Батя у нас матросской судьбы, еще на царском «Синопе» медяшку драил. Да и после с кем только не воевал: тут тебе и гайдамаки, и интервенты, и беяки, и всякие анархистские шкуры!.. Все и сказало — ноги! А заладил одно: никуда из-под родной крыши перед смертью не побегу! Авось, говорит, Гордиенки и тут сгодятся!

Сережка заметил, что Яша за последнее время возмужал. Отчетливее, упрямее стал рисунок губ, холоднее, острее глаза.

— Не позабудьте: Нежинская, семьдесят пять! — крикнул он, когда Сережка и Генка отошли. — Жду! А вдруг батяня и правый: сгодимся на що-нибудь! Ишь, турки, боятся сунуться!

Да, гитлеровцы не сразу поверили, что советские войска оставили в ту ночь Одессу: слишком ожесточенное сопротивление оказали прикрывавшие город войска. И лишь во второй половине дня на улицах появились первые вражеские танки и мотоциклы. Плотно ворочая дулами орудий и пулеметов, танки ползли, задерживаясь на перекрестках и площадях, натываясь на баррикады и надолбы, на опрокинутые трамваи, на разбитые бомбами и снарядами, пышущие жаром развалины.

Но когда машины разведки без боя достигли центра, в улицы жадно хлынули темно-желтые и мутно-зеленые волны вражеских дивизий. Оставшиеся в городе подпольщики взорвали дамбу Хаджибеевского лимана, расположенного выше Пересыпи. Вода рванулась вниз, в улицы, опрокидывая заборы из ракушечника, ветхие домишки, автомашины оккупантов. В мутных волнах барахтались солдаты, только что оравшие песни о короле Михе и великой Германии, о Хорсте Весселе, о непобедимом и любимом фюрере. Тупорылые танки, высекая гусеницами искры из мостовых, стреляли по крышам и окнам, по безмолвным, безлюдным баррикадам.

Вечером на всех площадях города пылали костры, дымились походные кухни, слышались пьяные крики и хохот: фашисты праздновали долгожданную победу...

Но это немного позже... А расставшись с Яшей, Рыжие часа два добрались до бывшего госпиталя: валили с ног усталость и ночи без сна...

Во дворе госпиталя стало непривычно безлюдно и пусто. Понурый Боцман сидел у крыльца, неподвижно глядя в стоявшую перед ним пустую глиняную миску. Уже облетала на землю тронутая октябрьской желтизной пожухлая листва каштанов и акаций — это подчеркивало безлюдье и тишину города.

И Ганя и Соня обрадовались приходу мальчишек. Из полученной пакауне муки Соня сварила на таганке затируху, покормила ребят, потом попросила помочь ей.

— А чего делать, тетя Соня? — удивился Генка.

— Як що?! Та у меня у темной каморы усэ школьное добро бережеця! И книжки разные, и земля, которая хлобус, и машинки из физического кабинету! Тамотки и птахи, трухой набитые, и косточки людиные, и струмент мастеровой. Усэ! Возврутятся наши, хто на директора очамы лупать будэ? Мабудь, вы, школяры? Та який з вас спрос! Я сторожую, мий и отвит...

При занятии школы под госпиталь сторожика отвоевала для школьного имущества темный чуланчик и, перетаскав туда все из кабинетов и мастерских, заперла на два замка и заколотила дверь досками. Ну, свои, советские, понятно, не трогали. А придут фашисты — разве убережешь? «От и треба вирно сховаты!»

Мальчишки перетаскали школьное имущество в подвал, который раньше занимали мастерские, а позднее — морг. Здесь остро пахло дезинфекцией, валялись носилки, костыли.

Было жалко оставлять в полутемном сводчатом помещении стопки учебников, вдруг показавшихся такими дорогими, книги из школьной библиотеки и классные журналы, куда вписаны чьи-то фамилии и имена. Пусть и незнакомые ребята, но есть среди них и Сережки и Генки. Правда, Неды ни одной не было... Дико выглядели в подвале и расшитое шелком пионерское знамя, и посеребренный горн, и хрустальные кубки, завоеванные когда-то спортсменами школы.

— Все, как и у нас было, — грустно заметил Генка.

Последнее, что Сережке и Генке пришлось переносить в подвал, оказался человеческий скелет, укрепленный на металлическом стержне, вделанном в пластмассовую плиту. Сама Соня не хотела прикасаться к нему.

— Та це ж жива людина була, — сердито отмахивалась она. — Косточкам покой бы, у землю их поховаты. Ишь как вони жалостно тюкают... А мы... Ни, ни, не можу я, хлопцы! Лякаюсь дуже.

И хотя Генка пытался убедить сторожиху, что скелет будто бы сделан на фабрике, из пластмассы, она не хотела верить.

— Як я перший раз тронула косточки — цилу ничь очи тарщила. От, думаю сама собі, душа цей людины зараз надо мною вьется да плаче, тильки мени не чутно... Ни, ни, хлопчики, нести ее швидко!

Когда все было спрятано, Соня подмела полы в классах и коридорах, достала из тайничка ключи от парадного входа и, заперев двери, закрыв на засов ворота, облегченно вздохнула:

— От и усэ, хлопчики! Щиро дякую за помогу! — Широко развела руки, низко поклонилась. — Зараз пийдемо затируху исты, напрацювались...

К великому огорчению Соня, пришлось оставить в спортзале рояль — в дверь не пролезал, а повернуть боком у сторожихи и ее малолетних помощников не хватило сил.

— Ах, була б це пиванина! — вздыхала Соня. — Мы бы тоди сдюжили, хлопчики. А?

— Конечно! Пиванина — це зовсім другэ дило! — смеялся Генка.

Ужинали молча, даже балаболка Ганя притихла и лишь вопросительно поглядывала то на Мартинеса, то на Рыжих.

Соня сидела не прикасаясь к еде, бессильно свесив между колен узластые, натруженные руки. Бормотала:

— Та що ж це воно будэ? Що будэ?

В сумерки улицы загрохотали гусеницами танков, колесами орудий и повозок, наполнились шелестом автомобильных шин, гортанными, непонятными криками: с запада, со стороны Овидиополя и Беляевки, в город вступали фашистские части. Громко звучали команды, по интонациям угадывались ругательства, взрывался радостный, гогочущий смех. А солнце как ни в чем не бывало спокойно садилось за Таврической степью, изрытой воронками и желтевшей тысячами свежих могил. Беспечно перекликались невидимые пичуги: «Ми-ти-тей! Ми-ти-тей!»

Не зажигая коптилки, Соня и дети притаились, слушая доносившийся с улицы незатихающий гул. И дождались: в вечерней полутьме кто-то забарабанил железом по припаянной к узору ворот раскрытой бронзовой книге. Звон металла гулко разносился в пустом дворе.

— Отчинять чи ни, хлопцы? — шепотом посоветовалась Соня с прильнувшими к окну мальчишками.

Ей не ответили, и она, обреченно вздыхая, побрела к воротам. Но щуплый верткий солдат, освещенный снизу фарами автомашины, уже перелезал через решетку забора. Соня на своих толстых ногах не успела доковылять до ворот; они распахнулись, с улицы хлынула плотная гомонящая орда, пахнувшая потом, табаком, пылью и машинным маслом. Непрерывно гудя и тесня людей, въезжали автомашины.

Прижатая к забору, Соня потерянно вслушивалась в многоголосый гвалт. Скользящий свет разворачивающихся автомашин выхватывал из тьмы черноусые, опаленные зноем лица, раширенные криком рты, белки глаз. Хрипели и брызгали пеной измученные кони, лязгало оружие, звякали солдатские котелки.

Свет фар передней машины уперся в парадный подъезд, темные фигуры солдат вываливались из кузова. Дверь затрещала под ударами прикладов. Дубовые доски не поддавались, в них стреляли из автоматов. Пули откалывали куски дерева, звенели о железо замка.

— Що роблять! Що роблять, байстрюки! — жалобно причитала Соня, но никто не слышал ее голоса.

С трудом переставляя лапы, выбрался из-под крыльца Ботман, затаившись сердито и бессильно. Коротко рванула воздух автоматная очередь.

— Вбили! Таку добру псину вбили, клятые!

А когда Соня увидела, что солдаты выволакивают из-под навеса парты и принимаются рубить, чтобы развести костры и разжечь кухни, она бросилась к навесу, расталкивая солдат:

— Не дамо! Не дамо!

Не сразу ей удалось пробиться к партам. Оттолкнув дюжего ефрейтора с топориком, загородила навес, растопылив руки.

— Кыш, клятые! Не дамо!

Оккупанты пересматривались и перемигивались, тараща глаза на разъяренную сторожиху. Офицер, горбоносый и надменный, в темно-желтом френче со штычками на плечах, подошел к ней.

— Ти есть дур баб,— снисходительно-ласково сказал он, влажно блестя зубами из-под черных усиков.— Ми есть хозяин всё! — Он легко и в то же время важно повел рукой.— Ти понимать? Фюрер, Гитлер хайль! Король Михай, маршал Антонеску хайль! Большевик капут, Сталин капут! Понимать? Теперь ти есть ничего, земля, пыль! Понимай? Хозяин — я, он хозяин, он, он! — Офицер тыкал пальцем в обступивших Соню солдат.— Всё наш. И ти есть швабр. В казарма пол стирай, мой штан стирай! Как это русски говорить? — Прищурился, вскинул чуть выгоревшие на солнце брови.— А-а! Нога мыть — вода пить! Ти понимай, швабр?

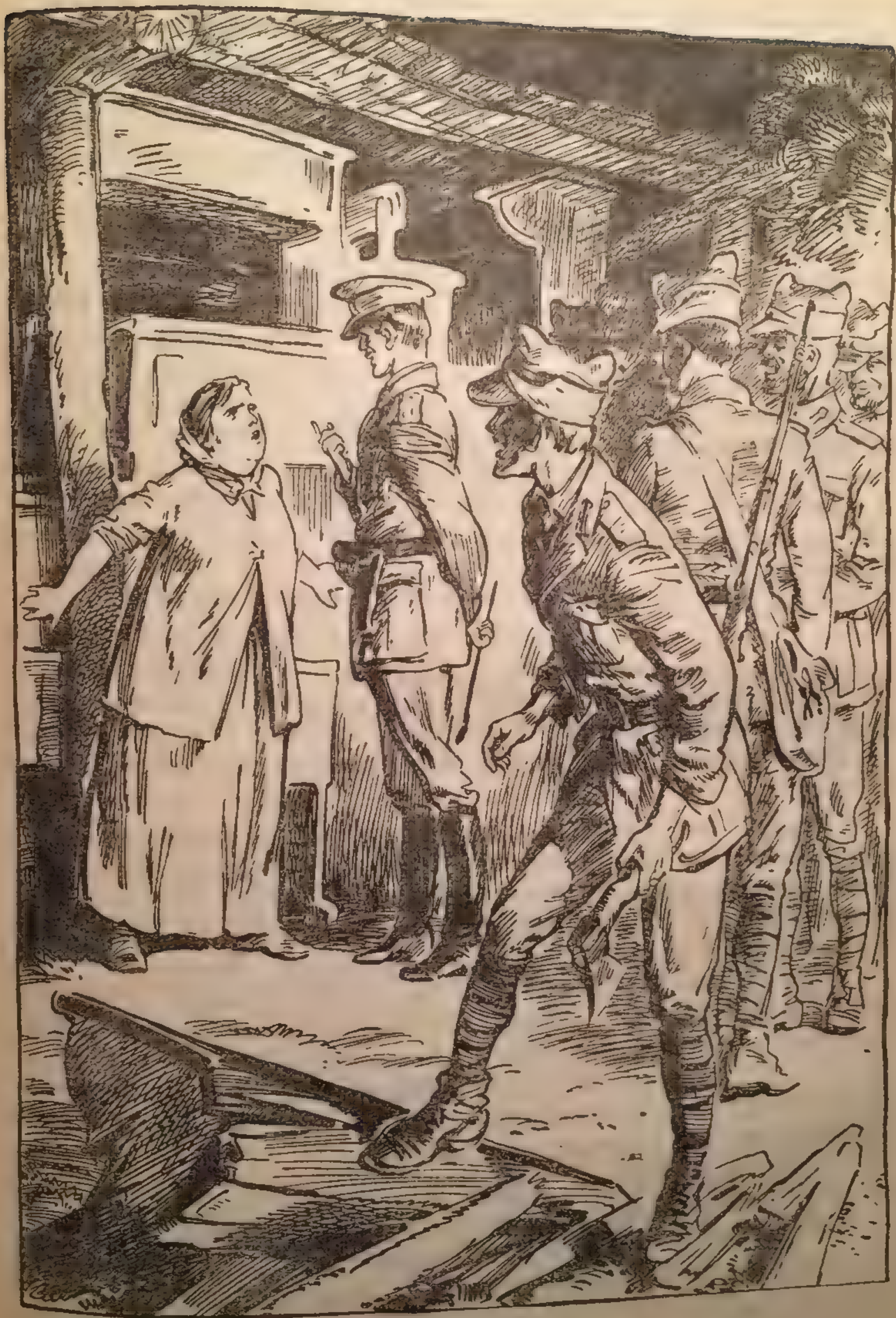
Опустив толстые, обнаженные до локтей, красные от бесчисленных стирок руки, Соня молча всматривалась в довольное, улыбающееся лицо. И вдруг, шагнув вперед, яростно плюнула. Офицер отпрянул, запоздало заслоняясь ладонями. Вытащил из кармана френча носовой платок и долго и тщательно вытирал подбородок и щеку. Солдаты притихли. Соня с детским торжеством смотрела на вздрагивающие усики.

— От тоби твои поганый штан, байстрюк! — удовлетворенно сказала она.— Я тебе не швабр, фашист. клятый!

Офицер спрятал платок и вскинул руку к перекладине, подерживавшей навес.

— Ну, добро, швабр! Ти есть висеть!

Посреди школьного двора весело пылал костер, сухое, покрытое масляной краской дерево горело щедро и ярко. Чуть в стороне краснощекие повара растапливали обломками парт походные кухни.



Притаившись за темными окнами, четверо ребят, не в силах оторваться, следили за происходящим. Но когда Соню потащили под навес, Ганя в страхе убежала от окна, забилась, дрожа и всхлипывая, в угол за кроватью. Сквозь доносившийся со двора шум едва слышно просачивалось ритмическое постукивание ходиков на кухне, прорывалось перехваченное слезами дыхание Гани.

Сережка плечом чувствовал, как трясет прижавшегося к нему Мартинеса. Тот бормотал испанские ругательства.

А за окнами, в каких-нибудь десяти метрах, Соню тащили между партами, растрепанные волосы волочились по земле. Офицер крикнул что-то еще, и на шею сторожихе накинули веревочную петлю. Один из унтер-офицеров, взгромоздившись на уцелевшие парты, перебросил конец веревки через балку, поддерживавшую навес. Офицер наблюдал за ним, переступая с ноги на ногу, брезгливо и безостановочно потирая щеку. Кое-кто из солдат, украдкой посмеиваясь, косился на оплеванного Соней офицера.

— Це бине, домнул локотенент? — спросил унтер.

— Бине! — офицер махнул рукой и гневно оглянулся на солдат, стоявших и сидевших у костра. — Гай дуте! Гай!

Повинуясь окрику, к навесу явно нехотя подошли три солдата, оказавшиеся ближе других. Но прежде чем они взялись за конец переброшенной через балку веревки, случилось неожиданное...

С силой оттолкнув Сережку, Мартинес звериным прыжком перебросился к двери, Сережка и Генка не успели его остановить. Дверь всхлипнула, вскрикнула, как живая. Желтый, прыгающий свет хлынул в комнату, залил часть кухни, где, зажимая ладонями лицо, истерически причитала Ганя.

Черный силуэт Мартинеса четко выделялся на живом, вздрагивающем фоне пламени. И вдруг исчез — Мартинес прыгнул с крыльца к костру, там солдаты неспешно тянули веревку, захлестнутую на шее сторожихи. И как раз в тот момент, когда голова Сони приподнялась над землей, Мартинес бросился на фашистского лейтенанта.

— Абуекто! Абуекто перро! Ел вердуго! Елла десампарадо!

Он успел два раза ударить лейтенанта, прежде чем тот выхватил пистолет. Убитый выстрелами в упор, Мартинес опрокинулся навзничь, головой в костер, спок искр взметнулся над ним.

Сережка и Генка застыли на пороге. В глубине дома билась в припадке Ганя.

Через минуту Мартинеса за ноги вытащили из костра. Положили рядом с Соней. Один из солдат принялся отвязывать от ближайшей повозки вторую веревку.

— Ты тож в-висеть! — заикаясь, кричал лейтенант мертвому, судорожно тыча пистолетом в балку под навесом. — В-висеть! Вис-сеть!

Черноусый рябой унтер с медалью на груди накинул на Мартинеса петлю. Пока он суетился, гася на убитом горевшую рубашку, лейтенант оглянулся через плечо на распахнутую дверь, откуда Мартинес появился и где теперь стояли Сережка и Генка.

— Шты руманешты? Га? — зло заорал офицер и, погрозив кулаком, остервенело потряс над головой пистолетом. — Се вре? Дуте ла дракуле! Ин латуры!

Ни Сережка, ни Генка не понимали слов лейтенанта, но тон, голос, вылетающие из орбит глаза — все как бы заталкивало их обратно в глубь дома. Там, в кухоньке, шумно и потрясенно всхлипывала Ганя.

Все трое забились в кухню, единственное окно которой выходило на спортплощадку. Притаились, дрожа от ожидания: вот-вот распахнутся двери и заклацают по полу подкованные каблуки. Но со двора неслись крики, полупьяная, с цыганским надрывом песня, брэнчала гитара. Сережка и Генка снова пробрались вдоль стены к одному из окон во двор.

Костер догорал. Соня и Мартинес будто стояли за пламенем, но лиц их не разглядеть. Солдаты разливали по манеркам шнапс и сливовицу, голоса звучали громче, веселее взрывался смех.

Группа захмелевших вояк, вероятно надеясь отыскать выпивку, вышибла партой дверь в подвал и с хохотом выбрасывала оттуда спрятанное Соней школьное имущество. Швыряли в огонь тетради, книги, наглядные пособия. Пьяный рыжий верзила, радостно гогоча, подфутболивал к костру голубовато-зеленый шар глобуса.

В заключение пиршества победители выволокли к костру скелет, который накануне так пугал Соню, и, захлебываясь хохотом, повесили между Соней и Мартинесом. Кто-то орал:

— Буне саре, фетица! Виу?

Но участие в каннибальской забаве принимали далеко не все. Большинство пожилых солдат устало расположилось в сто-

ропе, дымя цигарками, неодобрительно наблюдая за происходящим у костра. Офицеров во дворе не было: отдав необходимые на ночь распоряжения, они праздновали победу отдельно от рядовых. Из окон спортзала доносилась музыка, печальная, печальная, такая неуместная и ненужная в этой дикой ночи.

Под утро, когда большинство захмелевших победителей, спасаясь от утреннего холода, перекочевало в дом, мальчишки решили, что если уходить, то только сейчас. Во дворе почти никого: несколько успевших у костра пьяных да у распахнутых ворот скорчился на пустом ящике часовой.

Окно на кухне отворилось неслышно. Мальчишки выбрались первыми, помогли Гане. С ней, обессиленной и вдруг поглупевшей от пережитого страха, пришлось порядком повозиться.

— Но хочу! — упиралась она. — Я туточки... мени страшно!

И Генка, снова взобравшись на подоконник, дал упрямой девочке увесистого тумака.

— А ну шевелись швыдче, божья коровка! — подталкивал оп.— Ишь расквакалась: таточку, милэсенький таточку. Ну!

За кустами тёрна, обрамлявшими спортплощадку, прокрались в дальний угол двора, переждали минут пять в бомбовой воронке на месте недобуренной артезианской скважины, перелезли через забор...

24. СЕРЕЖКА

Еще совсем недавно, весной, которая сейчас кажется отброшенной на тысячи лет в прошлое, он и подумать не мог, что придется так близко, вплотную, увидеть чью-то смерть — и не одну! — и что после этих смертей он останется жить и сможет есть и спать и мечтать о куске хлеба, о глотке воды, об аромате горячей, рассыпающейся в ладонях картошки.

Если бы полгода назад кто-то сказал Сережке, что будет так, он просто рассмеялся бы: «Какая нелепость, сэр!»

А теперь все представления о жизни сместились, исказились, будто он смотрит в кривые, все коверкающие, над всем издевающиеся зеркала. Поблекли, померкли самые радужные краски. Голубизна неба, белые свечи каштанов, синева моря, терпкий запах сирени, — да было ли такое в твоей жизни когда-нибудь?.. Нет, не помню, ничего не было... Была и осталась

только ненависть — дикая, яростная, непрерывно растущая, распирающая грудную клетку, она душит, не дает дышать!.. Сережка и не представлял себе, что можно так ненавидеть людей. Если, конечно, их можно называть людьми.

«Да, девочка, я видела. И осталась живая», — горестно протаскивая в памяти скупые слова Арасели, сказанные будто бы го Дома. Сейчас эти слова звучат для Сережки почти пророчески, он тоже может сказать: «Я видел! И, как ни страшно, остался жив!»

Какими наивными и глупыми выглядели, вероятно, тогда в глазах Арасели они все: и Сережка, и Генка, и Неда, и все другие мальчишки и девчонки! Ее глаза столько видели, столько знали! А им, откуда им было понять мучившие Арасель чувства, как было услышать боль ее воспоминаний? Несмотря на горькую их судьбу, они знали о жизни и о людях очень мало, судили больше понаслышке, по книгам, которым верили и которые любили. Словно живые, вставляли перед ними герои книг: Овод и Спартак, Стенька Разин и Емельян Пугачев, Чапаев и Павка Корчагин и многие другие, не пожалевшие в борьбе за народ своей жизни...

А ты помнишь, как Тиль Уленшпигель бил себя кулаками в грудь: «Пепел Клааса стучит в мое сердце!» А? Раньше ты не понимал и миллионной доли чувства, вырывавшего этот крик из груди Тили!.. Зато теперь... Всю твою остальную жизнь будет стучать в твое сердце «пепел» Мартинеса и «пепел» бесхитростной школьной сторожихи. Соня умерла героически, хотя и не умела, как ты, выпендриваться разглагольствовать о мужестве и героизме. «Мый Мыкола! Мый коханий Мыкола!» — далеким эхом колыхнулось в глубине памяти...

А глаза и уши, словно они жили отдельной, обособленной жизнью, уже приучались зорко и опасно шарить по сторонам, с звериной чуткостью подмечая признаки грядущей беды... Еще далекий, но наглый скрежет по камню подкованных сапог, призывающий на помощь придушенный жепский крик на задворках полусторевшего дома, автоматные очереди на Молдаванке, в Аркадии, в порту...

Вражеские патрули по-хозяйски чеканят шаг на улицах твоего родного города. Они еще хмельны от недавнего пиршества, еще возбуждены ощущением долгожданной победы. Их танки и автомашины, испятнанные змеиными узорами камуфляжа, застыли повсюду — в тени твоих любимых платанов, у

тротуаров, в глубине твоих школьных и больничных дворов, на твоих спортплощадках, в твоих скверах и на площадях. И плоские, словно вдавленные в мостовую трупы твоих земляков, твоих сограждан! Трупы повешенных на деревьях Пролетарского бульвара, на балконе дома на улице Восьмого марта, на платанах Примбуля. Это останки тех, кто, подобно Мартинесу и Соне, нашел в себе мужество, посмел сопротивляться. А ты...

В то утро, первое утро оккупации Одессы, троим детдомовцам пришлось долго добираться до больницы Надежды Васильевны. Ганя, словно полумертвая, валилась от страха с пог, ей мерещились кругом те, кто утопил в болоте ее «тато и мамо». Сережка, как мог, успокаивал ее, а Генка, тот злился да поровил дать ослабевшей девчонке тумака.

— А ну, двигай!.. Ежели гады и ту больницу не заняли! — бурчал он.

Задворками, переулками, проходными дворами, пригибаясь, а иногда и ползком, они пробирались по улицам, которые еще вчера были такими знакомыми, а сейчас стали чужими и враждебными. Догорали костры, ржали лошади, гортанно перекликались часовые, громоздились на перекрестках пыльно-зеленые, закопченные и задымленные железные туши танков, тупо глядели в небо дула орудий...

Мальчишки решили оставить Ганю у Надежды Васильевны и снова добираться до Нашего Грека: на «верхотуре» все-таки можно пока приютиться, дальше будет видно...

На их счастье, непрошеные визитеры в больнице Надежды Васильевны еще не появлялись, — видимо, потому, что помещалась она в невзрачном, давно не отремонтированном здании, без двора; а на подходе к ней, в переулке, дымилась развалины разбитого бомбой тарного склада. Там громоздились скелеты обгоревших железных ящиков и пустых бочек из-под горючего, сверкали в дыму горы битого бутылочного стекла.

И персонал больницы, и перевезенные из госпиталя раненые, и больные, те, что не смогли уковылять домой, и те, у которых уже не было дома, всю ночь со страхом ждали появления новых, пезванных «хозяев». Поэтому Надежда Васильевна и увидела своих питомцев издали, когда они, крадучись и озираясь, перебирались через тлеющие головешки и горы битого стекла во дворе тарного склада.

Она выбежала навстречу в белом развевающемся халате, в белой шапочке, из-под которой выбивались седые — в сорок-то

лет! — прядки. Обнимая Ганю и мальчишек, плакала, ощупывала жадными руками, словно не верила, что это они, невредимые и живые. Обычно скуповатая на внешние проявления ласки, старавшаяся держаться одинаково со всеми детьми, сегодня она показалась Сережке неожиданно другой, будто рухнула в ней невидимая преграда, годами сдерживавшая ее чувства.

Особенно остро Сережка почувствовал это, когда Надежда Васильевна провела их к койке Неды; та лежала разметавшись, отбросив одеяло, пунцовая от жара, с запекшимися губами. Надежда Васильевна смотрела на больную с такой тревожной нежностью, что у Сережки защемило сердце.

Даже вечно ершистый и гаерничающий Генка стоял у постели Неды, необычно хмурясь и покусывая губы, глаза у него подозрительно блестели.

Ганю Надежда Васильевна отвела в бельевого склад, и измученная страхами девчонка сразу же уснула на куче пропахших дезинфекцией одеял. «Может, придет в себя, — сказала Надежда Васильевна ребятам. — И будет тогда у меня не одна, а две дочки!»

Сначала она намеревалась и мальчишек оставить при больнице: все-таки на глазах, рядом. Но Сережка и Генка хотели побывать у Нашего Грека: хромоту сейчас, как никогда, нужна помощь, и Надежда Васильевна не стала перечить. «Наверно, по-своему они правы. Мужественные мальчишки! — подумала с уважением. — Не хотят бросать одинокого старика». А может, на «голубятне» Николая Аристидича ребятам и впрямь будет безопаснее: высоко живет и переулочек не очень бойкий. Ведь вполне законно предположить, что в первые дни оккупанты будут особенно свирепствовать, вымещая на беззащитных жителях злобу за два месяца, в течение которых восемнадцать дивизий топтались на подступах к городу. За десятки тысяч могил, вырытых ими у рубежей одесской обороны.

— Ну что ж... бегите, пока не рассвело! — со вздохом согласилась Надежда Васильевна. И опять с жалостью и болью посмотрела на Неду. — Все-таки надо было мне вас отправить. Не было бы теперь...

— А вы тут ни при чем! — сердито перебил Генка, с трудом отводя взгляд от пылающего лица больной. — Мы сами остались...

— Да? Ах, да, да... А где же Мартинес? — спохватилась вдруг Надежда Васильевна, растерянно оглядываясь. — Он же был с вами! Что с ним?

Сережка опустил голову, щеки, лоб и даже шея побагровели. А Генка, щурясь, словно от бьющего в глаза света, буркнул:

— Был и пету! Генка расскажет! — И вскинулся, затормозился: — Пошли, Бес! А то проснутся, гады, и не доберешься!

Надежда Васильевна молча проводила мальчишек на крыльцо, тягостное предчувствие сжимало ей сердце. Но что-то помешало остановить ребят и заставить их рассказать все...

До башни Крестодуло им удалось добраться без особенных приключений. Осторожно обходили места скопления войск, а их ввалилось в Одессу несколько десятков тысяч. Оттуда, где разместились солдаты, несмотря на ранний час, неслись крики, смех, ржание лошадей, звяканье металла. Тянуло ароматным дымом походных кухонь.

— Мамалыгу жрать будут, гады, — облизывался Генка. — Эх, попить бы нам с тобой, Бес! А?

— Неплохо бы...

Заслышав шаги, мальчишки забивались в подъезды, в деревянные сараи, прятались за помойками и в уборных. Шарахались от трупов, лежавших во дворах и на улицах. Так добрались почти до Пушкинской. И здесь...

— Смотри! Колонка!

— Вот поъем!

Но возле водоразборной колонки, привалившись спиной к фонарному столбу, свесив подбородок голову, сидел бородатый мужчина в кепке и синем ватнике, босой. Мальчишки увидели его не сразу, а увидев, притаились, замерли.

Стильный октябрьский рассвет медленно натекал в улицы. Влажно блестели камни мостовых. Безжизненно смотрели в улицу зачеркнутые бумажными крестами окна. Рядом с бородатым валялось ведро.

Мальчишки прождали минут пять, сидевший у столба не шевелился.

— Если спит... — начал Сережка, но перебил себя: — Нам же нельзя ждать, Ген!.. Рассветает...

— Я погляжу, — решил Генка и, скользя спиной по настывшей за ночь кирпичной стене, стал пробираться к колонке.

И только там, подкравшись, увидел надпись — крупные черные буквы на фанерной дощечке, привязанной к крапу куском колючей проволоки:

**ВАДА ТОЛКО НЕМЕЦКИ И РОМАНСКИ ЗОЛДАТ.
НАРУШЕНИИ — РАССТРЕЛ. ОН БОЛШЕ НЕ ПИТ!**

И черная кривая стрела в сторону бородатого.

Генка рассмотрел на склонившемся лице две темные вмятины, засохшую на шее и груди кровь. Увидел пулевые дырки на валяющемся рядом ведре.

— Спит? — спросил Сережка, когда Генка вернулся.

— Спит! Пошли, пока и нас тут не убаюкали.

И через час Рыжие сидели перед всклокоченным, растрепанным Греком. Болезненно щурясь, Генка рассказывал, что с ними за ночь произошло.

Слушая странно медлительные слова и сопение Генки, Сережка вспоминал Надежду Васильевну, ее судорожную радость и судорожные объятия, Неду. Может, думал он, Неда похожа на ту, давно умершую дочку Надежды Васильевны? И может, все годы Надежда Васильевна любила Неду больше других, но скрывала, хотя бы потому, что заведующей, как и всем, работающим в детдомах, полагается любить всех воспитанников одинаково?..

А Наш Грек, потрясенный услышанным, хромая, с силой припадая на палку, бегал по «верхотуре», останавливался у балконной двери и выглядывал вниз, на улицу. Выглядывал с таким напряженным выражением, словно именно там, под балконом, боялся увидеть то, о чем рассказывал Генка. Наконец Генка замолчал, съездившись, будто от озноба, облизывая запекшиеся губы.

— Варвары! Гунны! — Николай Аристидич, обращаясь к балкону, потрясал тростью. Хватал со стола пустую трубку, жадно нюхал, с яростью швырял на стол. — Безнаказанность! Уверенность, что не спросится ни на земном, ни на так называемом Страшном суде! Да, да! — Споткнувшись на ровном месте и чуть не упав, остановился перед креслом, где сидел Генка. — Не дамо! Не дамо! А он как кричал? Абъекто? Елла демпасарадо? По-испански? А что значит? А?

— Не знаю, — устало отмахнулся Генка и жадно облизнул потрескавшиеся губы.

И словно очнувшись и внезапно поняв что-то, Грек бросился к раковине водопровода. Сунув под проволоку трость, сорвал с крана пломбу, вытащил плотно вбитую пробку. Но в кране лишь пошипело и опять стихло.

Тогда старый учитель вдруг вспомнил: за книжным шкафом хранится бутылка «Цинапдали», припасенная ко дню рождения Спираки, дню, который не пришлось справить. Выхватив дрожащими руками бутылку, Николай Аристидич попробовал

ввинтить штопор в пробку, но штопор не лез, пришлось пробку протолкнуть внутрь.

— Сейчас, Гена, сейчас!.. Сережа! Чашки в шкафу!

Так неожиданно, в первое утро вражеского вторжения, они молча выпили «за свободу, за победу, за жизнь!».

Правда, Сережке, с его тягой к папыщенному, красному словцу, хотелось произнести соответствующий тост, но остановила мысль: вдруг прозвучит фальшиво?

«А что будет с нами завтра, послезавтра, через месяц? — спрашивал он себя ночью, ворочаясь без сна рядом с Генкой под старым пальто Николая Аристидича. — Можно ли жить вместе с кровавыми унырями, выполнять их приказы?» И, переворачиваясь на другой бок, отвечал себе чуточку витиевато и книжно, как всегда: «Можно и нужно, если бороться!»

— Да брось ты дергаться, будто барабулька на крючке! — шепотом возмущался Генка, приподнимаясь на локте. — Давай спи!

Как легко сказать: спи!.. А если чуть закроешь глаза, маячат перед глазами за желтым, прыгающим пламенем костра неподвижные фигуры Сони и Мартинеса? И крик: «Мыкола! Мыкола!» и «Абуекто! Елла демпасарадо!» — даже если не понимаешь, что сие значит! И повешенные на акациях Пролетарского бульвара и на улице Восьмого марта!..

Что тогда?

25. И В ДОМЕ ВРАГИ

Первые дни Кристодуло не разрешал Рыжим спускаться с башни, выходить на улицу, не велел даже открывать дверь на балкон: случалось, оккупанты стреляли по окнам и лоджиям, где показывались люди, где угадывалось движение, — боялись партизанских гранат и бомб.

А жить взаперти стало невозможно. Продукты кончились сразу же с приходом Рыжих — как-никак три рта, не считая Пирейки! Доели затируху из последков муки, сгрызли остатки ванильных сухариков, чудом завалявшихся в глубине посудного шкафа с довоенных времен. Не было ни капли воды.

По ночам дрожали и коченели от холода: отопление не работало с весны, а в дни осады в восточном окне взрывной волной выхлестнуло все стекла. У безалаберного Нашего Грека,

конечно, не нашлось ни досок, ни фанеры заделать дыры, и ра-
му завесили ковриком, лежавшим раньше на полу; от холода,
проникавшего с улицы, истертый коврик не защищал.

В двадцатых числах октября восемнадцать дивизий, состав-
лявшие 4-ю армию короля Михая, сильно потрепанные под
Одессой, получили пополнение и после помпезного парада на
Соборной площади двинулись дальше — на восток, к Крыму,
где неприступно вздымался Севастополь. В Одессе остались
части гарнизона и комендатуры, чины жандармерии и полиции,
чванливые сановники Транснистрии — им предстояло насаж-
дать и утверждать в городе «новый порядок».

Старый хромой учитель, по-мефистофельски вскидывая
брови, с проклятиями поминал каких-то неизвестных Рыжим
Ницше, Шопенгауэра, Габриэля д'Аннунцио.

— Апостолы подлости и мракобесия! — с бессильной яро-
стью выкрикивал он.

На третий день мальчишки все же собрались в город. Ни-
колай Аристидич на своей распухшей ноге не мог и подумать
о том, чтобы спуститься с лестницы. Вручив мальчишкам ко-
фейник и маленькое ведерко для воды, проводил их до дверей.

И тут они трое вдруг замерли: на чугунной лестнице слыша-
лись шаги, громче и громче, кто-то взбирался на «верхотуру».
Переглядываясь, обреченно ждали у двери — любое посещение
грозило бедой! Стараясь подавить волнение, Наш Грек жестом
приказал Рыжим вернуться в комнату.

Но тревога оказалась напрасной: пришла проживавшая дву-
мя этажами ниже крошечная, бровастая, похожая на мохнатую
гусеницу, придавленная хворями и невзгодами старушка пенсио-
нерка Марина Ильинична. Ее внук когда-то учился у Николая
Аристидича, а в августе она получила на него похоронку. Из-
под надвинутого на брови черного платка потерянно смотрели
измученные, высветленные горем глаза.

— А я слушаю, Аристидович, тихо как у нас в башне, слов-
но в могиле лежим. Бывало, весь день лестница гудит. А тут
и вашей палочки не слышать стало. Уж, думаю, не стряслось ли
чего с учителем, не ровен час! И сама-то мышью в норе затаи-
лась, только вчера за водой на Люксембургскую вылезла. Оста-
вили там, природы, па весь район колонку единственную, да скупю
водица текет, кап да кап. Цельный час в очереди стояла.
И страху натерпелась, не приведи бог. Кого с ружьями ведут,
кого волоком тащат, кого не сходя с места бьют. А на углу Марк-
са, гляжу, на воротах двое висят, один старенький, вроде вас,

а вторая молодая, годов тридцати, не боле. И вороны над ними на прикрышке сидят. И откуда взялись? Никогда вроде ворон в городе не видела. Вы-то как, Аристидович? Ни попить, подика, ни поесть?.. Бе-да! А ведь они чего еще приказывают, про-ды! На биржу на трудовую чтобы всем явиться немедленно, а то — тюрьма, каторга! Завтра с утра и идти... Всем, кто от шестнадцати до старых годов...

И лишь высказав наблевшее, она через плечо Кристодуло разглядела в глубине комнаты мальчишек.

— А эти воробыши откудова, Аристидович?

— Сироты, Марина Ильинична. Детдомовские.

— Из Надеждиногo Дома, поди-ка? Так-так, милые, бедолаги вы мои!.. И неужели, Аристидович, силы на супостата не сыщется? Неужели так и будем отступать и отступать? До Москвы-то еще не допер, проклятый?

— Нет, Ильинична!

— И то свет!.. Водички-то у вас, наверно, вовсе нету? У меня осталось кружки две, поделюсь до завтра. А утречком, может, и твои воробыши, Аристидович, со мной к колонке пойдут? А? Вместе бы не так боязно, свои рядышком. Пусть бы вроде и жить больше не к чему, а все одно раньше времени к богу не хочется... Эй, воробыши! Айда сейчас кто со мной, я водички малость вам отолью. Хоть попьете, раз кусать нечего...

На следующее утро мальчишки спустились к Ильиничне и вместе с ней — к подножию башни. Отогнув уголок занавески, Николай Аристидич наблюдал за улицей из окна. «Проклятая нога! — кривился он. — Если бы я мог пойти с ними!»

Рыжие и Марина Ильинична постояли, притаившись, в дверном проеме башни, всматриваясь в каменный коридор переулка. Никого. Лишь в воротах на той стороне, наискось, мелькнула и сгнула чья-то тень: видно, жажда и голод не одних их выгоняли на улицу.

— Особливо трудно, у кого детишки, — сочувственно вздыхала Ильинична, прикрывая рот уголком платка. — Дети ведь не понимают «нет» да «погоди». Они: «Мама, дай! Мама, хочу!»

А под карнизами крыш мирно, как и раньше, гугулькали сизари.

— Ну, благослови господи! — перекрестилась Ильинична. — Пошли, милые!

Чуть-чуть накрапывал, моросил дождь...

Улицы, знакомые до мельчайшей выбоины, выглядели непривычно, местами страшно, там, где лежали трупы. Почти все

магазины разбиты, разграблены — это похозяйничали оккупанты. По Дерибасовской и Ленинской в облаках бензиновой гари с лязгом проносились мотоциклисты, легковые автомашины сверкали припыленным лаком. Голубели в паутище трещи разбитые пулями эмалевые дощечки с именами улиц — Энгельса, Гарибальди, Жанны Лябурб; кое-где на месте прежних красовались новые трафаретки: «Проспект короля Михая», «Проспект Гитлера», «Аллея маршала Антонеску».

На Пушкинской сивоусый толстяк в желтом комбинезоне, крихтя, с трудом удерживался на верху стремянки, прибивая над бывшим кафе двухметровое полотнище: «Парикмахерская Г. Попеску». С невысохшей вывески на Дерибасовской зазывно улыбалась белокурая «медхен» с пенящимся бокалом в изящно отставленной наманикюренной ручке. «У мадам Миндл» — называла вывеска имя хозяйки.

Перед вновь открытыми магазинами и закусочными — бodegaми — и парикмахерскими толпились, гогоча, солдаты. Вытягиваясь в струнку, лихо козыряли надменным локотенентам и колонелям, бригаденфюрерам и шарфюрерам, провожали завистливыми глазами проезжающие машины с веселыми расфуфыренными девицами — эти гуляли с офицером.

Сережка поражался: откуда вдруг они появились — и ярко размалеванные дамочки, и старомодные фэтоны, которые он видел только в кино, в картинах о дореволюционной жизни?

Проезжали в легковых машинах сытые, апоплексического вида «домнулы» из Примарии и других учреждений, призванных возможно скорее превратить Одессу в подлинную столицу Транснистрии, достойную имени маршала Антонеску.

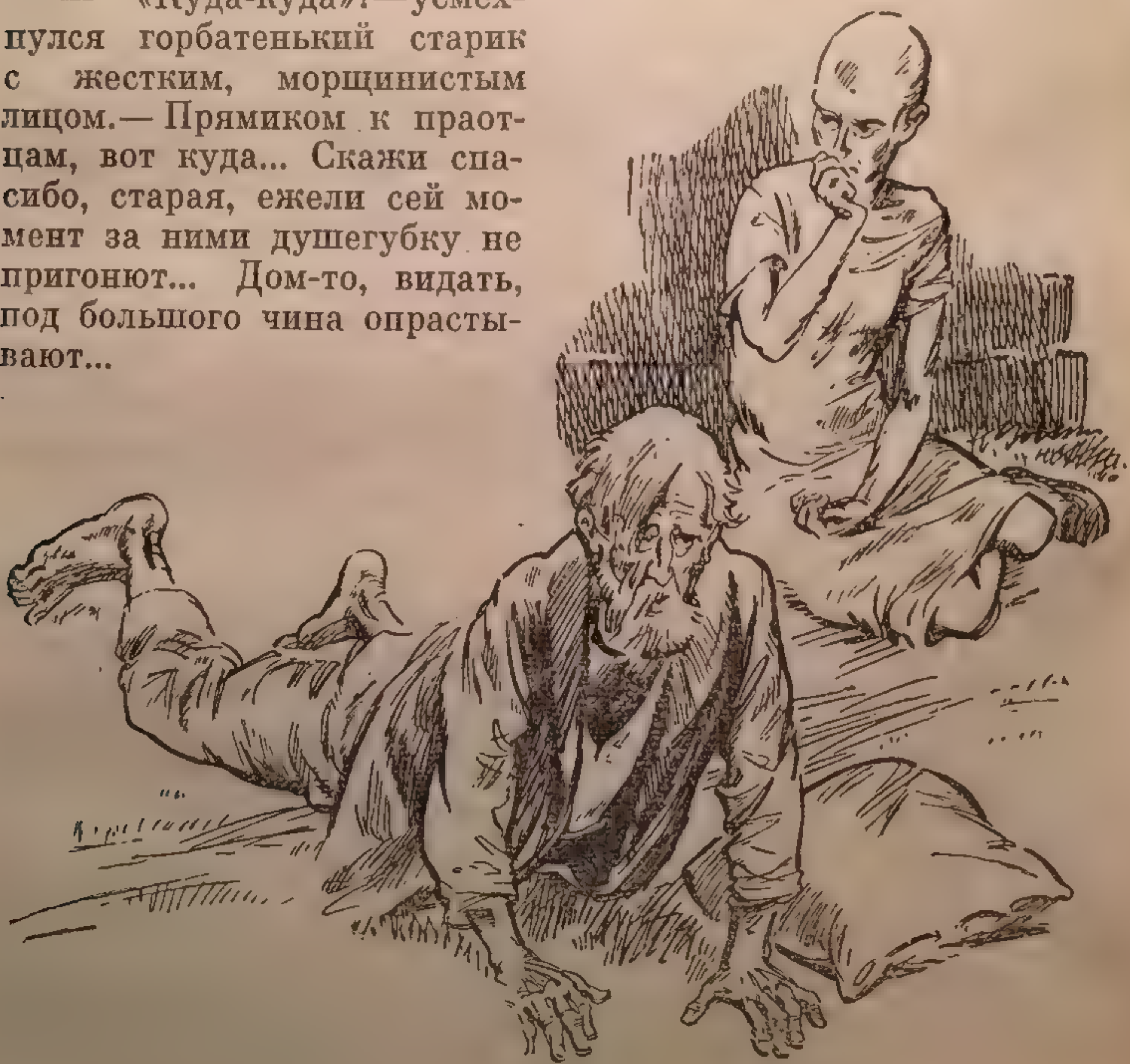
Да, трудно поверить, что этот город — солнечная, веселая, гостеприимная, щедрая на острое слово Одесса, в которой ребята жили и которую любили. Сережке снова припомнился не такой уж и давний сон, где он, Сережка, плутал по лабиринтам мертвого города и на него, стараясь раздавить, тупыми железными рылами падвигались автомашины без людей. Ведь что-то пророческое было, оказывается, в том сне; и чувство, пережитое тогда, близко тому, что испытываешь сейчас...

Возле их старого Дома мальчишек ждало неожиданное. Ворота во двор были распахнуты, у подъезда громыхали три грузовика, а на крыльце и в Доме орудовали, крича и похохатывая, немецкие солдаты.

Офицер в наденнутой на глаза фуражке с высокой тульей стоял на крыльце, расставив ноги, и с недоброй пристальностью

Когда Сережка и Генка остановились возле Дома, у ворот под дождем стояла толпа — женщины, старики, дети. Люди хмуро наблюдали за выселением больных и раненых.

— «Куда-куда»! — усмехнулся горбатенький старик с жестким, морщинистым лицом. — Прямоком к праотцам, вот куда... Скажи спасибо, старая, ежели сей момент за ними душегубку не пригонют... Дом-то, видать, под большого чина опрастывают...



7 Pyt

— Господи! Да что же они, гады, делают? — негромко вскрикнула маленькая женщина с грудным ребенком на руках. — Неужели, бабоньки, так и будем смотреть на их изуверство? Или и мы уже не люди? Товарищи! Граждане!

— А ты и не гляди! — отозвался горбатый. — Беги вон к тому, что возля крыльца ползает, тащи к себе. От ребеночка оторвешь — ему дашь!

— И оторву. И дам! — кричала женщина, бросаясь во двор, к крыльцу, где рядом с ползающим по земле мужчиной бессильно сидела костлявая, неимоверно худая, остриженная наголо девушка. — Ведь люди же мы! Люди!

И следом за маленькой во двор потянулись другие, только горбун с морщинистым лицом, желчно посмеиваясь, остался на месте. «Действительно, — подумал Сережка, с ненавистью разглядывая горбатого, — можно поражаться отваге одиноких женщин, изможденных, с голодными, провалившимися глазами. Куда, зачем берут они себе на шею, в нетопленное, обнищавшее жилье, лишнюю обузу, такое ярмо? А ведь берут! Плачут, причитают, а уводят с собой».

Фашисты, подбоченясь, стояли на крыльце с сигаретами в зубах. А кто-то из полицаев, помогавших очищать Дом, кричал из окна:

— Шнель! Шнель, бабы! Дешевая распродажа! Вон того, одноногого, хватайте, молодки!

Мертвого старика трое дюжих немцев наконец с трудом освободили из его коечного плена и, раскачав, швырнули в кузов машины.

— Оп-ля!

— Ну, пошли, пошли же! — шепотом звала мальчишек Марина Ильична, торопливо крестясь. — Ну, чего интересного? Зверство, оно зверство и есть! Ишь, проды... ни капли в них человечества... одна жестокость.

Во дворе полусгоревшего, разбомбленного дома, у водопроводной чудом уцелевшей колонки робко жалась к закопченным стенам очередь — женщины, старики, дети. Рыжим и Ильичичне пришлось простоять около двух часов.

Вслушиваясь в вызывающее жажду прохладное бульканье и позвякивание жиденькой струи о жесть котелков и ведер, Сережка думал о Неде. Как она? Лучше ей, пришла в себя? Являлись к ним в больницу фашисты? Может, являлись и так же повывкидывали больных на улицу — умирай как знаешь, где хо-

чешь? Хотя, пожалуй, нет, там здание старенькое, замызганное, наверно, никто из новых «хозяев» не захочет в нем жить.

Очередь медленно двигалась, испуганно перешептывались женщины, где-то плакал ребенок.

— Слушай, Бес! — Стоявший рядом с Сережкой Генка толкнул его локтем в бок.

Задумавшись о Неде, Сережка совсем и позабыл о Генке, позабыл, зачем пришли, зачем жмутся в длинной, боязливо притихшей очереди.

— Ну что?

— А давай отнесем воду и потом смотаемся на часок к тете Наде. А? Узнаем, как у них и что? Вдруг так же вот?.. — И Генка махнул рукой в сторону бывшего Дома. — Может, помочь надо?

Генка с деланным равнодушием отводил глаза, словно разглядывал на бревенчатой, закопченной стене что-то интересное. Но несмотря на Генкины хитрости, Сережка прекрасно понимал: Генка знает, что Сережке не терпится узнать про Неда. Генка, он часто притворяется грубым и бесчувственным: мне, дескать, на все наплевать. Все трып-трава! А на самом деле он лучше, добрей.

— Давай, — помедлив, согласился Сережка и, поклонившись, почесал ногу: не хотел, чтобы Генка заметил покрасневшие щеки. — На улицах, кажется, не так уж и страшно. Правда?

— А чего сделают? Другие пацаны бегают хоть бы что!

Возвращаясь с водой, Рыжие снова заглянули в ворота Дома. За эти два часа во дворе не осталось ничего, что напоминало бы о выселенной больнице. С грузовых машин теперь выгружали гнутую позолоченную мебель, огромные зеркала в резных рамах, бильярдные столы, буфетные стойки, широкие деревянные кровати. У подъезда стояли в ряд четыре высокие декоративные пальмы, за ними прислонен к стене большой, во весь рост, портрет Гитлера.

— У-у, сволочь! — плюнул Генка. — А пальмы-то, Бес, вроде как у нас в пионерском дворце были. И кадушки такие же зеленые...

Они собирались уходить, когда у ворот появились три легковые автомашины — приехала группа военных и штатских. Это было, по всей вероятности, какое-то начальство: крики и гам во дворе сменились почтительной тишиной. Военные все важные, в шевронах и орденах, с крестами и свастиками. Среди штатских заметно выделялся высокий, стройный седой

человек в сером плаще и мягкой шляпе, по-русски он говорил свободно и хорошо. И видимо, не знал немецкого — военные обращались к нему на ломаном русском.

— Да, Зигфрид! — растроганно говорил штатский упитанному, краснолицему генералу, с видимым волнением оглядывая Дом. — Мои предки прожили в Одессе не меньше века... И вот я, так сказать, вернулся к родным пенатам...

— Что есть пенаты? — переспросил генерал, сняв фуражку и вытирая платком потный лоб. — Я не понимаю пенаты...

— Пенаты, пенаты? — засмеялся человек в сером. — Это идиома, Зигфрид!.. Пенаты — древнеримские боги, покровители очага... Дом, конечно, обветшал и будто стал поменьше... Но, полагаю, доблестным воинам фюрера здесь будет приятно отдохнуть от ратных трудов, от подвигов... И подумать только — вернуться через двадцать лет! О время, время! Если б был жив старый Николас, он изрек бы: «Сик транзит gloria мунди!» Так проходит слава земная... Удивительно любил шаблонные и напыщенные фразы. Но вряд ли жив... Все мы смертны, Зигфрид!

— Нация бессмертна! Идеи фюрера бессмертны! — убежденно возразил генерал, поднимаясь на крыльцо. — Давай будем осмотреть дом. Я думаю, скоро мы здесь принимать наших... как это говорить русски, дас Хельдс?

— Герои, Зигфрид!

— Да-да, они есть герои. Они будут иметь здесь за большие битвы маленький парадиз, такой небольшой раешник, да?

— Не раешник, а рай, Зигфрид! — рассмеялся штатский. — Маленький рай! Но даже в маленьком раю, Зигфрид, должны быть очаровательные гурии!

— Гурии? — Подняв седые брови, краснолицый генерал задержался в дверях. — Что есть гурии?

— О!

Штатский сделал несколько округлых движений перед собой, и краснолицый генерал расхохотался.

— О, это я понимаю! Гурий есть необходим доблестный офицер фюрер, когда они занимать Москва, Сталинград, Кавкас, весь Россия!

Приехавшие говорили по-хозяйски громко; возившиеся с имуществом солдаты сохраняли почтительное молчание, каждое слово, сказанное на крыльце, доносилось до ворот, где стояли мальчишки...

26. „ХОЗЯЕВА“

Но в больницу к Надежде Васильевне Рыжне попали лишь на следующий день. Когда вернулись на «верхотуру», хлынул неистовый ливень, с неба и крыши низвергались бурлящие бешущие потоки, в грязной пене и пузырях неслись по тротуарам и мостовым, шуршали осенними листьями и бумажным мусором, сдирали на крутых спусках асфальт, выворачивали булыжник. И ночью, до самого рассвета, ржаво стонало под ливнем железо крыш, дребезжали в рамах уцелевшие стекла, яростно хлестал дождь. «Ну и распоясалась матушка стихия», — бормотал измученный бессонницей Наш Грек.

Сережка тоже не спал, слушал угрожающее бормотание в водосточных трубах и вспоминал, как они с Недой однажды бежали по какому-то поручению Надежды Васильевны в центр, и их застал такой же ливень, и Неда сказала про водосточные трубы «дожделивые». Странное, смешное детское слово! А запомнилось, наверно, на всю жизнь...

Он с трудом дождался утра, растолкал похрапывавшего Генку. Кристодуло поначалу никак не хотел отпускать их, но смывленный, практичный Генка уговорил старика.

— А чего же мы, Николай Аристидич, шамать тогда будем? Я вчера поглядел, пацаны вовсю бегают, газетами торгуют, ботинки чистят, чемоданы у гостиницы таскают. Жрать-то ведь нам надо! А?

И скрепя сердце Наш Грек отпустил бывших учеников, отпустил, несмотря на то, что одолевали его и темные, недобрые предчувствия, и скорбные размышления о собственном бессилии. Рана на ноге не заживала, опухоль не уменьшалась, хотя он старательно мазал ее йодом. Не раз спрашивал себя: а что бы с тобой случилось, грек, если бы не появились мальчишки? Он думал о них с теплотой и нежностью, и ему пришло на память, что когда-то, показывая им в телескоп Бетельгейзе, он называл четверку детдомовцев Созвездием Надежды. Как давно, кажется, это было, во время совсем иной, неимоверно далекой жизни.

— Ну что ж... топайте, — сказал он со вздохом. — Но берегите себя...

И мальчишки ушли.

Да, улицы Одессы жили, жили незнакомой, странной, шумной, чужой жизнью. С сигаретами в зубах слонялась по улицам нахальная фашистская солдатня, проносились, разбрыз-

гивая лужи, мотоциклы и автомашины, с ведрами и хозяйственными сумками робко пробирались вдоль стен дети и женщины. Из дверей бодер сытно пахло теплым и жареным, возле биржи труда тысячеголовой змеей извивалась тихая, будто придавленная, очередь, значит, правда: гонят ремонтировать порт и вокзалы, отправляют в Германию.

Но вот и развалины тарного склада, а за ними больница... Из госпиталя в последнюю ночь эвакуации Надежда Васильевна со всеми предосторожностями переправила в больницу семерых с переломами позвоночника и с сотрясением мозга, эвакуировать их морем было равносильно убийству. Раненых перевезли тайком, как пострадавших при бомбежке, а в больнице подобрали для них документы, оставшиеся в канцелярии после тех, кто совсем недавно ушел в небытие. Пришлось бывших военных, бойцов и командиров Красной Армии «превратить» в штатских товарищей, переклеить в паспортах фото, местами подчистить даты в надежде, что новые «хозяева» не заметят подделки.

И в больнице никто из лежавших раньше не знал, что привезенные ночью ранены задолго до последней бомбежки... Конечно, был риск: трое из семерых впадали в беспамятство и в бреду болтали всякое, в том числе — правду! Но что оставалось делать?

Одним из семерых, перевезенных из госпиталя, был Алексей Кордупов: он упросил Надежду Васильевну не отправлять его из Одессы. «Если суждено умереть, пусть рядом... Я долго ждал, — задыхающимся шепотом повторял он в последнюю ночь. — А если встану, может, и пригожусь здесь... У меня ненависти к ним на десятерых хватит... И война-то не окончена да и не окончится, пока они тут».

Надежду Васильевну Рыжие увидели сразу, лишь переступили порог, она похудела и изменилась неузнаваемо. Она тоже заметила мальчишек у входных дверей, быстро пошла навстречу.

Они даже не поздоровались, будто обычные, обязательные раньше слова внезапно утратили смысл, позабылись намертво. Надежда Васильевна испытующе оглядела Рыжих, негромко бросила:

— Ну, пойдем! — и, повернувшись, зашагала вперед.

В одном из боковых коридорчиков, где, как и во всем здании, удушливо пахло карболкой, в самом конце она открыла незаметную белую дверь и, отступив, пропустила мальчишек.

Узенькая и длинная, как пенал, компата с боковым окном, в прошлом, видимо, подсобка или кладовая. У стены — маленький столик, раковина умывальника, инструментальный шкаф.

В глубине, у окна, стояла железная больничная койка и рядом раскладушка с неубранной постелью, на белой тумбочке у кровати — пустая тарелка, кружка. На краю стола поблескивала замком черная сумочка Надежды Васильевны. А на койке Неда с ввалившимися щеками и глазами, поверх одеяла — тонкие, похудевшие до прозрачности руки. Но карие глаза с золотыми крапинками радостно вспыхнули.

— Ты?.. — удивленно сказала она Сережке. — Ты-ы...

Возле койки стояла белая больничная табуретка. Надежда Васильевна подтолкнула Сережку к ней, а Генка, чему-то нехотая ухмыляясь, пристроился на подоконнике...

— Поправляемся понемножку, — со вздохом сообщила Надежда Васильевна. — А то ведь совсем плохо было нашей Рогнедке. Ну, как, Недочка?

— Спасибо. — Неда едва слышно перевела дыхание. — Мне хорошо... А Ганя?

— За водой с санитарками пошла. Скоро явится...

— А-а-а... — Глаза Неды смотрели не отрываясь на Сережку, и он терялся под ласковым взглядом, не знал, куда девать руки, куда смотреть... И все добрые и нежные слова, которые так легко приходили ночью, исчезли из памяти, пропали.

— Ну вот! — повторила Надежда Васильевна, легонько погладила Неду по голове. — А ты придумывала бог знает что! Видишь, живые и невредимые!.. Ну, однако, мне, ребятня, придется вас покинуть. Посидите, побалакайте, а я отправляюсь в их Примарию проклятую.

— Какую еще Примарию? — спросил Генка.

— Управа городская. Документы на больных и персонал требуют...

Генка соскочил с подоконника, глаза перебегали с Сережки на Неду, на Надежду Васильевну.

— Можно я с вами? — спросил, похлопывая по колену кепкой. — Бес пока тут побудет, а я погляжу в городе, как и что? Нам ведь, Надежда Васильевна, на работу пристраиваться надо. А то жрать нечего. И Наш Грек тоскует, нога — как бревно, и табаку нету! Если не устроимся — хана!

Надежда Васильевна задумалась на секунду, что-то прикидывая в уме.

— Ну что ж, Гена, — согласилась наконец. — А не бо-
ишься?

— Да плевал я на них, кисло им в борщ!

— Ну-ну! Потихе...

Еще накануне в больницу принесли приказ: главврачу
явиться в полицию и Примарию с документами всего персона-
ла и больных. И хотя Надежда Васильевна числилась всего
лишь старшим терапевтом, идти по вызову пришлось ей. Глав-
ного убило на улице во время артобстрела тринадцатого октяб-
ря, а заведующая отделением вторую неделю лежала с тяже-
лейшим инфарктом.

Надежда Васильевна весьма смутно представляла себе, чем
может завершиться для медперсонала и для больных ее поход,
но намеревалась в Примарии «воевать». Собиралась положить
на стол новоявленному «городскому голове» перечень требова-
ний, пусть помогают, если считают себя хозяевами города!
Больных нечем кормить, на исходе последние граммы лекарств,
нет света и отопления, воду приходится носить за два километ-
ра. А в палатах, кроме больных обычными, так сказать, граж-
данскими хворями, около шестидесяти изувеченных при обстре-
лах и бомбежках. Их рук дело, пусть лечат!

— Не звери же в этой Примарии сидят, — успокаивала она
перед походом и себя и других. — Они — не эсэс, не гестапо,
не сигуранца. Они — гражданская администрация, обязанная
налаживать в захваченном городе нормальную жизнь. Есть же
международные правила, соглашения, конвенции!

На улице похолодало. Дул резкий, яростный, словно обезу-
мевший норд-ост, полосовал на дымные клочья затянутое ту-
чами, низкое, лохматое небо. Море патужно ворочало свинцовые
горы и хребты волн, крушило берега и непилось, особенно на
оконечности мола, где совсем недавно вздымалась башня Во-
ронцовского маяка. Маяк взорвали еще до ухода из Одессы на-
ронцовских войск: уж слишком отчетливым ориентиром был он для
вражеских батарей, бивших по городу от Дофиновки и Луза-
новки. Сережка и Генка наблюдали с Примбуля, как белая
колонна маяка опрокидывалась в воду, как на месте символа их
мечтаний о моряцком будущем вздыбился кипенный столб во-
ды. Вздыбился и распался, осел, даже с бульвара отчетливо ви-
делись разбежавшиеся от места взрыва, истаявшие, сошедшие
на нет круги... Как будто и не было никогда маяка!.. Что-то
безвозвратно ушло в те минуты из жизни Рыжих, из их дет-
ства...

— Надеюсь, скоро освободимся, Гена.— Надежда Васильевна пыталась успокоить и себя и Генку.

Свернула к Примарии, у подъезда которой пофыркивало моторами с десятков автомашин. Заложив руки за спину, перед подъездом стоял полицейский.

В здании, где разместилась Примария, Надежда Васильевна бывала до войны не раз. Ей нравилась его изысканная строгость, классические пропорции, напоминавшие о Ленинграде, о России, Воронихине, Казакове, Растрелли...

Сейчас, поднимаясь по мраморной лестнице, она неприязненно косилась на длинные полотнища красного бархата с нашитой на них черной свастикой в белом кругу. Такие полотнища местами полностью закрывали стены, от лепных украшений потолка до самого пола.

Примария не являлась армейским учреждением, но в вестибюле главного входа дежурил мордастый фашист в повенской, скрипящей и пахнущей ремнями военной форме. Цепко поглядывая поверх бумажки на Надежду Васильевну, долго вчитывался в предписание, повелевавшее администрации такой-то больницы явиться в Примарию. Генку он оттолкнул от дверей, и только после того, как Надежда Васильевна, повысив голос, заявила, что пойдет жаловаться его сиятельству генералу Гиперару, страж проворчал на ломаном русском языке:

— Ну, тиш, тиш! Порядок!

На всех этажах и в коридорах городской управы толпились оживленные люди, звучала русская, румынская, немецкая речь. Группа военных и штатских в полукруглом холле второго этажа громогласно обсуждала вести с фронта: по отдельным знакомым ей немецким словам Надежда Васильевна попяла: гитлеровские армии блокировали Крым. Она неприметно глянула на Генку: да, он тоже, кажется, понимал, о чем с ликованием, во всю силу голосовых связок орали захватчики. Запоздало пожалела: пожалуй, напрасно взяла с собой!

В широком двухсветном коридоре у закрытых дверей сановного начальства, обмахиваясь газетами и шляпами, пестро одетые дельцы в штатском рассуждали о льготах при получении патентов на открытие магазинов и ресторанов, о затруднениях при отправке и получении грузов по железной дороге. Низенький, отечный толстяк жаловался, что на разъезде под Тирасполем партизаны сожгли состав, где было два вагона его товаров.

— Мерзавцы! Сволочи! — вскрикивал он, вытирая платком потное лицо.— Я бы с них живьем кожу сдирал!

Держа Генку за руку, Надежда Васильевна бочком прошла вдоль стены. Подумала: вот оно, слетелось черное воронье! Возможно, что многие из этих орущих господ когда-то владели в Одессе или ее окрестностях поместьями и фабриками, особняками и виллами, виноградниками и винными погребами и четверть века ждали своего, вот этого победного часа. Она поспешно отводила взгляд, боясь, что в ее глазах слишком легко прочтут ненависть.

А они шумели, орали, хохотали, никто не постороился пропустить Надежду Васильевну, они просто не видели, не замечали ее, усталую, немолодую женщину.

Из кабинета в кабинет озабоченно сновали чиновники в необычных, будто опереточных, мундирах с погончиками и серебряными галунами; в руках папки дел, пачки бумаг. За массивными дубовыми дверями рассыпались дребезгом телефонные звонки, стрекотали пишущие машинки.

После получасовых мытарств Надежда Васильевна нашла, куда ей полагалось явиться. Оказывается, ее вызывали не к «городскому голове», а к немецкому «советнику», восседавшему в Примарии. Корректный, тщательно прилизанный юнец со свастикой на лацкане загородил дорогу: «Шеф занят, и ффрау имеет ждать».

Ждали в коридоре. И именно здесь Генка снова увидел человека, который вчера вместе с краснолицым немецким генералом осматривал их Дом. Да, да, он самый! Генка старательно вглядывался в бритое, чеканное лицо, рассеченное вертикальными морщинами от скул до подбородка, до самой шеи. Глаза под седыми пучками бровей веселые, торжествующие. Чувствовалась военная выправка, но одет бритый был в добротный штатский костюм, ладно сидевший на его статной, несмотря на годы, фигуре.

Разговор среди ожидающих шел о том, что власти Транснии не намерены полностью возвращать бывшим заводчикам и фабрикантам дореволюционные владения. За два десятилетия, миновавшие со времен революции и гражданской войны, большинство промышленных предприятий модернизировано и расширено, в них вложены значительные дополнительные капиталы, к которым прежние владельцы не имеют отношения. Власти Транснии, так же как представители рейха, полагают, что большая доля стоимости частных предприятий — собственность рейха и королевства. Что же касается жилых зда-

ний и земельных угодий, тут, ясно, дело обстоит иначе. Сады и виноградники будут возвращены.

Говорил бритый уверенно и веско, поглядывая на собеседников чуть свысока. Генка исподлобья всматривался в жесткое лицо, в резко очерченные губы.

Задумавшись, он на минуту упустил нить разговора, и, когда снова прислушался, бритый говорил о другом.

— Да, да, господа! Но в истоках стихийности, смею утверждать, всегда лежала вера. Глубочайшая вера, что наш час обязательно пробьет. Помню, в Париже наше общество помещалось тогда на бульваре Сен-Мишель...

— А оно, простите, господин Георгос, называлось так же, как и сейчас?

— Да, господа: «Союз ветеранов денкинской армии». Он существовал все эти трудные годы, хотя нас, как вы понимаете, оставалось с каждым годом все меньше. Здесь, в Одессе, мы обосновались в офицерском собрании, в здании, которое большевики занимали под дом своей армии. Кстати, у нас, в офицерском собрании, проводит свои заседания и общество памяти царя Николая. Заглядывайте — не пожалеете. Сообщу по секрету, что в недалеком времени в нашей ресторации появится французский коньяк!..

— Простите! — перебил кто-то чуть пропически. — Денки! Врангель! Царь! А не гальванизация ли это трупов? А?.. И основное: кто финансирует? Финансы, финансы, господин Георгос!

Георгос? Второй раз прозвучало это имя, и у Генки словно взорвалось что-то в памяти. Георгос! Виталий Георгос! Он вдруг увидел круглый стол в башне Кристодуло, разложенные на нем пожелтевшие листки, исписанные торопливым, первным почерком, услышал голос Нашего Грека. «Жестокость, жестокость и еще тысячу раз жестокость!» — так, кажется, взывал к своему папаше контрразведчик генерала Шиллинга Виталий Георгос. Неужели он? Неужели возможно?

Стискивая в карманах запотевшие кулаки, Генка всматривался в холеное, чисто выбритое, изборожденное морщинами лицо.

А может, совпадение? Может, однофамильцы? Ведь фамилия Георгос наверняка распространена у греков, как у русских Егоров? Генка ждал, что кто-нибудь из собеседников назовет бритого по имени.

Но резная дубовая дверь бесшумно распахнулась, и юнец

со свастикой, склонив пабок рассеченную пробормолом голову, возвестил, глянув в какую-то бумажку:

— Господа Фальцвейн, Бланшард, Георгос! Битте! Господин советник принимать вас!

И Генка и Надежда Васильевна раньше не раз слышали эти фамилии: до революции они гремели по всей Одессе и даже сейчас старики не позабыли их. Георгосам принадлежал Дом можных грузовых судов, Фальцвейны владели территорией Аскания Нова, превращенной после Октября в государственный заповедник, Бланшардам тоже, вероятно, не приходилось жаловаться на нужду.

— Да, — шепотом повторила Надежда Васильевна, — слетелось ворохье.

Вызванные скрылись за дверью. Генка привалился к стене и вздохнул так тяжело, что Надежда Васильевна с беспокойством оглянулась.

— Тебе плохо, Гена?

Он отрицательно помотал головой:

— Я в норме, тетя Надя.

Ждать им пришлось долго. К исходу второго часа ожидания у Надежды Васильевны остро заболело сердце, к горлу подступала тошнота. Но уйти, знала, нельзя. Да и после сего визита предстояло еще тащиться в полицию: разговор там, вероятно, будет неприятный и грубый. И чем кончится — неизвестно.

Но вот наконец «господин советник» освободился. Юнец со свастикой пытался, так же как охранник внизу, задержать Генку, но Надежда Васильевна заупрямилась: это ее воспитанник и именно о его судьбе она будет говорить с господином пачальником.

В просторном, устланном ковром кабинете, под портретом Гитлера, за массивным письменным столом сидел тучный человек в сером шевитовом костюме. «Хорошо, что не военный, — подумала Надежда Васильевна, но сейчас же мысленно махнула рукой: — Какая разница?» Мелькнула в памяти старинная туркменская поговорка: «Черная или белая — все равно змея!»

Толстяк в сером задумчиво тыкал сигарой в бронзовую собаку на пепельнице и водил концом красного карандаша по пласту, вклеенному в большую книгу.

Приглядевшись, Надежда Васильевна узнала книгу — один из томов словаря Брокгауза и Ефрона, узнала плап, по кото-

рому неспешно передвигалось острие карандаша. Зеленые квадраты — Куликово поле, Городской ботанический сад, желтые четырехугольники помельче — частновладельческие усадьбы, когда-то там обитали одесские богачи, «отцы города», всякие эфрусы, бланшарды, валери. Значит, сейчас на приеме у «советника» как раз они и были, то ли собственными персонами, то ли их наследники, сыновья и внуки. Воропье, воронье! А сколько немецких колоний было вокруг Одессы, все эти милыглузендорфы и шлингендорфы! Неужели и эти вернутся?..

Голова у Надежды Васильевны кружилась, и, чтобы не упасть, она оперлась о спинку кресла, стоявшего у стола. И только тогда толстяк поднял от плана Одессы взгляд и посмотрел поверх золотого ободочка очков.

— Что вам? — спросил он с отчетливо слышимым немецким акцентом. — Я жду, пожалуйста. И попрошу скоро.

— Меня вызывали.

Надежда Васильевна положила на раскрытый словарь бумагу с вызовом, списки персонала и больных, а также листок с перечислением нужд больницы; врачи и сестры корпели над этим скорбным сочинением часть ночи и утро.

— Здесь все указано, господин... — Надежда Васильевна с усилием произнесла ненавистное слово. — Речь идет о жизни и смерти... Женщины. Дети. Городская управа Одессы...

— Нет Одесса! — перебил немец, поднимая над столом руку. — Вы имеете жить в городе Антонеску!

— Ну хорошо! Но должны же вы...

— Администрация Транснистрии вам ничто не должна! — снова перебил толстяк, отодвигая бумаги Надежды Васильевны на край стола. — Запомните это, зарубите, говорится, носу. И поймите: зачем Транснистрии и рейху люди, которых нет малой пользы? У вас калеки, старики, старухи? Да? Ваша дикая Россия много населена! Евреи, цыгане, какая-то мордава, самоедцы — все мусор! Шлак!.. Возьмите пазад!

Надежда Васильевна перешитительно взяла со стола список своих требований.

— Но в больнице, где мы работаем, много раненых вашими бомбами, вашими снарядами! — с трудом преодолевая головокружение, выговорила она. — Вы виноваты в том...

Толстяк грузно откинулся на спинку кресла и неожиданно расхохотался, в его неприятно красных губах блеснули золотые коронки.

— Это вы, — крикнул он с внезапной злобой, обрывая

смех, — вы виновати! Учитесь Франции! Петэн объявляет Париж открытый город, и войска фюрера входят без один выстрел! Нет? И нам не пришлось в Париж так много вешать дураков на деревьях и балкон. Вы, думаю, видели такие украшения? Это есть объявлений, который нужно читать так: не причинять рейх зла! И только тогда — жить!

Надежда Васильевна затискивала в сумочку свое заявление, а толстяк с любопытством наблюдал за ее дрожащими пальцами.

— Кстати, об этих объявлениях, то есть о повешенных ни в чем не повинных людях... — Надежда Васильевна справи-лась с замочком сумки и с ненавистью посмотрела в лицо нем-цу. — Многие трупы висят с шестнадцатого октября! И несмот-ря на осенние холода, в городе возможны вспышки эпидемий! И ни холера, ни чума, ни тиф, ни дизентерия, как вам должно быть ведомо, не считаются с расовыми признаками. Холере абсолютно все равно, ариец вы или еврей!

— Что-о?! — заорал, приподнимаясь в кресле, «советник».

Надежда Васильевна повернулась и пошла к двери, где сто-ял побледневший Генка. Но толстяк с силой стукнул ладонью по столу.

— Стоять!

Она остановилась и оперлась на вздрагивающее Генкино плечо.

— Я могу весьма скоро отправлять вас в гестапо, — с рас-становкой произнес толстяк. — Но я не люблю слушать, как вы визжать!

— Я могу идти? — помедлив, спросила Надежда Василь-евна.

— Нет!.. — Доставая из коробки сигару, толстяк неподвиж-ными глазами наблюдал за Надеждой Васильевной. — Вам пред-писано быть полиции на проверку, потом сюда. Зачем вы по-ступаль не так? Русская шалапутица! Мне некогда тратить время, кто не проверен полиция. Ясно? А что нужно ваших больных — подыхать как можно скоро! Пока гестапо не смот-рело, кого вы прячете. — Глаза мгновенно и остро блеснули за стеклами очков, не то погрозили, не то обрадовались испугу, предательским румянцем вспыхнувшему на лице Надежды Ва-сильевны. — Из полиции — сюда! Сразу! Шнель! И если будет у вас хоть один коммунист и еврей — я вам не завидоваль! Всем! Несколько объявлений на улицах появится больше! Вы понял? Шнель!

— Фашист проклятый! — прошептала Надежда Васильевна, закрывая за собой дверь. И когда вышли на улицу, вздохнула. — Ну, Гена, дальше тебе со мной ходить не стоит... Я — одна...

Генке хотелось спросить: а есть ли в больнице такие, из-за кого Надежду Васильевну и других врачей могут повесить? Есть или нет? Но слова не шли с языка...

27. „...ОБЯЗАНЫ СООБЩИТЬ В ПОЛИЦИЮ...“

Чтобы заработать на жизнь, Сережка и Генка устроились продавать оккупационные газеты, заработок не ахти какой, но на хлеб и картошку хватало. По утрам в типографии усатый, похожий на черного таракана румын-печатник вручал мальчишкам пачки газет. Им выдали сумки и грубо сшитые форменные фуражки с серебряными, как у швейцаров, галунами и с надписью на околыше: «Молва». В таких фуражках и с газетной сумкой через плечо можно было без опаски шнырять по улицам, заглядывать в бodeги и рестораны, в магазины и учреждения, во всякие агентства и конторы, появившиеся в Одессе.

Торговля вражескими газетами, отпечатанными на дрянной шершавой бумаге, рождала у Сережки отвратительное чувство вины перед своими — будто он предавал их, предавал Родину. Разворачивать брошарувские издания и читать хвастливые сводки о победах гитлеровских армий, о битве под Москвой, о боях на подступах к Кавказу, о штурмах Севастополя, о бесчисленных казнях «врагов рейха», партизан и саботажников было просто невыносимо.

По вечерам, сдав в контору дневную выручку, Рыжие возвращались на «верхотуру», приносили еду: хлеб, картошку, вареную или жареную кукурузу — и ужинали при свете лучины, которую днем Наш Грек щепал от выломанных из забора досок. «Первобытное бытие! Каменный век!» — рычал старый учитель, с наслаждением затягиваясь сигаретой; Рыжие каждый день покупали старому другу две-три немецкие сигареты, либо горсточку самосада. А Пирейке приносили рыбешку — барабульку или ставриду.

Но каждый день, как бы Сережка и Генка ни уставали, прежде чем отправиться домой, забегали в больницу. Неда мед-

ленно поправлялась, уже бродила по комнате, держась исхудалой рукой за стенку; мальчишки приносили ей то кусочек сала, то сахар, то банку сгущенки или мясных консервов. На Привозе и Греческом базаре продукты продавались по бешеным ценам, но Рыжие кое-что покупали, и Сережка согласился бы скорее подохнуть с голоду, чем съесть приготовленное Неде. А она, смешная, пыталась отказываться, и, глядя на ее вздрагивающие пальцы, бережно отщипывавшие крошки хлеба, Сережка чувствовал, что может зареветь, как девчонка... Сначала он боялся, что Генка — сам не дурак пожрать — станет шипеть и злиться за «передачки» Неде, но, к удивлению Сережки, тот только хмурился да последними словами поносил фашистов.

В больнице Рыжие появлялись после обеда, когда больные, выхлебав из мисок пустую похлебку, забывались зыбким неверным сном, а сестры и санитарки устраивались где придется передохнуть от бессменных дежурств.

В это время и Надежда Васильевна возвращалась на часок в свое убогое обиталище, курила у окна, пуская в форточку дым, и думала о завтрашнем дне: что же будет дальше с ее девчонками и мальчишками, какие испытания их еще ждут?

Тот, первый, поход Надежды Васильевны в Примарию и полицию завершился благополучно, на нее кричали, грозили расстрелом и виселицей, но обошлось, вернулась живая. Теперь, конечно, в любую минуту могли нагрянуть с внезапной проверкой, приходилось постоянно быть настороже. Ни продуктов, ни лекарств Примария не давала и не обещала, больные существовали на крохи, приносимые родственниками и друзьями, этих подаяний хватало лишь на то, чтобы не отправиться немедленно на тот свет. И хотя полиция выдала персоналу и больным временные аусвайсы, Надежду Васильевну предупредили, что в любой момент все могут быть мобилизованы на восстановительные работы в порту...

Надежда Васильевна совсем пала бы духом, если бы в тот памятный день, возвращаясь из Примарии, не столкнулась на улице с Дикуном. Она уже не раз жалела, что в свое время в разговорах с Даниилом Митрофановичем не выяснила подробностей и вообще скупно и сдержанно относилась к нему, считая тугодумом и бюрократом. Сейчас ей не хватало его простодушной и непоколебимой веры, его поддержки.

Тогда он шагал по улице, тяжело волоча ноги, сутулый и худой. В немыслимо ободранной нищенской поддевке, в самодельных сыromятных постолах, в заношенной суконной шапоч-

ке, словно подобранной на мусорной свалке. Надежда Васильевна издали ни за что не узнала бы, но столкнулись они лицом к лицу на углу, на перекрестке. Добрые глаза знакомо блеснули из-под лохматого края ободранной шапочки, и Надежда Васильевна вскрикнула и рванулась к Дикуну.

В одной руке Данило Митрофанович нес потертую кожаную сумку с инструментами — торчало отполированное ладонями топорщице, ручка столярной шилки. Он узнал Надежду Васильевну, она поняла по глазам, но не ответил, не остановился. Обиженная и пораженная, она застыла в недоумении, но тут же опомнилась, взяла себя в руки. Значит, надо, значит, пельзя иначе!.. И с тех пор каждый день ждала тайной весточки, ведь он обещал: «Тебя найдут!»

Рыжих Надежда Васильевна встречала с волнением, с радостью. С пристальным интересом слушала рассказы о мальчишеских делах и заботах, расспрашивала: «Как там наш старший Грек?»

Рыжие рассказывали: Сережка — откровенно, Генка — со всегдашней непонятной и пахальной ухмылкой. Но последнее время говорили они о Нашем Греке не всё. Дело в том, что у Николая Аристидича завелись секреты, а разглашать их Рыжие не чувствовали себя вправе...

На биржу труда Николай Аристидич не ходил, новоявленные власти обязали регистрироваться на бирже трудоспособных, а Нашему Греку перевалило за шестьдесят, он охромел, приказ как будто его не касался. Но он дважды «выползал» в свою школу в физкабинет и, благодаря добрым отношениям со сторожихой, оба раза возвращался с набитыми карманами. По утрам, когда мальчишки убегали, он, заперев двери, ковырялся со стареньким приемником. Очень хотелось знать правду: что на фронтах и вообще в мире. Газеткам, которые Рыжие приносили — «Молва», «Одесса», «Буг», он не мог верить, ворчал: «Гнусные подметные листки».

Вначале Николай Аристидич не собирался посвящать Рыжих в свою тайну: разум-то мальчишеский, детский! Сболтнут пенароком и подведут под виселицу и себя и его. «Мне что, я свое отжил, ну, а они-то за что пропадать будут?» Но когда из разрозненных деталей он собрал крошечный одноламповый приемник и дело застопорилось из-за батарей, пришлось рассказать.

Сережка и Генка смотрели на Николая Аристидича во все глаза. Каждый день, останавливаясь у объявлений, они читали

о смертных приговорах, вынесенных военным преторатором: за появление на улицах после комендантского часа, за несданых домашних голубей, за распространение слухов о взятии советскими войсками Ростова, за обнаруженный в квартире детекторный приемник; недавно за такой приемник повесили троих взрослых и семилетнего мальчишку.

Но в ответ на предупреждение Рыжих Наш Грек сердито отмахнулся:

— А-а-а! Надоело сидеть крысой в норе! Это не передатчик, его нельзя засечь пеленгаторами! А что творится на фронтах, будем знать! Понятно?

— Понятно-то понятно, но...

— Но! Но нужны батареи или аккумулятор! — сердито перебил Николай Аристидич. — Лучше, само собой, батареи, аккумулятор перезаряжать негде. Оккупанты сами ток от передвижек получают. Вы же видели эти тарахтелки возле учреждений, комендатур, кабаков, гостиниц. Видели? К ним и не подойдешь, везде часовые с автоматами. Им человека убить — что муху задавить! Ой, до чего же дешевая стала человеческая кровь!

Николай Аристидич проковылял к своему письменному столу, достал из ящика стола изящный именной портсигар с витиеватой монограммой — этим в школе отметили его шестидесятилетие. Вытер посовым платком с портсигара пыль, вздохнул.

— Задача, малыши, простая: прогуляться с этой серебряшкой на барахолку и продать ее возможно дороже. А за сим купить на развале хотя бы старые батарейки, надеюсь, нам их удастся восстановить. Ясно? И не продешевить! Серебро девяносто шестой пробы.

— Понятно, Николай Аристидич!

На Греческом базаре Рыжим удалось выгодно продать портсигар и купить необходимое; на одесских барахолках тайком продавалось все, что угодно: от гусарского кивера до новейшего штагенциркуля, от запыленного флердоранжа вековой давности до немецкого автомата.

Возвращались они домой бегом, до похода на Греческий успели распродать газеты и купили кое-что для Неды, не терпелось скорее, забежав домой, попасть в больницу.

Но на углу Люксембургской и Ленина, у щита объявлений, задержались, здесь, как всегда, толпилось множество людей. Опасливо, шепотом, читали приказы комендатуры, полиции и

Примарии. Слово РАССТРЕЛ, набранное кричащим прифтом, зловеще выделялось почти в каждой строке.

Пока мальчишки перечитывали объявления, из-за угла, с улицы Ленина, донесся приближающийся, нарастающий шум: голоса, звяканье металла, собачий лай. Вначале шум казался слитным, сплошным, напоминал невидимый, но близкий, надвигающийся ливень.

Люди поворачивались на шум и молча смотрели — на Люксембургскую выползала окруженная коповым толпа. Женщины, девушки, подростки, старики. Шли плотно, тесня друг друга. Несли чемоданы, корзины, узлы, вели детей.

— Гляди, Бес! Фаня!

А Сережка и сам узнал Фаню Яковлевну: приветливая и смешливая, с черными, словно точеными колечками волос на шее, она до войны торговала у Дворца пионеров то мороженым, то газировкой. Сейчас, растерянно глядя перед собой, катила поблескивавшую потертым никелем детскую коляску. С трудом волоча толстые, отечные ноги, рядом плелся старик с острой конечной бородой, в синем, надетом пабок берете. Бережно прижимал руками к животу скрипку и связку нот.

По сторонам, отделяя толпу от тротуаров, шагали коповые с автоматами, в черных шинелях. Повизгивали, натягивая поводки, овчарки.

— Снова евреев гонюют, — прошелестел позади мальчишек старушечий шепоток. — В третий раз гляжу. Эти, видать, последние... Выселяют куда их, что ли?

Толпа приближалась. У Сережки возникло странное ощущение: не толпа, не сотни людей, а одно едва передвигающееся, едва ползущее тело.

— «Гонють... Выселя-ют!»! — скрипуче передразнил кто-то. — На тот свет выселяют!..

Оглянувшись, Сережка встретил острый взгляд узеньких, угольно блестящих глаз, угрюмо смотревших из-под полей замызанной, когда-то зеленой фетровой шляпы. Многодневная, словно подперченная сединой щетина топорщилась вокруг запавшего рта.

— На тот свет? — Сережка почувствовал, как сердце паливается тяжестью. — Почему?

Небритый потыкал согнутым пальцем через плечо:

— Малограмотный? Повыше гляди!..

Сережка, а за ним и Генка повернулись к щиту. И на самом верху увидели то, чего не успели прочитать раньше.

ВСЕ ЖИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ СООБЩИТЬ В ПОЛИЦИЮ
О КАЖДОМ СКРЫВАЮЩЕМСЯ ЕВРЕЕ.
УКРЫВАЮЩИЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ ИЗВЕСТНО
МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ ЕВРЕЕВ,
НО ОНИ НЕ СООБЩИЛИ ОБ ЭТОМ,
КАРАЮТСЯ СМЕРТНОЙ КАЗНЬЮ.

Так вот оно что!

Толпа обреченных двигалась медленно. Рыжие смотрели на бредущих мимо стариков, на девчонок, похожих на Ганю, на Неду. Многие из них, наверно, не догадывались, не понимали, куда их гонят, как и мальчишки не понимали этого минуту назад.

И вдруг будто что-то со звоном лопнуло у Сережки в груди: Неда! Ведь Неда же наполовину еврейка! Ну да, по матери! Мать звали Идой, Неда сама говорила. Погоди, погоди, Сергей! Фамилия-то Лазарева, и никто про Неду не знает... Никто? А помнишь, Жорка кричал: «Жидивка-выхристка»? Значит, знает!..

Толпа шла. Сопровождая ее, по тротуарам лепиво, вразвалочку двигались, попыхивая сигаретами, солдаты. Изредка мелькали офицерские шлычки, нашивки, шевроны.

Сережка толкал других, и его самого толкали, он не замечал. И не заметил бы, наверно, если бы кто-то не ударил его по затылку. Удар был злой и сильный, Сережка чуть не упал, вылетел на мостовую. И оказался в полуметре от оскаленной морды овчарки — блестели клыки, с красного языка тягуче капала слюна. Еще секунда, и овчарка вцепилась бы ему в руки, в горло, но конвоир рванул поводок на себя и что-то рявкнул, покосился напряженным взглядом.

Сережка в страхе пятился от собачьей морды, пока снова не оказался на тротуаре. Здесь, расставив ноги в сверкающих сапогах, помахивая хлыстиком, ждал Сережку румынский локотенент.

— Ти што?! Ти нарочно толкай романьский офицьер? — наклонясь, спросил он Сережку. — Ти есть висеть?

И по этой фразе Сережка узнал: да-да! Тот самый, который убил Мартинеса, который велел повесить Сою. «Ти есть висеть!» Тот же скрежещущий, словно рашпилем по железу, голос, те же вздрагивающие усики. Он!

Кровь бросилась Сережке в лицо. Что-то поднималось у него изнутри к самому горлу, давило, мешало дышать. Стоя перед

лейтенантом, он чувствовал, что сейчас шагнет вперед и так же, как Соня, плюнет или закричит: «Елла демпасарадо!», как Мартинес. Он не понимал, что значили эти слова, но предсмертный крик Мартинеса, как бы навечно забитый ему в уши, звучал там и днем и ночью. Да, Сережка почувствовал, что может и закричать, и плюнуть, и даже, может быть, засмеяться.

И он, конечно, и сделал бы что-то такое, но сзади, в толпе, девчачий, дребезжащий слезами голос позвал: «Ри-иика!» — и это прозвучало так, что Сережка мгновенно обернулся. Он не мог найти взглядом, кто кричал, люди кружились перед ним, словно он мчался мимо них на карусели, — старые, молодые, растерянные, искаженные страхом лица. Кто-то откликнулся на крик иступленно и обреченно, и толпа вдруг кинулась с тротуара на мостовую.

Но залаяли овчарки, залязгало оружие, властный голос скомандовал по-немецки. И толпа разом отхлынула, словно ее отбросила от мостовой невидимая сила. Оглянувшись на остановившего его офицера, Сережка, пригнувшись, рванулся в сторону, побежал, расталкивая, опрокидывая людей. Он не знал — чувствовал, что Генка мчится следом.

Остановились за углом, с хрипом дыша, побелевшие от страха. Генка стащил с головы фирменную фуражку, вытер подкладкой мокрый лоб.

— Чуть не засыпались, Бе-е-ес! — протянул он, отдышавшись. — Я уж думал, концы, пришьет он тебя, уж больно глаза у пего... тигриные... Ты узнал? Это он Марта и Соню...

— Ага. Узнал, — через силу кивнул Сережка и облизнул запекшиеся губы. — Он самый...

— И ты... ты хотел, как Соня? — спросил Генка.

— Не знаю...

Крики на Люксембургской стихли. Мальчишки осторожно выглянули из-за угла. Толпа арестованных и провожавшие ее поворачивали на улицу Бебея. Ненавистный Рыжим локотепит, хлеща себя стеком по сверкающим голенищам, уходил одним из последних.

— У, стерва! — бормотнул Генка сквозь зубы и, сплюнув, оглянулся на Сережку. — А я ведь знаю, чего хочешь, Бес!

На мгновение Сережка вскинул взгляд, настороженный и недоверчивый.

— Что?

— А вот что! Ты хочешь сказать: давай, Ген, рванем в больницу, а уж потом к Греку. А? Не так? Не угадал?



Сережка смущенно ощупывал сверток с покупками, который едва не потерял, пока бежал.

— Ну и что? — с ожиданием и вызовом спросил он, стараясь не смотреть на Генку.

— А ничего! — беспечно свистнул тот. — Пойдем!

В больницу Надежды Васильевны они добрались не скоро. Еще издали, с пепелища тарного склада, Сережка с тревогой всматривался в облупленное здание больнички. «Может, ничего и не случилось», — уговаривал он себя.

Да, больничка, как бы защищенная своим неказистым видом и нагромождением перед ней обгорелых железных бочек, продолжала существовать.

Сережка пробежал по коридорам. К нему вопросительно и испуганно поворачивались на больничных койках измученные, обтянутые серой кожей, бескровные лица. Он добежал до конца коридора, распахнул маленькую дверцу и увидел Надежду Васильевну: она мыла в тазике руки. Между столиком и инструментальным шкафом сидела Ганя, глаза красные, лицо опухло от слез. Неды не было.

Надежда Васильевна оглянулась на Сережку, старательно вытерла руки висевшим на плече полотенцем. Потом, не сказав ни слова, подошла к шкафчику, достала общую тетрадь в клеенчатом переплете и сложенный вдвое больничный бланк. И отдала Сережке.

На обороте неиспользованного бланка анализа крови, пахнувшего каким-то лекарством, Сережка прочитал наспех написанные карандашные строчки:

«Тетя Надя, не сердитесь. В палате я узнала про объявление о евреях. Кто была моя мама, вы знаете, знают и другие, в том числе и Жорка Кожий, которого, помните, выгнали из нашей школы. Я не хочу, чтобы Вас, Ганю и еще кого убили из-за меня. По-другому я сделать не могу. Если увидите Сережку Бесгинова, передайте, что я всегда к нему хорошо относилась. Прощайте, тетя Надя. Спасибо вам за все. И будьте живая. Вы нужны всем.

Лазарева Рогнеда».

Когда, дочитав записку, Сережка посмотрел на Надежду Васильевну, та сердито хмурилась, глотая слезы. А Ганя, вся трясясь, плакала, вишневые ее глаза, ставшие за последнее время еще больше, не видели никого и ничего.

Достав из кармана халата папиросы, Надежда Васильевна потерла щеки тыльной стороной ладони.

— Вот так, Сережа. Она же наверняка погибнет! Я ведь что переправлю я их с Ганей куда-нибудь в деревню... Там же, наверно, нет такого зверства... А она, видишь... Ну, что делать, Сережа...

28. „ЭТО ВАМ ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР!“

— А знаешь что, Бес?

— Ну!

— Давай Яшку Гордиенку сыщем. Он Одессу лучше нас знает. И знакомых ребят навалом. Вдруг поможет искать. А?

— Пошли!

Нежинская... Нежинская... Ни Сережка, ни Генка не могли точно припомнить номер дома. Они старались восстановить в памяти встречу в ночь перед вторжением. Как тогда Яша крикнул: двадцать пять? Тридцать пять? Семьдесят пять? Нет, трудно вспомнить!

К счастью, со слов Яши они знали школу на улице Льва Толстого, где Яша учился до поступления в специальную морскую. Может, там сторожиха знает адрес Гордиенко? Ведь или батя или мать Яши наверняка ходили на родительские собрания.

Им повезло. Сгорбленная, сморщенная, с лицом, похожим на сушеную грушу, школьная сторожиха не только знала, где живут Гордиенко, но даже дружила с Матреной Демидовной.

— Как же, миленькие, знаю, очень даже знаю Мотю Гордиенку, лет двадцать, как знакомы, пуд соли съели! И думки у нас с ней схожие. Не схотела она из-за этих фрицев с насижен-ного места сниматься, и я также. Куда на старости лет из родного гнезда? Да у ней еще и мужик хворый, вовсе обезпожел прошлый год, то ли ревматизма, то ли еще что... Морячков да рыбаков эта хворость ух как прижимает!

Старуха угостила Рыжих горячей, только что испеченной картошкой и объяснила, как найти Гордиенко.

— Яшеньку-то я с измальства знаю, шустренький, озорной был мальчишка. Пока учился, три звена в окнах футбольным мячом вышиб. Ну, да учителя любили его, строго не взыски-

вали. Слышала, будто сейчас они с братом, по оккупационному-то житью, в мастерскую примусную приспособились... Ну какой ни прижим, а есть-пить надо! И правильно сделали, что не удрапали в эвакуацию: докормить, допить стариков, заботиться до могилы — это ли не сыновний долг?

Сережка слушал нетерпеливо, торопясь уйти: перед глазами стояло лицо Неды.

На улице начинался дождь, рваные тучи неслись над городом низко, чуть не задевая крыши.

Яша оказался дома. В крохотной комнатухе об одно окно, где стояли две койки и заваленный книгами стол, а на полу у двери валялись гантели, Яша, склонившись, рассматривал карту Советского Союза. Проведенная карандашом черная линия фронта пересекала желто-зеленое полотнище карты от Ленинграда к Москве, от Москвы — вниз, на юго-восток, и восточнее Орла и Киева тупым клином упиралась в Азовское море.

Яша обрадовался приходу мальчишек, крепко пожал руки.

— А я, братва, собирался вас шукать! — сказал он. — В вашем Доме фашисты офицерский дом отдыха налаживают, вроде санатория. Вот о Доме и хотелось потолковать.

Прежде чем ответить, Сережка и Генка нагнулись над картой, всматриваясь в изломанную линию фронта.

— До самой Москвы допер и на Кавказ целится, гад! — Яша с сердцем швырнул на карту карандаш. — Ух, как бы я их душил! Но это еще вам не вечер, фашизня! Война еще не кончена!

— Ты потише, сынок! — Из кухни выглянула с поварешкой в руке Матрена Демидовна. — Потише! Не ровен час... Нашлись подлецы и в сигуранцу ихнюю и в гестапу проклятую бегают, па партийных людей пишут. Про тебя, про комсомол твой всей улице ведомо. Вдруг донесет гадина какая!.. Поосторожней, Яшенька!

— Ладно, мама, знаю... Что стряслось, Серега? На тебе лица нет!

Сережка коротко рассказал про Неду, показал записку. Генка угрюмо молчал, продолжал разглядывать карту. Яша читал, насупившись, покусывая губы.

— Вон оно что! — протянул он, возвращая Сережке записку. — А что? Доведись со мной такое, и я бы смылся! Чтобы из-за меня родных мучали да вешали? Да лучше самому сгинуть! — Чуть подумал, посмотрел на дверь. — Лады, ребята. Будем шукать девчонку! Я и мамке ее обрисую, пусть по базарам, по улицам глядит. И всем корешкам накажу... — Помолчав,

педоуменно вскинул брови: — Да она, вроде бы, и не больно смахивает на еврейку. И фамилия русская. Чего паниковать?

— Каждый про нее знает, вот что! — неожиданно разозлился Генка. — Так и дразнил: «Индивка-выхристка». Еще со школы.

— И-да... От этого паразита всего ждать! — Яша подошел к двери, прикрыл плотнее, вернулся к столу. — Слушайте сюда, братишки! Вы в Доме все дыры, поди, знаете? И во дворе, и в парке облазили? Верно?

— Само собой! — Генка торжествующе хмыкнул. — Мы там такое разнюхали, и самим не снилось! В парке!

— Что в парке? — Яша смотрел на Генку с напряженным вниманием, а Сережка молчал, прикидывал в уме: куда же Немых, ясно, не пойдет, не захочет толкать под виселицу. Значит, где-то одна... Но где?

А Генка, воодушевившись, расписывал про парк, про часовенку-мавзолей, про замурованный подземный ход, куда Георгосы накануне бегства свалили то, что не могли увезти. Яша слушал, странно вытянув шею, с блестящими глазами, покусывая губы. На впалых щеках проступили пятна румянца.

— Ну, ну! — торопил Генку. И когда тот, рассказав все, что представлялось интересным, замолчал, Яша схватил с подоконника кубанку, сорвал с вешалки бушлат.

— Пошли!

— Куда?

— В парк, куда ж еще. Покажете все! Тут интереснейшая штукавина может образоваться... Но смотрите, братва, больше ни одной душе! Ни слова! Кто знает?

— Про провал-то? — прищурился Генка. — Наш Грек, Николай Аристидич. А больше никто!

— Ну и добро! — похвалил Яша. — И никому! Договорились?.. А Неду вашу, ежели живая, найдем! Пошли, но давайте не кучей... Вы шагайте вперед, я — следом. А то фашисты боятся, ежели толпой.

Возле Дома, у ворот, пошли медленнее. Во дворе на флагштоке, где по утрам дежурные поднимали отрядный флаг, сейчас развевалось белое полотнище со свастикой, над входом, закрыв три окна, красовался портрет Гитлера во весь рост, в наполеоновской позе, с заложенной за борт мундира рукой. У подъезда выколачивали ковры две девушки, у дверей каретника сидели, покуривая, немецкие солдаты. Два автоматчика стояли по бокам ворот...

— Вот, значит, такие пироги,— бормотал Яша.— Значит, тут они станут отдыхать после трудов! Тут им и кресты будут вручать, и листья дубовые!

Задерживаться у ворот было небезопасно — автоматчики недобро зыркали глазами...

В парк пробрались из переулка, где их никто не видел. Сугробы ржавой листвы желтели между деревьями, парк, как всегда, был заброшен и пуст: он ничем не привлек внимания оккупантов.

И в беседке на полуострове все оставалось по-прежнему. Битое разноцветное стекло хрустело под ногами, на каменных скамейках рябила побитая дождем пыль. Ничто не нарушало покоя забытого людьми угла, даже птиц не стало слышно — осень.

Генка отыскал спрятанную в кустах веревку, и они все трое спустились под землю. Но ни фонаря, ни спичек у них с собой не оказалось, и они лишь потоптались в начале штрека, тщетно пытаясь рассмотреть что-нибудь в кромешной тьме.

— Ах, если бы соединялось с Нерубайском, с Усатовом! — вздыхал Яша.— Знаменито получилось бы!

И тем же путем, каким попали в парк, мальчишки выбрались в переулочек. Косая серая пелена дождя висела над городом.

— Здорово бы! Ух и здорово бы! — не мог успокоиться Яша, потирая руки.— Такую бы штуку фашистам подложить можно.— Помолчал, поднял воротник пиджака.— А теперь, ребята, не глядя на дождь, прошвырнемся к Привозу! Может, кто из знакомых ребят встречал ее. Плохо, если уже попала гадам в лапы.— Остановившись, со странным выражением посмотрел на Сережку.— А скажи... Ты ведь ее знаешь... Как думаешь: а вдруг сама на себя сказала? Пошла и сказала? Могло быть?

Сережа не ответил. Вспоминая надменно вздернутую голову Неды, он со страхом отгонял от себя мысль: а что, действительно, если она, измученная, голодная, бесприютная, сама пошла беде навстречу?

Каждый день Сережка и Генка с утра отправлялись на Привоз и базары, не теряя надежды отыскать Неду. А может, ей удалось выбраться из города и ее приютили в какой-нибудь деревеньке?

Одесские рынки в то время были самыми людными местами города — с утра до вечера шумели здесь многотысячные толпы, продавали и покупали все, что можно продать и купить:

домашний скарб, утварь, одежду, еду. Одесса голодала, карточки на хлеб, продукты и в столовые Примария выдавала лишь тем, кто работал на оккупантов, а крестьянам въезд в город разрешали по особым пропускам. Открывались частные магазины и лавки, но торговля в них велась на ден и на оккупационные марки — денег этих у населения почти не было. «Натуральный обмен!» — сердито фыркал Наш Грек, перебирая домашнее барахло и прикидывая, что еще можно отправить на рынок, что-бы не подохнуть с голода. И он сам, и мальчишки давно не ели досыта, ложились спать и вставали голодными. Глаза у всех ввалились, кожа стала шершавой и серой.

Особенно часто навещался Сережка на Новый базар, здесь ежедневно встречался с Яшей: Нежинская улица одним концом упиралась в Базарную площадь.

В первое воскресенье поября они и уговорились, как всегда, встретиться на Новом. Сережка и Генка последние дни ходили врозь, по разным улицам, по разным базарам, так было больше шансов встретить Неду, если она жива.

И в тот день Сережка осторожно пробирался вдоль лавок и лавчонок, мимо разваленного на прилавках и на земле всевозможного старья, мимо кофеев и бодег, дешевых румынских закусок. Глотая голодную слюну, пробегал мимо дверей, из которых пахло мамалыгой, суррогатным ячменным кофе, жареным тестом.

Рынок гудел. Крутилась пестрая, вся в бисере и разноцветных лентах, воздвигнутая на днях карусель; на ее расписных конях мчались, однако, не лихие мальчишки и девчонки, а полупьяные вражеские солдаты с расфуфыренными, размалеванными красотками. Заливались веселым хохотом бубенцы, охрипшая шарманка выпевала слова непонятной песни. Оборванные и перепачканные старухи продавали стаканами табак-самосад и кукурузу, тыквенные и подсолнечные семечки. Солдаты меняли галеты, копсервы и хлеб на самогонку. На невидимой церкви перезванивались колокола.

Сережка походил по улицам вблизи рынка, всматриваясь в разбитые пулями дощечки с привычными названиями. Яши не было. Уж не случилось ли что? Последние дни и сигуранца и гестапо свирепствовали вовсю, в тюрьмы превратили многие бомбоубежища и склады. И хотя Яша работал в примусной мастерской у Бойко и аусвайс у него был в порядке, все могло случиться!

Яша неслышно подошел сзади, тронул за плечо.

— Привет, Серега.

Сережка молча пожал ему руку.

— Не видал? Нет? Н-да... Не сгубла ли девчонка! Ох, гады, как бы я их резал! Ну, потопали, мамалыги пожрем, тут бodega рядом. — И в ответ на вопросительный взгляд Сережки: — Братан добыл малость рейхскредитас... Тьфу, дьявол, не выговоришь, проклятые! Рейхскредитакассеншен — вот как! Оккупационные.

В бодеге на четыре столика никого не было. Со ступи тарашился из багетовой рамы военный в генеральском мундире со свастикой на нарукавной повязке — маршал Ион Антонеску; его портреты, как и портреты Гитлера, развешаны были по всей Одессе. За прилавком дремала полнотелая женщина с темными усиками и томными грустными глазами. Она наложила в эмалированные мисочки по черпаку мамалыги, и ребята, присев у окна, поели.

— Ну, пошли! — скомандовал Яша, вставая. — И выкладывай новости. Что засек?

В бодеге говорить казалось небезопасно: хозяйка могла понимать по-русски. И провожая Яшу до Примбуля, Сережка рассказывал. У подорванных временных причалов на Большом Фонтане стал на якоря груженный танкер под итальянским флагом — бензин или нефть. В Ботаническом саду, за площадью Жовтневой революции, расчищают площадку — сгоняют ежедневно тысячи женщин и подростков. С воздуха площадка прикрыта зелеными маскировочными сетями. В Ботаническом поставили зенитки.

— Так! Так! — кивал Яша, запоминая.

На Приморской постояли, глядя в порт. На причалах и на железнодорожных путях копошились рабочие — шли восстановительные работы.

— Подгребай завтра! — Прощаясь, Яша крепко стиснул Сережину руку. — А пока, — сунул Сережке пачку смятых кредиток, — хлеба купи.

Дня два назад оккупанты наконец пустили хлебозавод, на лепи и марки в булочных стали продавать хлеб. Непропеченный, тяжелый, напоминающий влажную глину, но все-таки хлеб!

На обратном пути Сережка решил пройти по центру, посмотреть, что творится возле сигуранцы на Бебеля и гестапо на Пушкинской.

Возле серого здания сигуранцы ждали автомашины, чернел тюремный фургон. Шоферы болтали, дымя сигаретами.

Сережка пробирался противоположной стороной улицы и уже миновал дом 12, когда двери сигуранцы распахнулись и в темном зеве подъезда появился... Жорка Кожий. Коричневая замшевая куртка, начищенные до зеркального блеска сапоги.

Сережка и раньше слышал, что румынские «фазаны» вербуют молодых ребят в организацию, помогающую их полиции. Особо ретивых одевают, кормят, дают пайки.

Сережка отвернулся и пошел быстрее, торопился дойти до угла. Но не успел.

— Эй, безотцовщина! Куда топаем? — раздалось сзади.

Остановившись, Сережка заставил себя обернуться и посмотреть назад. Жорка, пригнувшись, прикуривал от сигареты у одного из мотоциклистов; рыжие глаза по-рысья следили за Сережкой. Жорка не торопился, знал, что Сережке не уйти, не убежать.

— Значится, ты, лыцарь, не утоп вместе со своим «Лениным», а? Скажи, счастливый какой ффраерок! А Жора страдал всем сердцем: больше не доведется свидеться. Жора аж задыхается от волнения при таком великолепном зрелище! — Он подходил не торопясь, вразвалочку, сапоги на нем поскрипывали.

Сережка ждал, ладони стали мокрыми от пота, спрятанный под пиджаком хлеб необъяснимо потяжелел. Нет, видимо, не суждено Сережке донести Яшин подарок до Кристодуловой «голубятни».

— А что же ты, пионер, всем ребятам пример, без красного хомутика разгуливаешь? А? Скрывать свои убеждения нехорошо, Жора даже скажет — постыдно, ффраерок! — Жорка остановился в двух шагах от Сережки, жуя сигарету. — Нынче небось безотцовщина не похваляется, что папаша в козырных партийных тузах ходил? Вы думали, ваша власть на веки вечные, да? Пять лет мой батя за кусок говядины лес валил да землю копал, чуть живой по комиссовке домой приполз! Это как?.. Ну, что же ты, падло, с Жорой не побеседуешь, а? Или у тебя от долгожданной встречи язычок не вертухается, а?

Сережка словно окостенел, только губы подергивались да что-то дрожало в животе.

— Молчишь, всем ребятам пример? Крыть Жорины козыри нечем? А мне до того охота с тобой по душам побеседовать, слов не подберу! Я тебя теперь с волосами съем! Убежали ваши заступнички, а кто и остался — под землю, в катакомбы, будто крысы, забились!.. Ну, пойдем, пойдем с Жорой вон в то заве-

дение, сигуранца называется, поговорим... Ну, не раздражай Жору, иди передом, всем ребятам пример! У Жоры нервы тоже не каменные!

Кирпичик хлеба, прижатый правым локтем к боку, мешал Сережке. Правда, он мог ударить левой, но разве левой свалишь такого, как Жорка?

Да, плохи твои дела, Сережка, ой плохи! И не добаться бы тебе до обетованной «верхотуры», если бы...

Взрыв невероятной силы потряс город. Взрывной волной Сережку отбросило к стене, а Жорку опрокинуло навзничь, на мостовую, и он, зажав обеими руками лицо, воя, пополз к середине улицы, куда, хрустя битым стеклом, солдаты, крича, выкатывали мотоциклы. Из здания сигуранцы выбегали офицеры, вытаскивали на ходу пистолеты, стреляли в воздух.

Но Сережка этого уже не видел. Он неся, как на крыльях, по соседним переулкам, по проходным дворам.

Воя сиренами, мчались по улицам патрульные и полицейские машины, пронесся броневик. Кто-то, картавя, кричал:

— Комендатур! Комендатур взрыв!

В глубине одного из проходных дворов Сережка спрятался в уборную, потом перебрался в пахнущий козами сарай и, раздвинув сваленные в углу доски, забился под них. И лишь здесь вспомнил про кирпичик хлеба. Хлеба не было, потерял.

Прислушиваясь к крикам, к беспрестанному вою сирен, к трескотне выстрелов, думал, что район взрыва немедленно оцепят и примутся вешать всех подряд, как это было, когда на Канатной обнаружили поврежденный телефонный кабель, как на Старом базаре, где за ларем нашли тело задушенного румынского локотенента.

Подробности взрыва комендатуры Сережка узнал на следующий день. В комендатуре в тот вечер шло важное совещание оккупационного начальства — из-под развалин извлекли около двухсот трупов, два из них — в генеральских мундирах. И в тот же вечер на каштанах и акациях Ланжерона повесили больше пятисот человек — всех, кого сигуранца и гестапо схватили в оцепленных кварталах, в районе взрыва. Среди повешенных на деревьях качалось около тридцати детских трупов. И Сережка мог быть среди них.

И все-таки Одесса тайно ликовала: борьба не кончена! «Но это вам еще не вечер, гады!» — вспоминал Сережка слова Яши.

29. НЕДА

Никто точно не знал, кем взорвана военная комендатура, по на следующее утро в Одессе зашептались, что комендатуру «списали в расход» партизаны, скрывающиеся в Нерубайских и Усатовских катакомбах. Слухи неслись из дома в дом, из улицы в улицу, с площади на площадь, обрастали подробностями. Кто-то на Привозе утверждал, что в Дальнике, Нерубайском, Куяльнике, Усатове, в Фоминой и Холодной балках, в старинных заброшенных каменоломнях скрываются десятки тысяч партизан, ждут часа, чтобы ударить врага с тыла.

Через неделю слухи получили подтверждение. На подходе к Одессе, на перегоне Дачная — Застава, партизаны пустили под откос поезд-люкс. Люкс был действительно особый — вез из Бухареста в Одессу сотни сановных чиновников, утвержденную самим королем Михаем новую администрацию Транснистрии.

Оккупанты переполошились, забегали, командование перебросило с фронта в Одессу целую дивизию. Любыми средствами, любыми мерами подавить, уничтожить подземные партизанские базы!

Входы в катакомбы забивали динамитом, пироксилином и толлом, взрывали, заваливали бетонными и каменными глыбами. Дальник яростно бомбили с воздуха летчики «Эскадрильи Муссолини». В Нерубайске и Холодной балке прямой наводкой били из орудий по пещерным лазам, ведущим в глубину подземелий, орудия подкатывали вплотную, гоня впереди женщин и детей. В провалы и щели компрессорами нагнетали хлорный газ и циклон Б, выливали десятки цистерн бензина и нефти, — над Усатовом и Нерубайском по ночам плясали огненные смерчи.

И в самой Одессе режим с каждым часом становился жестче. В тюрьмах и в превращенных в тюрьмы подвалах и бомбоубежищах тысячи людей погибали от голода, жажды, пыток. На улицах, на Тираспольской площади, на Привозе, на Новом базаре — виселицы. Расстреливали и вешали по любому навету, по письменным и устным доносам, по подозрению. «За пахнувшие порохом руки — как Галиффе!» — вспоминал Наш Грек.

Акция началась с приказа командующего войсками «города Антонеску» генерала Гинерару. Приказ пятого ноября был расклеен по всей Одессе, на стенах и дверях домов, на заборах и афишных тумбах, у водоразборных колонок и в магазинах,

на базарах и даже на кладбищах. В приказе, набранном крупным шрифтом, значилось:

**КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ
О ВХОДАХ В ПОДЗЕМНЫЕ КАМНОЛОМНИ,
ОБЯЗАН В ТЕЧЕНИЕ 24-х ЧАСОВ
С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ СЕГО ПРИКАЗА
СООБЩИТЬ О НИХ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
В БЛИЖАЙШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК.
КАРАЮТСЯ СМЕРТНОЙ КАЗНЬЮ ЖИТЕЛИ ТЕХ ДОМОВ,
ГДЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ УКАЗАННОГО СРОКА
БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ ИЗ КАТАКОМБ,
О КОТОРЫХ НЕ БЫЛО СООБЩЕНО ВЛАСТЯМ.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ НАРУШИТЕЛИ СЕГО ПРИКАЗА
КАРАЮТСЯ НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ.**

Рядом с приказом было расклеено обещание выплатить 10 000 марок тем, кто поможет поймать или выдаст властям «диверсионную банду».

В городе насчитывались сотни провалов, ведущих в земные глубины. Множество таких ходов в центре Одессы давно никуда не вело: подземные штреки обнаруживались бурением перед закладкой фундаментов, пустоту бутили камнем, заливали бетоном, трамбовали, многие из них стали тупиками.

Ну, а вдруг? И у полицейских участков выстроились очереди: ведь всего 24 часа! Вдруг не успеешь, и придут, и схватят детей, и поволокут на смерть? Ведь пятьсот-то человек на плантациях Ланжерона висят!

...Уйдя из больницы, Неда боялась даже появляться вблизи улиц, где могла встретить кого-нибудь из своих. Она знала, что, встретившись с ней, никто из них — ни Сережка, ни Надежда Васильевна, ни старик Крестодуло, ни даже Генка — не отпустит ее одну. Но чем они смогут помочь ей? А она, даже просто тем, что окажется рядом, на любого навлечет смерть... Бродя по городу, два раза сталкивалась с толпами заложников — солдаты и полиция гнали их на Стрельбищное поле, там расстреливали. То злобно, то равнодушно гаркал конвой, рычали овчарки, были женщины, плакали дети...

Неда убегала, забивалась в подворотни, притаивалась за заборами, в развалинах.

Первую ночь провела в полуразбитом доме на Пересыпи. Еще до вторжения, перед взрывом дамбы Хаджибеевского лимана, жителей отсюда переселили, почти все дома были пусты.

Хлынувшая за взрывом вода поопрокидывала заборы, размыла мостовые — до сих пор стояла черными омутами в низинах, в подвалах. Когда вода сошла, кое-кто из жителей вернулся, но и пустых домов на Пересыпи осталось немало.

Перебравшись через железнодорожные пути, Неда долго брела по улицам, названий которых не знала. Заслышав голоса и шаги патрульных, пряталась в ближайшем подъезде или во дворе и сидела там, пока не наступала тишина...

Сумерки застали ее в развалинах двухэтажного дома, половина которого была разбита бомбой, обрушившиеся стены грохотом фонарные и телеграфные столбы перекрещивались, словно чудовищные надолбы.

Неда забралась в полуразрушенную квартиру на первом этаже, одна из комнат которой оказалась почти не поврежденной, только выбиты в окнах стекла. Здесь стояли две кровати, плащом шкаф с открытой дверцей, на полу валялась одежда, раскиданная, видимо, в спешке.

Измученная скитаниями и ожиданием беды, Неда присела на край кровати и долго сидела не шевелясь, прислушиваясь к доносившимся из города звукам. Утробно, патужно ревел в стороне порта пароходный бас, изредка хлопали выстрелы.

Да, здесь было тихо, и впервые за день Неда стряхнула ощущение ужаса, навалившееся на нее с того момента, когда прикрыла за собой дверь больницы. Сумерки уже наполняли полуразрушенное жилье, в сером смутном свете Неда разглядела моток красной шерсти и спицы с вязаньем на полу, стопку книг на тумбочке в углу, приклепленную к стене цветную фотографию — просвеченные солнцем березы в зеленой траве. И рядом фотография белокурой девушки с теннисной ракеткой на плече.

За распахнутой дверью увидела едва различимые в густом сумраке очертания темной фигуры, неподвижно прислонившейся к стене. Замерев, следила, но человек за дверью не двигался, не подавал признаков жизни.

— Кто там? — спросила шепотом.

И неожиданно там, за дверью, в окончательно сгустившейся тьме жалобно мяукнула кошка, мяукнула раз и другой, с почти человеческой тоской, с мольбой о помощи. Неда подождала минуту, потом осторожно двинулась к двери. Сплуэт в коридорчике не шевелился. Она разглядела рядом фигуру посветлее и поняла, что там просто вешалка. И на ней — пальто и плащ.

Кошка оказалась запертой на кухне, и, когда Неда

ощупью нашла и открыла дверь, стремительная тень метнулась мимо, к окну, и исчезла. Неда двигалась по кухне, ощупывая невидимые предметы. Стол и керосинка на нем, табурет, шкафчик, плита. На столе пустая кастрюля, ложки, нож.

Неда взяла нож и спрятала в карман пальто, наверно, потому, что это все-таки оружие, его можно сжимать в руке, можно замахиваться.

Ту ночь почти не спала. Укутавшись чужим одеялом, забилась в кухне между плитой и маленьким столом, поближе к окну. Решила: если кто войдет, она выпрыгнет в окно и убежит.

Ночь тянулась бесконечно. Гремели выстрелы, ревели сирены судов, тарахтели мотоциклетки. И изредка голоса, требовательные окрики, свистки, чей-то одинокий, болезненный вскрик.

Утром подумала, что из города надо уходить, — в селе или деревне, где ее никто не знает, легче спрятаться. Она сможет работать, помогать в поле. Да и без работы, наверно, в полях можно найти что-нибудь съестное: потерянный при уборке кукурузный початок, не вырытую из-за боев картошку в земле.

При сером свете утра Неда внимательно обшарила свое случайное пристанище, но еды не нашла. Ни крошки. Из шкафа взяла старенькое пальтишко и черный шерстяной платок. Ей страшно было оставаться в детдомовской одежде: именно по ней узнают, схватят и убьют.

Виновато поглядывая на фотографию белокурой девушки с теннисной ракеткой, натянула пальтишко — оказалось впору. Повязав пизко на лоб платок, подобрала среди осколков стекла разбитое зеркало, глянула — и не узнала себя. Провалившиеся глаза, заострившийся нос, измученные губы.

Рассвет патекал в улицы, холодный и влажный. Неда не представляла себе, сколько времени: кончился ли комендантский час, можно ли выйти? Ходики, висевшие на кухне, стояли, гири касались пола. Наконец на улице послышались голоса, и, выглянув из-за косяка, Неда увидела женщин с пустыми ведрами. За ними ковылял мальчуган с кастрюлькой — значит, комендантское время прошло.

Она выбралась из приютивших ее развалин. Зная, что на выезде из города у всех проверяют аусвайсы, решила упросить на базаре какого-нибудь деревенского дядьку взять ее с собой: отдельного пропуска для ребенка не пужно. Ведь есть же добрые, жалостливые. Фамилия у нее русская, а про маму, может, и не спросят...

По дороге к Новому базару ее догоняли и обгоняли; среда —

базарный день, а людям, несмотря на оккупацию, надо есть, пить и кормить детей. Торопливо пробегали с ведрами, и Неда, облизывая пересохшие губы, подумала, что она уже сутки не ела и не пила.

Становилось холоднее. Резкий порывистый ветер гнал по мостовой мертвые шуршащие листья. Ноябрьское небо низко нависало над крышами, грозило не то дождем, не то снегом. Даль моря скрывал плотный, тяжелый туман.

На базаре — сотни, тысячи людей. Сновали с ищущими глазами выгнанные из-под крыш голодом, жаждущие обменять домашнее барахло на кусок хлеба, на пачку сухих и твердых, как камень, румынских галет, на миску картошки.

Крутилась самодельная рулетка, опухшие личности играли под навесом в карты, патефон сиел голосом Вертинского: «В парижских балаганах, в дешевом электрическом раю», кричали газетчики: «Молва!», «Одесса!», «Буг!». В стороне, в тени голубого ларька, три мужика с сигаретами в зубах собирались резать поваленную на землю, связанную лошадь; несчастная животное смотрела на них со смертельной тоской. Один из мужиков деловито пробовал на ногте большого пальца лезвие ножа...

Умоляющие лошадиные глаза остановили Неду, она сразу забыла, зачем явилась на это орущее тысячами голосов торжище, и побежала к воротам, толкая людей.

На нее оглядывались, качали головами, но вид плачущих, перепуганных детишек примелькался за эти дни, Неду не остановили, не спросили, что с ней. И пришла она в себя только на самой родной в Одессе улице, на улице, ведущей к Дому. Остановилась на противоположной стороне и несколько минут смотрела, как с грузовика во дворе выгружают белый концертный рояль. Два солдата, лежа на крыше Дома, тянули на веревках вверх длинное красное полотнище со свастикой в белом круге. Возле флигеля и каретника сустились солдаты, молодая женщина в черной военной форме покрикивала на них из окна... Значит, и в Доме теперь будут жить немцы или, может быть, откроют ресторан, где будут пьянствовать и орать песни.

А перед глазами стояло: круто выгнутая шея лошади и ее скошенный на нож фиолетовый глаз. Неужели лошадь понимала, что ее собираются убивать?

Привели Неду в себя громкие голоса. Она испуганно повернулась и увидела: из-за угла вышли мужчина, женщина и девочка лет шести в розовом ситцевом платье. Было по-ноябрьски

холодно, но все трое шли без пальто. У мужчины и женщины руки были связаны сзади, а девчушка держалась за связанные руки матери. По сторонам шли жандармы и полицейские. На груди мужчины белел квадратный лист фанеры с крупными черными буквами:

**ОНИ ЗНАЛИ ХОТ КАТАКОМБИ.
СМЕРТ! ВСЕ БУДЕТ ТАК!**

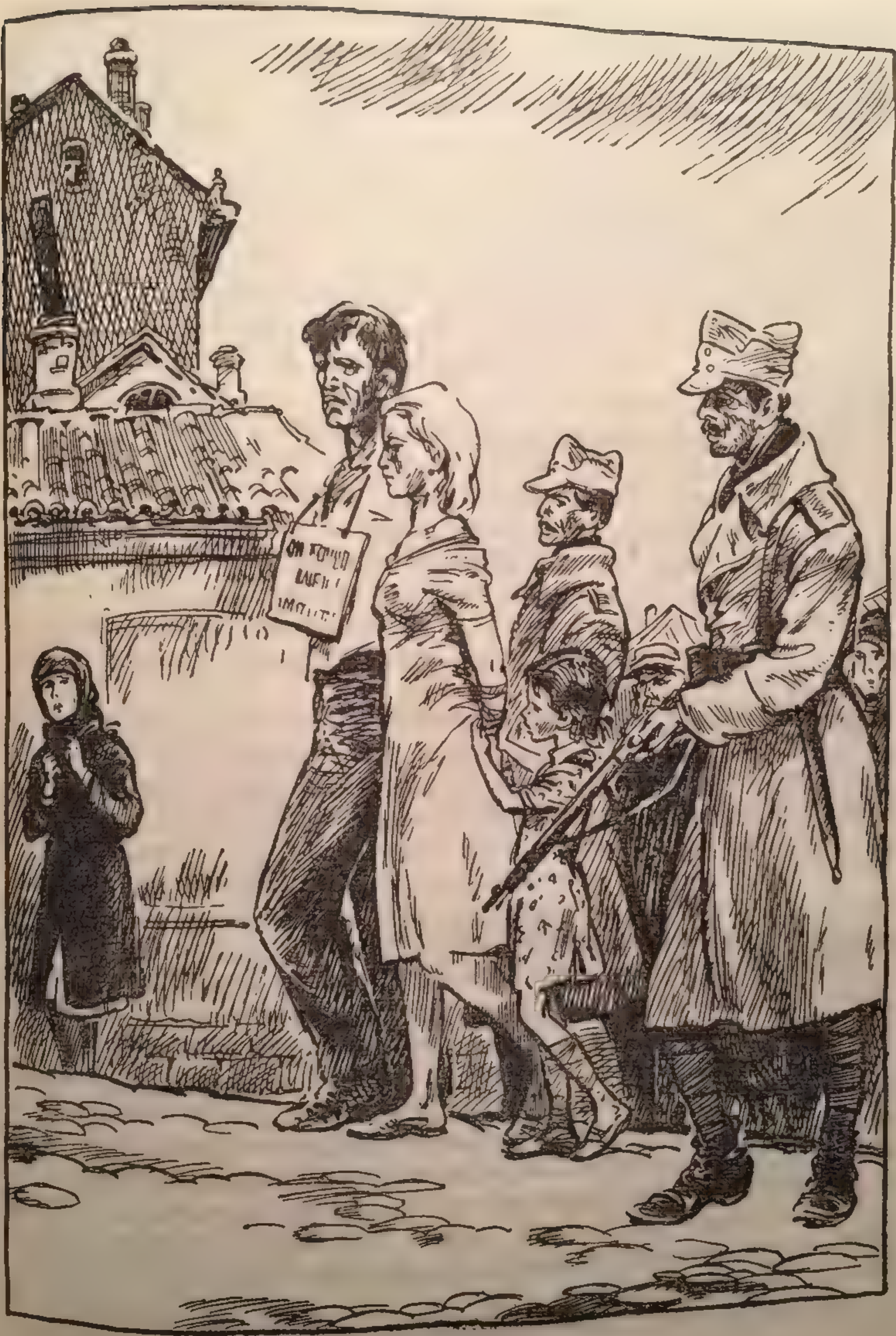
А за этими тремя по середине мостовой шагало человек двадцать или, может быть, больше — наверное, жители целого дома или двора. На перекрестке конвой остановил обреченных, и они долго стояли там, ежась на холодном, пронизывающем ветру, видимо, в назидание другим.

И точно так же, как недавно с базара, Неда побежала прочь, только теперь бежала молча, тиская в рот угол пахнувшего нафталином платка. Забежала в переулок и, совершенно обессилев, остановилась, чуть не падая. Переулок был безлюден, пуст. И, чуть отдышавшись, Неда поняла: она в том самом переулке, где весной Сережка показывал ей лаз в парк. Да, да, в их парк!

Она отыскала лаз и, сняв пальто, с трудом протиснулась между прутьями решетки. Никто ее не видел, и, оказавшись в парке, она почувствовала себя странно спокойно, словно здесь, под сенью старых акаций и вязов, ей уже ничто не грозило, словно все в ее жизни вернулось к тем благословенным дням, когда еще не было войны. Да, парк казался заколдованным, отделенным невидимыми стенами от той страшной жизни, какой нынче жила Одесса. Все здесь оставалось по-старому, все пахло той, старой жизнью. «Когда мы были детьми», — со взрослой горечью подумала Неда.

Шуршали под ногами ржавые, багровые, почерневшие листья, посвистывал в кронах деревьев ветер, краснели на кустах шиповника ягоды. И, увидев их, Неда почувствовала, что страшно хочет есть, от голода вдруг задрожали руки и ноги, задрожало внутри. Бросилась к кустам и принялась с лихорадочной поспешностью, словно боясь, что помешают, рвать ягоды шиповника и тискать в рот, в карманы.

Набив ягодами карманы, забралась в чащобу кустарника и, жадно жуя и глотая, огляделась. Видимо, забрела в самую глухую, дальнюю от Дома часть парка, даже крыши здания отсюда не разглядеть. А недалеко, над густыми зарослями травы,



овек два-
лого дома
ых, и они
ем ветру.
ла прочь,
него наф-
бессилев,
ен, пуст.
ереулке
да, в их
иснулась
ввшись в
но здесь,
грозило,
м дням,
ным, от-
какой
е пахло
зрослой
не ли-
кустах
страш-
задро-
адочной
ды ши-
ника и,
самую
ния от-
травы,

вздыхалась покрытая красной черепицей беседка с мраморными пожелтевшими колоннами, обвитыми увядшим хмелем и виноградом.

Она почувствовала непомерную усталость — видно, сказывалась недавняя хворь; хотелось лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. Наверно, в беседке и можно лечь?

Поднялась по гранитным ступеням, где между плитами пробивалась трава, заглянула в дверь. Свет осеннего солнца, выглянувшего из-за туч, яркими пятнами ложился на пол, усыпанный синими, красными и зелеными осколками стекла. Пол просел к углу, там, где чернела большая куча ветвей и валежника. Две каменные скамьи с выбитыми на них славянскими буквами стояли у стен.

Присела на холодную скамейку и неожиданно для себя заплакала. Плакала о том, что та жизнь, прежняя, прошла, что так мало дорожила ее простыми радостями...

Натаскала в беседку листвы, набросала между стеной и каменной скамьей и улеглась, натянула на голову пальто. Лежала, кусая губы, и плакала — так жалко было себя...

Ночью просыпалась от холода, от тревоги, от пугающих снов. И даже во сне не могла успокоиться: а что же завтра? Куда идти?

Утром снова набрала ягод шиповника, с трудом разжевала и проглотила с десяток — голод они не утоляли. Потом пробралась к воротам, выходящим во двор. Как дико: на их флагштоке развевается флаг со свастикой! Возле кухни из кузова автомашины выгружали ящики с консервами и бутылками вина, пакеты, большие картонные коробки. Пробегали фашистские офицеры и солдаты, на крыльце сердито кричала по-немецки полная женщина в военном плаще.

Неда присела возле ворот и долго, не отрываясь, следила в щель за двором. Из полуподвальных окон кухни доносились голоса, два раза выходила девушка с ведром, выплескивала за каретником помой, в них корки хлеба, лохмотья картофельной кожуры, яичная скорлупа. Неда подумала, что вечером, когда стемнеет, она попытается пролезть под железными створками ворот, подберет объедки. И, может быть, наестся досыта.

Вернулась в беседку и улеглась, плотно укуталась пальто, забылась... Ах, если бы вот теперь заболеть! Заболеть и умереть, и чтобы кончилось все, и не было бы впереди завтрашнего дня...

Время тянулось ужасно медленно. Во дворе рычали моторы

автомашин, перекликались голоса, кто-то папгрыгал на губной гармошке, мечтательно и печально. В сумерки Неда опять подошла к воротам и долго следила за ярко освещенными окнами. Возле каретника теперь тарахтела передвижная электростанция, ее, видно, привезли днем. Рядом ходил угрюмый солдат с автоматом на груди. Когда стемнело, Неда проползла под воротами; тень каретника скрывала ее от часовых и выходивших на крыльцо. Набрала в карманы огрызков хлеба, галет, банку с остатками консервов.

Так прошел день, другой, третий... Часами сидела возле ворот и следила за двором, вечерами выползала к помойке, подбирала объедки, но почам дрожала от холода и страха. И все в ней будто замерло, остановилось... Временами казалось, что это совсем не она, не Неда Лазарева, а кто-то посторонний ей, чужой, незнакомый...

На третью ночь проснулась от тревожного ощущения, что она не одна, что кто-то есть рядом. Неслышно выпростала из-под пальто голову, прислушалась, нащупала в кармане нож, будто бы и в самом деле смогла им защититься...

Рядом с беседкой шуршали травой шаги, на мгновение вспыхнул и погас луч карманного фонарика. И странно знакомый Неде голос сказал:

— Дверь, Данило Митрофанович! Дайте руку! Вот так... Это в углу...

Неда не могла понять: кто же говорит? Голос удивительно знакомый, и она слышала его не так уж давно, но где? Когда?

Две тени беззвучно прошли по беседке, зашуршал хворост, сваленный в углу. И другой голос, чуть хриловатый, удовлетворенно шепнул:

— Гарно, Яшенька, гарно! Под самым носом...

И Неда чуть не крикнула: Яша! Это же Яша Гордиенко!

Она вскочила в своем закутке, листва под ней зашуршала. Мгновенно обе тени метнулись к двери. И Неда перепугалась: неужели уйдут?

— Яша! — сдавленно крикнула она. — Яша!

— Кто здесь? — спросил он из темноты.

На секунду снова вспыхнул фонарик, и Неда ослепла от бьющего в глаза света.

30. ВСТРЕЧА... ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

С тех пор как Николай Аристидич принялся колдовать над приемником, каждый стук в дверь повергал его в трепет. Нет, он боялся не за себя — за мальчишек.

Именно из-за них держал приемник не дома, а этажом ниже, в квартире эвакуированных: перед отъездом отдали ключи и просили присматривать: «Мало ли жулья с войной объявилось!»

В тот вечер, в сумерки, обитатели «верхотуры» сидели за скудным ужином; воткнутая в бутылку тоненькая церковная свеча освещала жилье, ставшее похожим на первобытную пещеру.

Когда постучали, мальчишки испуганно вскочили, а Грек, помедлив, похромал, по обязанности хозяина, открывать. Снял крючок, приоткрыл дверь и увидел за порогом худенькую фигурку в надвинутом на глаза темном платке.

— Кто ты? Что тебе надо?

Она не отвечала.

— Неда? Ты?!

— Она самая, — выдвигаясь из темноты лестничной площадки, ответил Яша. — Только дождичком ее здорово помогло...

Неда молча ткнулась мокрым от дождя и слез лицом в плечо Кристодуло, он гладил выбившиеся из-под платка волосы. Ошеломленно смотрели Сережка и Генка.

Яша коротко рассказал, где отыскалась Неда, как Матрена Демидовна прятала ее в соседнем подвале, а сейчас вот пришлось привести сюда.

— Понимаете, такое дело... — Яша чувствовал себя, видимо, виноватым. — Не очень у нас падежно. Бойко, хозяин нашей мастерской, заходит частенько, а он будто бы и ничего плохого не скажет, а скользкий, все вбок глядит, в сторону... Вдруг, думается, в сигуранцу настучит, в гестапо, тогда что? Вот и подумали: может, у вас перебудет, Николай Аристидич, дня два? Нос ей на улицу нельзя высовывать — враз захапают! Подвернется оказия — в деревню переправим, есть там верные люди. А пока...

— Ну что ж! — Николай Аристидич гостеприимно развел руками. — Милости прошу! За дочку старого грека сойдет? Как, Неда?

А девочка не могла выговорить ни слова, ей казалось, что она просыпается после долгого страшного сна.

— Ну и лады! — Яша выложил из-за пазухи на стол горбушку хлеба, горсть галет, пяток печеных картофелин. — Тут пожевать малость... А мне пора. До завтра!

Он ушел. Через полчаса Николай Аристидич отправился на четвертый этаж слушать вечернюю сводку, а Неда и мальчишки остались одни. Генка припнулся растапливать печурку, а Сережка и Неда сидели молча. И вчера, и позавчера обоим думалось: так много нужно сказать друг другу, не хватит никакого дня, никакой ночи, а теперь слова совсем не шли с языка. Неда вздыхала, гладила Пирейку, вспрыгнувшего ей на колени, пила разогретый Генкой жидкий морковный чай...

— Устала? — спросил Сережка. — Хочешь лечь?

— Да...

Она не согласилась лечь на тахту Николая Аристидича, мальчишки постелили ей на полу, там же, где спали сами. Легла. Сережка молчал, перелистывая книгу, Генка возился у печурки; дрожащий свет отражался в глазах у всех, они странно и влажно блестели.

В сводке, которую поймал Николай Аристидич в тот вечер, утешительного оказалось мало: бои шли под Москвой — Солнечногорск, Волоколамск, Наро-Фоминск...

«Если останемся живые и наши вернутся, — думал Сережка, ворочаясь без сна, — никогда не буду оставлять Неду одну. Девчонка — девчонка и есть, любая сволочь обидит. А Жорку хорошо бы убить, достать наган или гранату... А смог бы ты, Сережка, сам, своей рукой? А? Конечно, смог. «Кто-то ведь должен убивать тиранов?» Конечно, Жорка никакой не тиран, а просто подонок, фашистский холуй, сволочь, каких мало. Отец дохлой кониной на Новом базаре торгует, наживается на чужой беде; такие не пропадают, не подыхают с голода! Кому угодно готовы служить, лишь бы кормили-поили.

Безрадостные мысли роились и в голове Нашего Грека. Яше он о своих опасениях не сказал, еще подумает парень: струсил старый. Но несколько дней назад, когда Генка рассказывал о том, что видел в Примарии какого-то Георгоса, Николай Аристидич не раз думал: а не взбредет ли старому «другу», если это Виталий, отыскать Николаса Кристодуло? А вдруг взбредет? Правда, в те времена Кристодуло жил не в этой башне, а в обыкновенном старинном доме на Греческой. Но ведь адрес можно узнать в Примарии, в полиции! А? Тогда как?..

Раздумывая о возможной встрече с Георгосом, Николай Аристидич признавался себе, что томит его недоброе предчувствие.

И оно, предчувствие, не обмануло!

Как-то днем перед башней остановилась роскошная небесно-голубая «испано-сюиза». Стараясь унять сердцебиение, Николай Аристидич наблюдал за ней, прикрывшись маскировочной шторой.

Из машины выбрался толстый шофер в клеенчатом плаще, раскрыл зонт — моросил нудный ноябрьский дождь. Под зонт из лимузина вылез человек в сером пальто и такой же шляпе и, запрокинув голову, с сомнением оглядел башню.

— Он! — шепотом крикнул Кристодуло и, волоча больную ногу, заметался по комнате. — Не пускать? Не открывать? Тогда может вернуться с полицией. — Подковылял к Неде: — Ложись, девочка! Сейчас же ложись! Укройся одеялом! И помни — ты моя дочь! Поняла?

— Да, Николай Аристидич!

А может, Виталий поленится взбираться без лифта на пятый этаж, испугается крутой лестницы?

Но нет, шаги!

В дверь постучали твердым, видимо, ручкой зонта. Кристодуло, спотыкаясь, подошел, отпер, распахнул дверь.

Несколько секунд они рассматривали друг друга: хозяин — с тревогой и вызовом, гость — с торжествующей, но благодушной улыбкой.

— Калимера, Николас!

— Калиспера, Виталий!

И опять смотрели молча, словно взглядом измеряли разделявшее их двадцатилетие.

— Что же не приглашаешь войти, Николас? Или не рад?

— Проходи, Виталий! Просто растерялся от неожиданности.

— Да-да, понимаю: не ожидал! — Ставя в угол зонт и стягивая перчатки, Георгос с интересом рассматривал «верхотуру». — Куда разрешишь повесить шляпу, Николас? Сюда? Благодарю... Вероятно, ты не ждал меня, это естественно. Так сказать, гость из прошлого. Да?

— Примерно так...

Николай Аристидич отошел к столу, а Георгос припался расхаживать по комнате, разглядывая убогую обстановку. За последние недели отсюда перекочевали на барахолку все ценные вещи, остались только скульптуры из терракоты и мрамора, в

те дни это никому в Одессе не требовалось. И книги. Да, те самые, которые так внимательно, с недобрым прищуром рассматривал Виталий. Посмотрел, но ничего не сказал, с минуту переминался с ноги на ногу возле карты Союза с горькими карандашными отметинами. Покосился на Николая Аристидича прищуренным глазом.

— Итак, Андрий, не помогли тебе твои ляхи? — Усмехнулся, отходя от карты и расстегивая пуговицы пальто. — Нищенствуешь? — Постучал перстнем по пустой тарелке на столе. — Не густо, дорогой Николас, ах не густо! Вот что дала тебе обожаемая тобой пролетарская власть! Боже мой, боже мой! Как можно так слепо, так непростительно заблуждаться!

— Нищета? — усмехнулся Кристодуло. — Нищета — прямое следствие вторжения твоих соратников.

Георгос остановился, пристально глядя на худые, дрожащие пальцы Кристодуло, ощупывавшие пустую, изгрызенную трубку. С сожалением покачал головой:

— Ах, Николас, Николас! Все такой же упрямец, каким был всегда. Я понимаю: горько признаваться в ошибках и заблуждениях, но ведь упорство — надеюсь, ты понимаешь это — на сей раз погубит тебя. Окончательно погубит! Новый порядок, с которым тебе придется примириться, не терпит ослушания, дорогой мой! Да, да! Так же, как твоя революция не терпела...

— Врешь! — перебил Кристодуло, швыряя на стол трубку. — Новый порядок! Тысячи расстрелянных и повешенных! За что? Убиты десятки тысяч женщин и детей на Стрельбищном поле и в Гпилой балке! Бессмысленная, звериная жестокость!

Не отрывая взгляда от лица Кристодуло, Виталий долго молчал.

— А твоя хваленая революция, разве она не была жестока? — спросил наконец он. — А расстрел всей семьи императора всероссийского — с детьми, с приближенными, со слугами? Если тебе изменяет память, Николас, я помогу... Это произошло в Екатеринбурге семнадцатого июля восемнадцатого года...

— Я не забыл. В условиях гражданской войны это было необходимо! — убежденно возразил Николай Аристидич, снова беря со стола трубку. — Царь был знаменем мракобесия! — Сунул в рот пустую трубку, затянулся несуществующим дымом.

— Нечего курить, Николас? — сочувственно поинтересовался Георгос, доставая из кармана массивный золотой порт-

сигар.— Пожалуйста! Правда, не «тавана», сейчас трудно с подвозом, но приличные, курить можно...

— Благодарю! — огрызнулся Николай Аристидич, неприязненно глядя на холеные пальцы, обрезавшие карманной гильотинкой кончик сигары.— Я бросил курить!

— Гордыня, ах какая неумная гордыня! — понимающе усмехнулся Георгос.— Но мне-то, надеюсь, ты разрешишь курить, Николас?

— Не выношу теперь табачного дыма!

— Жаль, жаль, дорогой. Что же, придется потерпеть...— Золотой портсигар исчез в кармане пальто, и Николай Аристидич облегченно вздохнул.— Но позавтракать со старым приятелем, надеюсь, не откажешься? У меня в машине пайдется кое-что; я ведь, откровенно говоря, предвидел, что увижу здесь нечто подобное.— Он кивнул на пустую тарелку и, не ожидая ответа, прошел к балконной двери, распахнул, что-то крикнул вниз. И повернулся к Николаю Аристидичу, стоявшему у тахты, тот думал о Неде и своих мальчишках, которые так давно не ели досыта.— Сейчас мой Санчо притащит всякую снедь, и мы с тобой, дружище, за бутылкой доброго бургундского продолжим наш давний спор.— Неслышными шагами подошел к тахте и, приподняв уголок одеяла, посмотрев на Неду, бережно прикрыл.

— Не спит, однако. Притворяется,— сказал со вздохом.— Веки дрожат. Н-да. Дочь?

— Дочь! — буркнул Николай Аристидич, прислушиваясь к шагам на лестнице.

Толстяк-шофер приволок объемистый саквояж, набитый пакетами и бутылками с вином, и, повинувшись кивку Георгоса, с привычной сноровкой выложил и выставил содержимое саквояжа на стол. Здесь оказались бутылки с вином, банки с икрой и анчоусами, конфеты, колбаса, сардины и шпроты, яблоки, даже ананас. Опустошив саквояж, шофер вопросительно оглянулся на хозяина.

— Можете идти, Сандро! — И когда шофер неслышно притворил за собой дверь, Георгос повернулся к Николаю Аристидичу: — Но бокалы или фужеры у тебя найдутся, Николас? Хотелось бы, конечно, снять пальто, но у тебя, дорогой, дьявольски холодно! Даже не представляю, как ты живешь в таких условиях!

— Сии условия — одно из следствий вашего «нового порядка», черт бы его побрал!

— Ну, зачем так неосторожно, Николас? — Георгос предупреждающе поднял перед собой ладонь. — За подобные словеса полагается по меньшей мере концлагерь, дорогой. А ведь тебе, хотя бы ради дочери... дочери, да?... стоит жить. Кто о ней по-заботится? Судя по царящему в твоём доме порядку, мать не обитает на этом седьмом небе? Она, надеюсь, жива?

— Нет! Автомобильная катастрофа! — сердито бросил Николай Аристидич.

Георгос принялся хлопотать у стола.

— Ну, Николас! Выпьем за встречу, за прошлое, за будущее! Тащи бокалы! И буди свою дочь, без женщины за столом неуютно!

Через пять минут Неда сидела рядом с Николаем Аристидичем, напротив Виталия Георгоса. Ела колбасу и грызла бисквиты. Не поднимала глаз, но чувствовала, что гость то и дело поглядывает на нее. А Николай Аристидич курил толстую пахучую сигару, от которой только что отказывался, и маленькими глотками пил вино.

— Итак, дорогой Николас, как говорят французы: ревенон а по мутон — вернемся к нашим баранам. К прошлому. Все возвращается на круги своя; вернулся и я туда, где бегал мальчишкой, первый раз любил, впервые пролил кровь за Россию.

— За Россию? — иронически усмехнулся Николай Аристидич, сразу же начавший хмелеть.

— Да, Николас, за Россию!.. Я чувствую, дорогой, что ты еще не понимаешь, что отныне судьба России неразрывно связана с судьбой Германии, с судьбой рейха... Кстати, если помнишь, до вашей революции здесь, в Одесской губернии, четвертая часть земель принадлежала немецким колонистам. Эти земли политы их потом, их право на эти владения неоспоримо. А кроме того, фюрер выделяет наиболее отличившимся воинам участки земли, виноградники и виллы на всем побережье Черного моря, от Дуная до Сухума. Так что хочешь не хочешь, дорогой, а придется мириться. Я убежден, немцы дисциплинируют российскую безалаберность, расхлябанность и всю ту мерзость, которая приводит к бунтам и революциям. О, немцы наведут порядок, я уверен!

— И ты радуешься? — тихо спросил Николай Аристидич. — Ты же родился на этой земле. Твое отечество! Неужели хочешь, чтобы на твою родину надели ярмо?

Георгос стряхнул сигарный пепел в стоявшее перед ним блюдечко.

— Родина? Отечество? Звонкие, по пустые слова, Николас! — Он с сожалением покачал головой. — России всегда была необходима сильная власть, узда! Вспомни обращение к Рюрику, Синеусу и Трувору: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Придите княжить и володеть нами!»

— Но ведь это же вымысел! — сердито выкрикнул Кристодуло. — Фальсификация истории, сработанная с целью оправдать чужеземное насилие.

— Ах, Николас, Николас! Как же здорово нашпиговали твою бедную голову красной пропагандой! Последние годы я жил во Франции и Швейцарии, в Италии и Америке. И скажу тебе откровенно: нигде не встречал большего беспорядка, чем в России. Я вернулся отнюдь не за тем, чтобы остаться в российском бедламе навсегда, на веки вечные. Э-э, пет! Я восстановлю свои священные права на принадлежащие Георгосам четыреста десятии виноградников — и имею честь кланяться! Мало ли на земле благословенных уголков! Хорошее вино, не правда ли?

Он снова наполнил бокалы и, подняв свой, посмотрел сквозь вино на свет, потянулся к Николаю Аристидичу чокнуть:

— Так давай же, Николо, выпьем за...

Кристодуло стремительно пьянел; бокал вина, выпитый на истощенный желудок, огненными струями растекался по телу, колокольню гремел в голове. Комната плыла и качалась...

— Я м-могу в-выпить лишь за одно, — запинаясь на каждом слове, отозвался Николай Аристидич. — З-за одно...

— За что же, Николо? — поинтересовался гость, с брезгливым участием озирая захмелевшего хозяина.

— За победу над фашизмом! — крикнул тот и залпом выпил вино. — За с-смерть немецким оккупантам!

Неда украдкой и с испугом смотрела на Николая Аристидича, на Георгоса. Гость сидел, откинувшись в кресле, неподвижный и важный. И смотрел уже не добродушно, взгляд стал усталым и холодным.

— Н-да... И ты все еще веришь, старик? — спросил он.

— К-конечно, верю! Непоколебим-мо...

— Ах, чудак, чудак! — вздохнул Георгос. — Ты слеп, словно только что родившийся котенок. Мне жаль тебя, старина! Ты, надеюсь, понимаешь, что я не буду за это пить с тобой? — Он чуть помолчал. — Следовательно, примирение не состоялось? Жаль, старина, жаль!

Голос Георгоса звучал ровно и холодно, в нем не было

благодушия и напускной радости. Он отодвинул бокал, встал. Стараясь превозмочь опьянение, Николай Аристидич смотрел на него непонимающими глазами.

— Ты... уходишь?

— Да, конечно... Жалко мне тебя. И твою девочку жалко, Николас, но... не будет у вас жизни...

— Н-нет, нет, и-погоди! — заторопился вдруг Николай Аристидич, привставая с помощью палки. — Я должен... д-должен... т-тебе показать...

Георгос стоял у стола и с любопытством ждал. Николай Аристидич проковылял к письменному столу, выдвинул ящик и пошарил там, отыскивая.

— Ага, вот!

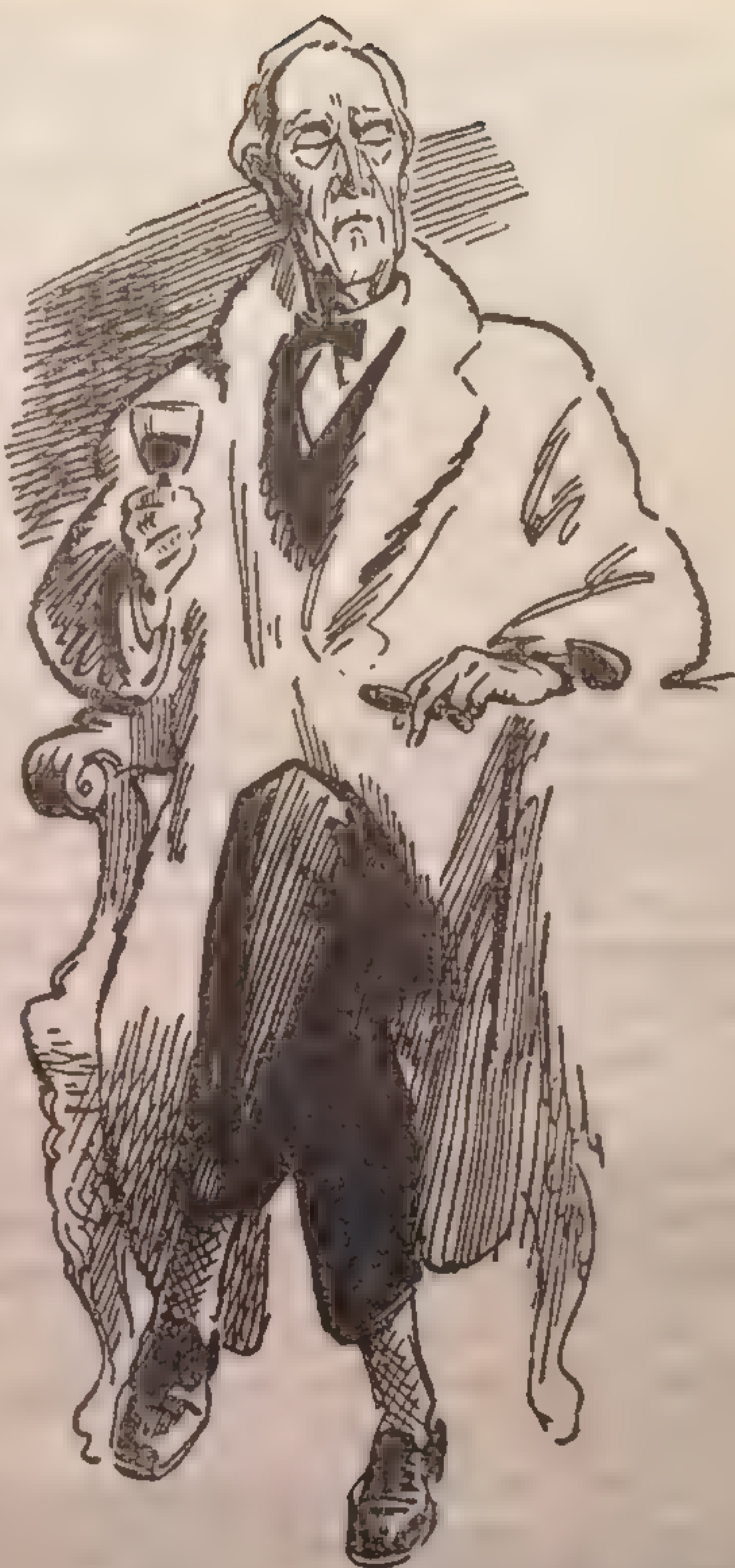
Неда увидела в руке Нашего Грека пожелтевшие листки письма.

— Вот... двадцать лет пазад... когда вы бежали отсюда...

Георгос смотрел заинтересованно; брезгливо, кончиками пальцев, взял протянутое ему письмо и принялся всматриваться в полустертые временем строчки. И вдруг что-то дрогнуло в его надменном холеном лице, мгновенным взглядом он ожег Кристодуло и растерянно сел к столу.

— Постой, постой... как к тебе попало, Николас? Мое... мое письмо.

— Да, безусловно, твое, потому и п-показываю... Как попало — сие не так уж важно... А ты прочитай, прочитай вот здесь, Виталий... — Наклонившись над плечом Виталия, Николай Аристидич требовательно тыкал пальцем в пожелтевший листок. — Вот сии строки...



Помедлив, Георгос, негромко и словно вслушиваясь в звучание собственного голоса, прочитал вслух:

— «Жестокость, жестокость и еще тысячу раз жестокость! Их ведут на расстрел, закапывают живьем в землю, бросают в огонь, вешают, а они... даже женщины не боятся, не испытывают страха перед неизбежностью смерти...»

Откинувшись в кресле, Георгос посмотрел на Николая Аристидича совсем другим, Неде показалось — затравленным взглядом. Тонкие пальцы, лежавшие на письме, вздрагивали...

— Ну и что? Что ты хочешь сказать, Николас?

Кристодуло рассмеялся тихим торжествующим смехом:

— А это только ответ на т-твой вопрос... о в-вере в победу...

И, опять уколов Кристодуло взглядом, Георгос склонился над посланием, написанным им больше двадцати лет назад. Он вчитывался в давно позабытые строчки, и что-то судорожно подергивалось под его левым глазом. Молчание длилось долго. Николай Аристидич с мальчишеским торжеством вышагивал по «верхотуре», тяжело опираясь на трость, Неда боялась пошевелиться.

Наконец Георгос дочитал, молча и бережно сложил листки и спрятал в боковой карман пальто. Встал, снял с вешалки шляпу, взял зонт...

— И все-таки мне тебя жалко, — в раздумье сказал он, обернувшись с порога. — Жалко, Николас. И девочку жалко...

Неда видела, как внезапно побелело лицо Николая Аристидича. Чуть не упав, он шагнул к порогу, спросил хрипло:

— Это... угроза?

Стоя в двери, Георгос пожал плечами.

— Да нет, Николо... я все-таки сохранил верность принципам нашей юности... Если помнишь, мы никогда не били лежащих...

Он закрыл дверь тихо, без стука. Николай Аристидич и Неда слушали, как размеренно звучали на чугунной лестнице шаги, как затихал вдали шум автомобильного мотора.

— Скатертью дорога! — пробормотал сквозь зубы Николай Аристидич, возвращаясь к столу. — Ну ладно, Недочка, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Правда? Прибегут Рыжие, полакомятся. И ты ешь, девочка, ешь! Питайся! — Не договорив, Наш Грек задумался, искрошил в трубку недокуренную сигару, зажег и принялся ковылять по комнате. Изредка останавливался, почесывал мундштуком в бороде, бормотал: — И все-таки, все-таки...

Он заставил Неду одеться и увел к Марине Ильиничне: та обрадовалась, заторопилась навстречу. Истосковавшись в одиночестве, она сразу же, как только Неда появилась у Кристо-дуло, привязалась к девочке, «прикипела сердцем».

— А то, Недочка-веточка, перебиралась бы ко мне пасо-всем, — заговорила она, когда Николай Аристидич ушел. — У него воробыши, ему не так тошно. А я ведь вовсе одна, душа у меня от безлюдья истомилась, пзмаялась. Нет возле ни живого, ни теплого. И кошенька моя Полосатка третий день сгинула, должно, поймал кто и убил на жарово. Совсем олютовал народишко с голоду... Я по ней каждую ночь плачу, аж глаза больно...

Марина Ильинична забросала Неду вопросами: кто приезжал на голубой машине, что за гость, о чем разговаривали? И все ахала и охала и разводила руками.

— Вот, скажи ты, как поворачивается жизнь, а? Да-а! Аристидичу уцепиться бы за него — пусть по старому знакомству помогает, а то и на работенку доходную куда приткнет, а? У них же, у фашистов, поди-ка, чиновники кругом понатыканы, понасажены! Все бы не так голодали. А ссориться с ними какой прок...

Неда не спорила с Ильиничной, но полностью оправдывала Нашего Грека: еще пресмыкаться перед такими георгосами, выпрашивать что-то! Молодец Николай Аристидич! Так и надо...

31. У МАРИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ

Чуть позже, уже затемно, Кристодуло снова появился на пять минут у Марины Ильиничны, принес кое-какие личные вещи: документы, фотографии, рукописи отца. «Поберегите пока, Ильинична!» Притащил оставленные Георгосом продукты.

— Какое богатство! Боже мой, какое богатство! — ликовала старая над консервными банками. — Им по нынешним временам, Аристидич, и цены нет! — И обернулась к учителю с обеспокоенным, чуть побледневшим лицом: — А... а зачем? Не понимаю...

Озабоченно и виновато Николай Аристидич посмотрел на нее.

— Боюсь, Ильинична, — смущенно признался он, — как бы

заклятый друг не патравил на мое жилье сигуранцу или гестапо, от подобных субъектов всего можно ждать! Осердился господин миллионщик за напоминание о прошлом. А вдруг нагрянут ночью незваные, а?.. И вот с Недочкой... прямо ума не приложу... беспокойно на улицах. Может, переночует у вас, Ильинична, а?

— Ну и что! Я бы и насовсем к себе взяла... А вы? Сами вы куда же? — всполошилась Марина Ильинична. — Из-под родной крыши, на ночь глядя?

— Что ж делать, Ильинична! Перебуду ночь-другую где-нибудь, а там, может, утрясется... Только вот еще... мальчишек бы предупредить. Да и Гордиенко собирался забежать... Вдруг на «верхотуре» засаду устроят... Перехватить бы на лестнице. А? Не обременит?

— Да что вы, Аристидич, как не совестно! — сердито замахала сухими ручками Марина Ильинична. — Не чужие, чай! Сколько лет рядом прожито!

— Ну, благодарю. — И поковылял. — Будь умницей, Недочка...

— Да как же вы с этакой-то ногой, Аристидич? Она у вас пуды весит! — горевала Ильинична. — Болит, поди-ка?

— Ничего, терпимо...

Прихрамывая, постукивая тростью, ушел. Неда и Марина Ильинична уселись у приоткрытых дверей — прислушиваться к шорохам и шумам на лестнице, ждать Рыжих.

А те в этот день, как и обычно, с раннего утра до позднего вечера, высунув языки, носились с газетами по городу. Яша поручил ежедневно спускаться в порт, запоминать, какие и чем груженные приходят в Одессу немецкие и румынские суда, на каких причалах швартуются. На осторожные вопросы Сережки и Генки, кому это нужно, отшучивался: «Много будете знать, миленькие, скоро состаритесь!» Взбалмошный Генка потихоньку фырчал: «Ишь командир, Чапай какой выискался! Ему все положено знать, а нам — фигу!» Но в открытую спорить с Гордиенко не решался: на Привозе и рынках одобрительно и с надеждой шушукались об отрядах народных мстителей — Бадаева и Авдеева, Тимофеева и Дроздова. А Яша не раз похвалялся, что Бадаича, дядю Володю, отлично знает...

Яша часто передавал ребятам начки немецких газет: «Анг-риф», «Нахт Ост» или «Цайтунг», с ними Рыжие осмеливались появляться и в специальных ресторанах немецкого офицера, и в бывшем своем Доме, где теперь кипела шумная, гор-

ластая, пьяная жизнь. Дом стал называться «Adlersnest» — «Орлиное гнездо», об этом крикливо оповещала яркая вывеска со свастиками. Из армий «Юг» и «Центр» сюда прибывали отличившиеся на поле разбоя фашистские асы и фюреры всевозможных рангов — те, кому по ряду причин не полагалось отправляться на побывку в родной фатерлянд...

Рыжие прибежали вскоре после ухода Нашего Грека. Ильинична окликнула их в дверную щель, помапила к себе. Удивленно и встревоженно выслушали они рассказ Неды о Георгосе, о ссоре, неясно прозвучавшей — и все же прозвучавшей! — угрозе.

Разговаривали вполголоса, карауля у двери: хотели перехватить Яшу. С ним мальчишки встречались почти ежедневно, иногда заглядывали и в примусную мастерскую Петра Бойко. Мастерская крохотная, нищая: два верстака с тисками, паяльники, груды всякого железного хлама, сваленного по углам. Но Яша, блюдя конспирацию, не любил, когда ребята без зова появлялись у Бойко. Разreshалось это лишь в случае крайней пужды: «Я и сам вас найду, если надо!»

Однако в тот вечер Яша так и не пришел в башню — задержали дела; подробности Рыжие узнали позже. Оказывается, Гордиенко, Бадаев, Дикун и еще кое-кто в ту ночь хозяйничали в подземных владениях Георгосов, под «Орлиным гнездом».

И вот ночь. Предчувствие и сей раз не подвело старого грека: перед рассветом у башни зафыркали моторы, затрещали мотоциклы. Чугунный топот шагов прогремел по лестнице — мальчишки едва успели запереть на засовы дверь. Шаги прогрохотали; наверху раздался стук и треск разбиваемой двери, автоматные очереди, дребезг стекла — полицаи принялись громить «берлогу» Николая Аристидича.

А двумя этажами ниже, прижавшись к запертой двери, застыли мальчишки, рядом — Неда, Ильинична. Коптилку хозяйка не зажигала, мотоциклетные фары с улицы едва высвечивали обледеневшие пропасти окоп.

— Пронеси, господи! — молила Марина Ильинична, обеими руками обнимая Неду.

И хозяйка, и ребята знали, что, не найдя того, кто им пужен, гестаповцы и сигуранца часто врываются в соседние квартиры и дома, хватают и увозят заложников. Так могло случиться и сейчас.

Да! Вот грохот разбиваемых дверей и окоп переместился ниже, стал ближе, слышнее — погром шел на четвертом этаже.

— Пронеси, господи!

Что-то грузно падало, со звоном разлеталось по камню и дереву стекло, гремели выстрелы.

Но погромщики ограничились пятым и четвертым этажами,— может, ждали их и еще какие-то неотложные дела,— кованые шаги и лающие крики лавиной прокатились по лестнице вниз. Судорожно, надрывно взревели мотоциклы.

— Как в воду Аристидич глядел,— облегченно вздохнула Ильинична, крестясь в темноте.— Вот и захапали бы его, людоеды!

Утром Рыжие все же рискнули пробраться в жилище Кристодуло. Долго, замирая от страха, крались по лестнице, убежали и опять возвращались, прислушивались у развороченных дверей. К счастью, никакой засады оккупанты не оставили, но книжные шкафы, окна и телескоп разбиты, на полу осколки терракоты и мрамора, голубые куски небесного глобуса. На полу распластался Пирейка, убитый автоматной очередью, под ним замерзла лужица крови. Через повисшую на петлях балконную дверь с воем врывался ледяной ноябрьский ветер, шелестел страницами разбросанных книг...

Ключи от квартиры на четвертом этаже, где Николай Аристидич прятал свой «суппер-рекорд», лежали на месте, в уголке изрезанного пулями посудного шкафчика. Схватив ключи, Генка, а за ним и Сережка кубарем скатились по лестнице. Но ключи оказались не пужны, на четвертом этаже тоже все разбито: двери, окна, зеркала, люстра, дверцы буфета и шифоньера. Бросились в кухню. Приемник, смонтированный в ржавом корпусе керосинки, и самодельные батареи, спрятанные под грязным тряпьем в мусорном ведре, целы!

Спрятав приемник на чердаке, Рыжие вернулись к Марине Ильиничне. Неда долго и безутешно всхлипывала над судьбой Пирейки, Марина Ильинична тоже всплакнула об исчезнувшей Полосатке.

Позавтракали оставленным с вечера хлебом и дарами Георгоса. Жуя колбасу, Неда вспоминала напыщенную фразу: «Мы никогда не били лежащих!» Вот тебе и не били, изверг фашистский!

Мальчишки убежали в типографию: потерять к зиме работу у Брошару было бы катастрофой.

Еще в октябре в одной из двух комнат Ильиничны воцарилась круглая железная печурка из породы «буржуек» двадцатых годов; она чудом сохранилась в подвале башни с тех дав-

них, легендарных времен. От двух-трех полешков печурка раскалялась докрасна, но, чтобы кормить прожорливое божество, Ильинична каждое утро отправлялась, как сама выражалась, «на щепкозаготовки» — оторвать у забора пару досок, наломать в сквере охапку сучьев. Собралась на промысел и сегодня — жизнь-то не кончилась! — и Неда осталась одна...

Чтобы не замерзнуть, принялась ходить по чужой, незнакомой квартире, присматривалась к вещам. Да, совсем недавно кто-то здесь жил, горевал и радовался, читал книги, видел сны...

Во второй, меньшей комнате книгами уставлена вся стена, от пола до потолка — книги, книги, книги! На ступе между окон — голубая, как июньское небо, карта Черного моря, расцвеченная непонятными обозначениями; на подоконнике — стеклянный куб аквариума, аквариум пуст, ни воды, ни рыб — воду, наверно, выпили, а рыб съели, — только мертвая зелень водорослей местами присохла к стеклу... Здесь, наверно, жил внук Ильиничны...

Рядом с картой — портрет седого старичка с бородкой клинышком. Неда пристально всматривалась, стараясь вспомнить, где видела. И вспомнила: это же известный одесский профессор, изучавший флору и фауну Черного моря, пытавшийся разгадать глубинные тайны... Да, да, километровые толщи моря отравлены сероводородом, лишены жизни. В прошлом году вместе с Сережей — помнишь? — ходили на лекцию во Дворец пионеров, в бывший Воронцовский, где теперь воцарился губернатор ненавистной Транснистрии...

В ближайшие дни Николай Аристидич так и не показывался ни на башне, ни вблизи ее, а где его искать, Рыжие даже не представляли. Сам-то он наверняка узнал о разгроме «берлоги» и, видимо, боялся наткнуться на расставленную засаду, на западню. А может, просто разболелась нога?

И Яшу Рыжие долго не могли поймать: в мастерской не было, дома Матрена Демидовна потерянно разводила руками: «Прямо и не знаю, что думать, ребятишки! С раннего утра спохватывается, и до темной ночи нету. А то и всю ночь насквозь! Ой, горюшко мое! Попадется в облаву — не жди пощады!»

Истомленные ожиданием, Сережка и Генка решили сами налаживать приемник. Николай Аристидич раза два показывал им, как присоединяется комнатная антенна, заземление, батарея, учил ловить в эфире Москву. А знать, что происходит на фронтах, хотелось безумно. «Нах Ост» и «Цайтунг» ежедневно

захлебывались ликующими воплями, пророчили неминуемое скорое падение Москвы. «Нах Ост» опубликовала приказ бесповоротного: после церемониального марша на Красной площади обнести Москву высоченным валом и затопить, уничтожить, стереть с лица земли! Чтобы ни одна душа не вышла из города живой, чтобы сама память о столице России исчезла со страниц истории!

Первый раз они провозились с приемником с полчаса, прежде чем в наушнике задребезжала далекая морзянка. Потом, после долгой, ощутной, настройки, сквозь металлические шорохи как бы блеснули сказанные далеко-далеко русские слова. Сережка узнал голос Левитана. Но услышал только последние слова сводки...

К приемнику пробирались по вечерам, после наступления комендантского часа. Марина Ильинична и Неда долго не подозревали, чем занимаются мальчишки. Те уверяли, что с балкона Кристодуло наблюдают за работой порта, за ночными перемещениями фашистских военных кораблей на внешнем, незамерзшем рейде, и в подтверждение приносили подобранные на «верхотуре» книги...

Все трое жили у Ильиничны — больше деваться некуда, а старая была несказанно рада им: «Иначе, воробыши, померла бы я с тоски да с горя».

Наступил декабрь, небывало холодный, вся планета, казалось, промерзла насквозь, обледепела. Гибли сады, с орудийным гулом лопались на бульварах платаны. Море у берегов сковало льдом.

Из оставшейся после внука одежонки Ильинична выбрала Сережке и Генке пиджак и пальтишко, утеплила, подвела в два слоя ватин — «глядишь, и потеплее будет», — так они и посились по городу. А Неда безвыходно сидела дома, в башне. Изредка чуть не со слезами просила: «Принесите какого-нибудь котикшу, мальчишки!» Но ни кошек, ни собак в ту лютую зиму на улицах Одессы Рыжим не попадалось...

Яша появился в один из пронзительно морозных дней вечером начала декабря. Проскользнув в башню, шмыгнул мимо квартиры Ильиничны, поднялся на пятый, растерянно потоптался перед разбитой дверью Кристодуло. Значит, не уберется старик? Что-то стряслось? И где Рыжие?

Спускался в горестном раздумье, но на четвертом остановился — почудился шорох, скрип промерзлой половицы. У него был с собой трофейный немецкий фонарик-«жучок», но он не

сразу решил пустить его в дело. Стоял неподвижно, вцепившись рукой в перила. И опять тихонько скрипнуло, и будто пахнуло из темноты ветерком, что-то пошевелилось в двух шагах. Сжимая правой рукой в кармане наган, Яша вскинул леденное лицо Генки, прикрытое облезлым лисьим треухом.

— Генка? Ты?

И услышал растерянно-радостное:

— Ну!

Генка обрадовался Яше, как брату, до боли стиснул руку холодными, похожими на сосульки пальцами, потащил за собой в темноту, в глубину жилья.

И через минуту Яша сидел в углу за печкой, привалившись плечом к Сережке, посвечивал «жучком» на худые Сережкины руки, на тускло поблескивающие детали приемника. В наушниках слабо попискивало — садились батареи, пробивались немецкие и румынские слова, обрывки музыки, точечная россыпь морзянки...

Время передачи сводки из Москвы еще не наступило. Рыжие шепотом рассказали Яше о зловключениях Николая Аристидича, о Виталии Георгосе.

— И значит, где он, не знаете? — упрекнул Яша. — А назывались друзья. Давно?

— Седьмой день! — огрызнулся Генка на несправедливый упрек. И в свою очередь набросился: — Сам-то где пропадаешь? В мастерскую не велишь, дома нету!

Жужжал в Яшиной ладони «жучок», пятно света переползло с хмурого Генкиного лица на оживившееся лицо Сережки, скользило по обледепелым стенам, по заснеженным окнам. Яша положил фонарик на угол стола, расстегнул бушлат.

— Ну вот что, братва! Пора, кажется, и вам подключаться. Вот тут...

Зашелестела бумага, Сережка и Генка придвинулись плотнее. Пар дыхания клубился между ними белыми облаками.

— Тут листовки обкомовские, подпольные... Вы каждый день в порту, на Январке, в мастерских, на барахолках всяких, вам сподручно... Листовочку суετε в газетку, получаете за нее свои пфенниги и бани — и концы, побежала в народ листовочка. Но глядеть, братишки, в оба, чтобы попадала кому надо, без промаха. Пусть люди знают, что жива Советская влада, что борьба с фашистами разворачивается. Вот. Держи!

Свет «жучка» падал на посиневшие руки, на листки бумаги,

где черным курсивом выделялась поверху строка: «Смерть фашистским оккупантам!»

— Ясно? Побольше в порт, на заводы, где рабочий класс погуще. Но повторяю: смотреть в оба — схватят сигуранца или гестапо...

— А ты не учи! — перебил Генка, пряча листовки за пазуху. — Лучше бы карманную пушчонку нам одну на двоих достал. Сам с наганчиком ходишь, тебе что!

Яша помолчал, раздумывая. Вздохнул, сунул руку в карман.

— Ну что ж... чтобы на душе у вас попросторнее стало... Есть в запасе игрушечка... Но пускать в дело в самом крайнем, понятно? Когда ни входа, ни выхода...

Игрушечкой оказалась граната-лимонка, круглая, размером с яблоко средней величины. Почувствовав на ладони металлическую тяжесть, Генка даже засмеялся от радости.

— О, вещь! Гляди, Бес!

Сережка тоже подержал в руке старую, еще времен гражданской войны, гранату — ее где-то добыл пакаунуе Яшин брат. Да, когда карман оттягивает такая штуковина, невольно чувствуешь себя спокойней! Но ты, Сережка, решишься метнуть ее в человека? В человека, пожалуй, нет, а вот в того гада, который кричал Соне и мертвому Мартинесу: «Ти-и есть в-ви-сеть!» — в него — да! Пожалуйста! Кто-то ведь должен убивать тиранов!

Позже Яше здорово попало от брата. «Да разве можно давать мальчишкам такие «игрушки»? — выговаривал оп. — Именно это и может навлечь на ребят беду!» Но, выслушав брань, Яша остался при своем: все правильно! По себе знал, как гнетет, пригибает к земле ощущение беззащитности, оно и его мучило, когда ходил без оружия. Одно прикосновение к рубчатой рукоятке в кармане бушлата рождает уверенность и силу. Нет, Яша не жалел о сделанном...

Сбившись у приемника, прижимаясь друг к другу, слушали сводку Информбюро. Вздохнули с облегчением: Москва держится...

И Яша заторопился уходить, даже не мог заглянуть к Ильичичне, поздороваться с Недой: без ночного пропуска и путь не близкий, в Усатово...

— Как там? — спросил Сережка, почти не надеясь на ответ.

Но сегодня Яша был словоохотливее, чем обычно:

— А! Фашизня вовсе озверела! Усатовские и перубайские



входы все взорваны да разбиты артиллерией. Пооставляли кой-где «мышеловки» для партизан, там в засадах сотнями сидят... Ну да скоро получают подарочек!

Яша помолчал.

— И вот что, ребята! С завтрашнего утра ни ногой к вашему бывшему Дому, к этому их стервятскому

гнезду! Понятно? Если хотите живыми быть...

— А что? — Голос Генки в промерзшей темноте звенел вызывающе. — Что? Взорвут, что ли?

Рыжие слышали, что на днях в «Орлином гнезде» состоится грандиозное торжество: вручение рыцарских и железных крестов высшему офицерству армий «Юг» и «Центр» за Киев и Одессу, съедутся важные армейские чины, приглашены тузы из Примарии, власти Транснистрии...

— Взорвут?.. — громко и настойчиво переспросил Генка.

— Тише, пацан! — неожиданно властно и грубо оборвал Яша. — Что надо, то и сделают! А что б и тени вашей близко там не было! Понятно? А не хотите подчиняться — прощайте! Усек, Рыжий?

И, не попрощавшись, Яша скользнул в холодную тьму за дверью, даже шороха шагов не было слышно. Мальчишки

ощупью спрятали в тайничок на чердаке «суппер-рекорд», ощупью спустились на третий.

— Кто-то проходил наверх? — обеспокоенно спросила Ильинична. — Иль почудилось мне?

— Почудилось, — буркнул Генка.

С этой ночи Рыжне не осмеливались нарушать приказ Гордиепко и обходили Дом стороной, хотя ноги сами поворачивали в родную улицу. Что же там произойдет, что случится?

32. ЗАРЯ ПОБЕДЫ

Больница Надежды Васильевны доживала последние дни. Два месяца просуществовала она доброхотными даяниями, но их становилось все меньше: Одесса жила впроголодь, и впереди был мрак, беспросветный мрак. Много раз Надежда Васильевна побывала в Примарии, не у немецкого «советника», а у «отцов города», те отмахивались от нее, от больницы. Если бы не Дикун, Надежда Васильевна давно пришла бы в отчаяние. Данило Митрофанович появлялся в больнице дважды, приходил навещать мифического «племянника», передавал Надежде Васильевне кое-какие продукты и адреса, куда следовало перевезти выздоравливающих красноармейцев, там они окажутся в безопасности... За два месяца многие умерли, хоронили их под чужими именами, по чужим документам, и похороны эти были очень тяжелыми для Надежды Васильевны.

Горше, непереносимей всего было сознание ее собственной ответственности за судьбу Неды и Гани, Сережки и Гепки. Как могла она так жестоко ошибиться, как не настояла на эвакуации, разрешила оставить их здесь! Правда, могли бы погибнуть в пути, разве мало кораблей и жизней поглотила за эти месяцы — долгие, будто годы! — морская пучина? И все же, если бы оказались на Большой земле, были бы теперь в безопасности, у своих. Конечно, она намеревалась увезти их с собой при эвакуации госпиталя, ведь и в мыслях не было, что ей придется остаться в Одессе, но может ли служить оправданием ее наивность, ее глупость? Нет, ты сама во всем виновата!

— Какая же я была слепая, Данило Митрофанович! — кляла она себя Дикуну в последнее его посещение. — Да разве можно было представить себе такой ужас, такое изуверство, такую палаческую жестокость?

Обросший седоватой неухоженной бородкой Дикун успокаивал ее, как умел, как мог:

— Э, Васильевна! Все мы на поверку вышли словно слепые кутята! Мы к этим змеям бешеным со своей человеческой мерой прилаживались, а у них все не как у людей. Ни закона, ни чести, ни совести... Ты, однако, за девчонок своих шибко не переживай, днями отправим в деревню, там их, полагаю, схватят...

И все же Надежда Васильевна продолжала терзать и обвинять себя. Особенно из-за Неды. Ну ладно, удалось девочке спастись раз, удалось два, но кто знает, что случится завтра? И если эта крошечная жизнь оборвется где-то в Гнилой балке или на Стрельбищном поле, как ей, Надежде, жить дальше? Немыслимо, невозможно! За Сережку и Генку можно так не беспокоиться, эти перезимуют, наловчились уже и подрабатывать на пропитание, и себе и Греку, научились скрывать свою, совсем не детскую, ненависть к оккупантам.

В декабре, когда ударили небывалые для юга морозы, мальчишки перестали показываться в больнице, и бранить их за это было грешно: далеко, через весь город, в их одежонке на рыбьем меху не очень набегаетесь. Последний раз забежали, когда Яша привел Неду к Нашему Греку. А что дальше? Как сейчас? Ведь при этом проклятом «новом порядке» нельзя быть спокойным ни часа, ни минуты.

В тот вечер Надежда Васильевна обошла немногих оставшихся на ее попечении больных, посидела возле койки Алексея. Он был невероятно худ, но Вагжанов оказался прав: зрение вернулось, и Алексей мог самостоятельно передвигаться по палате.

— Ах, Алеша, Алеша, — вздыхала Надежда Васильевна, — как же я виновата перед тобой. Должна, обязана была этапировать тебя в Новороссийск, был бы ты у наших. Все я виновата, до седых волос ума не нажила.

— Да ведь это я сам упросил меня не отправлять... Никуда бы я не поехал! — Алексей пытался улыбаться, осторожно поглаживая руку Надежды Васильевны. — Вот выздоровею, буду тебе помогать. Голод — терпимо. А холод, морозы — это же просто прекрасно, Наденька! Фрицы тоже мерзнут, им-то похуже. Морозы все-таки наши, русские, родные... Пусть попляшут, гады, пусть повоюют!

Во время последнего разговора с Надеждой Васильевной Дикун обещал ей устроить Алексея в какую-то сапожную

мастерскую, она не стала спрашивать, что за мастерская, но догадывалась, что, вероятнее всего, подпольная партизанская явка, одна из опорных точек в начинающейся тайной войне без фронтов и тыла. Что ж, видимо, так тому и суждено быть, все они, оказавшиеся за спиной оккупантов, становились бойцами невиданной армии, мстителями за тысячи и тысячи погибших, за истерзанную родную землю.

К вечеру, управившись с больничными делами, Надежда Васильевна сказала Алексею:

— Знаешь, Алеша, изболелось у меня сердце до невозможности — за Неду, за мальчишек. Боюсь, не случилось ли беды. Сбегаю гляну, как они там.

Алексей нахмурился, глаза беспокойно забегали.

— А разве ты знаешь, где этот ваш Грек живет?

— Я пойду с Ганей. Она знает.

— Не люблю, когда уходишь. Но, наверно, и правда надо. Иди.

Часа через два, уже в сумерки, Надежда Васильевна и Ганя, укутанная поверх пальто одеялом, пробирались по заснеженным, промерзшим улицам. Прохожих было мало, город с наступлением темноты затаился, притих, как обычно. Только бodeги в центре светили окнами в непроглядную ночь. Уличные фонари не горели, но возле ресторанов «Ша нуар» и «Южная почь» ритмически постукивали передвижки, окна этих увеселительных заведений были освещены. «И не боятся, наглецы, никакого затемнения не соблюдают», — с горечью думала Надежда Васильевна. На углу Дерибасовской и Гаванной, у Греческого базара, висел повешенный — на груди светлый четырехугольник фанерки с крупно написанными буквами, но слов не разглядеть. Надежда Васильевна потянула Ганю в переулок. Уж очень «лякалась» Хохлатка мертвых.

Выходя из больницы, Надежда Васильевна переоценила свои силы: уже через полчаса стало ясно, что они с Ганей не смогут вернуться домой до наступления комендантского часа. И дело было не в сугробах снега, завалившего улицы, просто не было сил. И останавливаться передохнуть нельзя: перехватывает морозом дыхание, мерзнут ноги.

— Потерпи немного, девочка, потерпи...

И все-таки, несмотря на усталость и холод, Надежда Васильевна не устояла перед искушением: хотя бы издали взглянуть на Дом, с которым связывалось все, что было в жизни дорогого и светлого, ради чего жила...

Еще издали увидела ярко освещенные окна обеих этажей и антресолей, во флигеле тоже во всех комнатах горел свет. Возле каретника стучала передвижка, во двор одна за другой въезжали легковые автомашины, приглушенно гремела бра-
вурная маршевая музыка. Широко расставив ноги, с автома-
тами на груди, стояли у ворот часовые...

— Пируют вороны! — сказала в промерзший воротник На-
дежда Васильевна, и вдруг такая смертная ненависть вспыхну-
ла в ней, такая злоба, что она почувствовала, что может бро-
ситься на любого из этих самодовольных, упитанных, вылеза-
ющих из машин фашистов.

Они вылезали и, крякая от мороза, принимались потирать
руки и с радостным оживлением взирали на окна, откуда не-
слась музыка духового оркестра и неразличимый шум голосов.
Да, там, в Доме, было тепло, в открытые форточки бывшего
спортзала клубами валил пар.

Ганя тоже смотрела во все глаза на Дом, где прожила не
так уж и много, всего около года, но который стал ей родным.

Они медленно шли мимо ворот, сторонясь застывших, как
изваяния, мрачных часовых, когда из-за угла на предельной
скорости вырвалась длинная голубая машина и, блестя синими
фарами, пронеслась к воротам. Пришлось посторониться, про-
пуская ее: кто-то торопился, опаздывал на празднество...

Машина развернулась у подъезда, где лежали знакомые
Надежде Васильевне до мельчайшей царапины каменные львы,
над ними, освещенный снизу, красовался портрет Гитлера. Да,
новые хозяева ничего не боятся, хотя, конечно, в случае воз-
душной тревоги, если вдруг налетят наши самолеты, им при-
дется дорого платить за браваду, за самонадеянность...

С помощью толстого шофера из голубой машины вылез
человек в сером длиннополном пальто и каракулевой шапочке
пирожком, и Надежда Васильевна замедлила шаги, всматри-
ваясь сквозь прутья решетки. Где-то она видела этого сытого
неторопливого штатского, что-то знакомое угадывается в же-
стах, в манере надменно вскидывать голову.

Постой, постой, да ведь это тот, кого ты с Геной видела в
Примарии, он вместе с другими ждал в приемной «советника».
Да, да, Виталий Георгос, бывший владелец Дома.

— Идем, идем, Ганя. Замерзла?

— Совсем замерзла, — шепнула та окоченевшими губами.

Пошли быстрее, но не успели дойти до угла, как что-то не-
истово загремело, взорвалось сзади, ослепляюще вспыхнуло

пламя, и горячая волна опрокинула их в сугроб. Барахтаясь в снегу, стараясь подняться, они с ужасом оглядывались туда, где только что сверкал веселыми праздничными огнями, гремел музыкой их Дом, ставший «Орлиным гнездом».

Да, никакого «гнезда» не было. В воздухе, освещаемые вспышками взрывов, летали камни и балки, куски стен, водосточные, «дожделивые» говорила Неда, трубы, стулья, переплеты окопных рам. Взрывчатка была заложена, вероятно, в нескольких местах, взрывы следовали один за другим, горячие волны воздуха и гарь били оттуда, и будто катились следом огромные чугунные ядра. Багровые сполохи кромсали и кровавили небо. Огрызок луны, опоясанный орапжевым морозным сиянием, то исчезал в свете очередного взрыва, то возникал снова, когда город обжимала тьма...

— Скорей, Ганя! Да скорей же! Бежим!

Надежда Васильевна прекрасно знала, что сейчас же, немедленно за взрывом, полиция, сигуранца и гестапо оцепят район диверсии, примутся хватать всех, кто окажется на улицах, загонять в тюремные машины, бить, убивать...

— Скорее! Скорее, Ганночка!

Судьба оказалась милостива к Надежде Васильевне и ее воспитаннице — им удалось добежать до башни Кристодуло прежде, чем к месту взрыва прибыли полицейские и эсэсовские машины.

— Туточки, туточки, тетя Надия! — с трудом выговаривала Ганя. Потеряв одеяло — оно осталось в снегу, когда упала первый раз, — Ганя теперь бежала впереди, подгоняемая страхом, забыв про холод, про мороз. Только бы добежать, добраться до «верхотуры» Нашего Грека, закрыть, запереть за собой дверь, притаиться...

— Он на самом верху, тетя Надия...

Но до пятого этажа подниматься не пришлось. Когда в крошечной тьме добрались до третьего, впереди мелькнула на мгновение узенькая щелка света, исчезла, кто-то притаился в двух шагах, даже дыхания не слышно, но и Надежда Васильевна и Ганя чувствовали: кто-то здесь есть.

— Кто здесь? — с трудом проглотив застрявший в горле комок, шепотом спросила Надежда Васильевна.

И в ответ радостный крик Сережки:

— Тетя Надя!

Через минуту Надежду Васильевну и Ганю судорожно обнимала Неда, ахала и охала Марипа Ильинична, взволновав-

по постукивал мундштуком трубки по столу Наш Грек. Сережка и Генка смотрели повлажневшими глазами, но Генка, по своей дурацкой привычке, пытался что-то насвистывать...

На столе, воткнутая в бутылку, горела самодельная свечка такие недавно появились на рынках и продавались втридорога, как раз сегодня мальчишки принесли одну на пробу. Окна плотно занавешены, но в комнатах Ильиничны тепло, в чугунной пасти «буржуйки» мерцали потухающие уголья.

Наш Грек сидел, уложив большую погу на стул, палка прилонена к стене...

Захлебываясь словами, Надежда Васильевна и Ганя рассказывали о только что пережитом, о взрыве Дома, о том, как бежали от облавы. Надежда Васильевна не сразу заметила, что слушают ее как-то странно, что все чем-то взволнованы.

— Да что случилось-то? — перебила она себя. — Какие-то вы все...

— А вот, тетя Надя! — Сережка подвинул к Надежде Васильевне лежавший на столе исписанный каракулями листок, она поначалу и не заметила. — Бьют фашистов! Переломилась война! Читайте!

И все обступили ее, только Николай Аристидич сидел, по-прежнему вальяжно откинувшись на спинку стула и посасывая трубку.

Сережка придвинул к Надежде Васильевне свечу.

— Вслух! Вслух!

Медленно, слово за словом, читала Надежда Васильевна, и каждое слово звенело, как удар радостного праздничного гонга, и все смотрели на ее губы.

— «За последние шесть дней, в ходе непрерывных боев, фашистские войска отброшены от Москвы на тридцать—шестьдесят километров. У противника отбиты города Рогачев и Солнечногорск, Венев и Михайлов, Сталиногорск и Епифань, а всего освобождено больше четырехсот населенных пунктов. С шестого по десятое декабря уничтожено танков — 271, захвачено 386, автомашин захвачено 4317, уничтожено 565... На полях сражения фашисты оставили около тридцати тысяч трупов...»

Марина Ильинична вздрагивающей рукой расправляла на столе скатерку.

— Боже ж мой, боже ж мой! — повторяла она, не вытирая слез. — Неужто правда? Неужто придет конец ихнему зверинству проклятому и снова вернется жизнь? Послал бы господь сил

дожить, дотерпеть до прихода наших! А там — хоть в могилу!.. Ну-ка, Сереженька, читай еще раз!

И снова, и снова читали и перечитывали скупые строчки, без конца повторяли названия освобожденных городов и сел. Потом долго молчали, не находя слов, которыми можно было бы выразить охватившее всех чувство высокой и чистой радости — наверно, нечто подобное испытывают приговоренные к смерти, когда им возвращают жизнь.

— Нам хорошо, мы знаем, — пегромко, словно сама себе, сказала Неда. — А другие еще не знают.

Надежда Васильевна и Наш Грек переглянулись: нет, что ни говорите, а хорошие у нас растут ребятишки, все понимают! И хотя ничего не было сказано, Марина Ильинична бросилась в соседнюю комнатку и вернулась со стопкой чистых тетрадей и пачкой цветных карандашей.

— Такую радость грех от людей таить!

И через минуту на вырванных из тетрадей листочках побежали наспех написанные — красные, синие, зеленые — слова: «Говорит Москва! Говорит Москва!»

Да! Завтра об этом будет знать вся Одесса!



Хоть в минуту...

Скупые строчки,
х горелась в сел.
ими можно было
и чистой радо-
риговоренные к
вно сама себе,

улись: нет, что
, все понимают!
ична бросилась
чистых тетра-

источках побе-
енные — слова:

Содержание.

Безатющина. 1. Страница 3.
ночь в доме надежды и мир анида. 11.
Балада. о рыцарях 3 стр 19.
У нас есть тако. 4 стр 27
В заброшенном поцелуе стр. 36.

Цена 59 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

पुस्तकालय

महाराष्ट्र

कोलकाता